

Федор
Юрамов

БРАТЯ
И
СЕСТРЫ



Annotation

Роман лауреата Государственной премии Федора Абрамова «Братья и сестры» охватывает около сорока лет жизни нашего общества. Писатель создал замечательную галерею образов тружеников советской деревни. Рассказывая о жизни северной деревни Пекашино, Ф. Абрамов раскрывает самые важные, самые острые проблемы народной жизни последних десятилетий.

- [Федор Александрович Абрамов](#)
 -
 - [ГЛАВА ПЕРВАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВТОРАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРЕТЬЯ](#)
 - [ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ПЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ШЕСТАЯ](#)
 - [ГЛАВА СЕДЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВОСЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДЕВЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДЕСЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)

- [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ](#)
 - [ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА СОРОКОВАЯ](#)
 - [ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ](#)
 - [ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ](#)
 - [ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ](#)
 - [ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ](#)
 - [ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ](#)
 - [ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
-

Федор Александрович Абрамов

Братья и сестры

Помню, я чуть не вскрикнул от радости, когда на пригорке, среди высоких плакучих берез, показалась старая сенная избушка, тихо дремлющая в косых лучах вечернего солнца.

Позади был целый день напрасных блужданий по дремучим зарослям Синельги. Сена на Верхней Синельге (а я забрался в самую глушь, к порожистым перекатам с ключевой водой, куда в жару забивается хариус) не ставились уж несколько лет. Травища — широколистный, как кукуруза, пырей да белопенная, терпко пахнувшая таволга — скрывала меня с головой, и я, как в детстве, угадывал речную сторону по тянувшей прохладе да по тропам зверья, проложенным к водопою. К самой речонке надо было проламываться сквозь чащу ольхи и седого ивняка. Русло речки перекрестило мохнатыми елями, пороги заросли лопухом, а там, где были широкие плеса, теперь проглядывали лишь маленькие оконца воды, затянутые унылой ряской.

При виде избушки я позабыл и об усталости, и о дневных огорчениях. Все тут было мне знакомо и дорого до слез: и сама покосившаяся изба с замшелыми, продымленными стенами, в которых я мог бы с закрытыми глазами отыскать каждую щель и выступ, и эти задумчивые, поскрипывающие березы с ободранной берестой внизу, и это черное огневище варницы, первобытным оком глянувшее на меня из травы...

А стол-то, стол! — осел, еще плубже зарылся своими лапами в землю, но все так же кремнево крепки его толстенные еловые плахи, тесанные топором. По бокам — скамейки с выдолбленными корытцами для кормежки собак, в корытцах зеленеет вода, уцелевшая от последнего дождя.

Сколько раз, еще подростком, сидел я за этим столом, обжигаясь немудреной крестьянской похлебкой после страдного дня! За ним сиживал мой отец, отдыхала моя мать, не пережившая утрат последней войны...

Рыжие, суковатые, в расщелинах, плахи стола сплошь изрезаны, изрублены. Так уж повелось исстари: редкий подросток и мужик, приезжая на сенокос, не оставлял здесь памятку о себе. И каких тут только знаков не было! Кресты и крестики, ершистые елочки и треугольники, квадраты, кружки... Такими вот фамильными знаками когда-то каждый хозяин метил свои дрова и бревна в лесу, оставлял их в виде зарубок, прокладывая свой охотничий путик. Потом пришла грамота, знаки сменили буквы, и среди них все чаще замелькала пятиконечная звезда...

Припав к столу, я долго разглядывал эти старые узоры, выдувал травяные семена, набившиеся в прорези знаков и букв... Да ведь это же целая летопись Пекашина! Северный крестьянин редко знает свою родословную дальше деда. И может быть, этот вот стол и есть самый полный документ о людях, прошедших по пекашинской земле.

Вокруг меня пели древнюю, нескончаемую песню комары, тихо и безропотно осыпались семенники перезрелых трав. И медленно, по мере того как я все больше и больше вчитывался в эту деревянную книгу, передо мной начали оживать мои далекие земляки.

Вот два давнишних полуискрошившихся крестика, вправленных в веночек из листьев. Должно быть, когда-то в Пекашине жил парень или мужик, который и букв-то не знал, а вот поди ж ты — сказала душа художника. А кто оставил эти три почерневших перекрестья, врезанных на диво глубоко? Внизу маленький продолговатый крестик, прочерченный много позже, но тоже уже почерневший от времени. Не был ли человек, носивший родовое знамя трех перекрестий, первым силачом в округе, о котором из поколения в поколение передавались были и небылицы? И как знать, может, какой-нибудь пекашинский паренек, много-много лет спустя, с раскрытым ртом слушая восторженные рассказы мужиков о необыкновенной силе своего земляка, с сожалением поставил крестик против его знамени.

Весь захваченный расшифровкой надписей, я стал искать знакомых мне людей. И нашел.

Буквы были вырезаны давно, может еще тогда, когда Трофим был безусым подростком. Но удивительно: в них так и проглядывал характер Трофима. Широкие, приземистые, они стояли не где-нибудь, а на средней плахе столешницы. Казалось, сам Троха, всегда любивший подать товар лицом, топал посередке стола, по-медвежьки вывернув ступни ног. Рядом с инициалами Трофима размашисто и твердо выведены прямые

С С А

Тут уж нельзя было не признать широкую натуру Степана Андреяновича. А Софрон Игнатьевич, тот, как и в жизни, обозначил себя крепкими, но неказистыми буквами в уголку стола.

У меня особенно потеплело на сердце, когда я неожиданно наткнулся на довольно свежую надпись, вырезанную ножом на видном месте:

М. Пряслин 1942

Надпись была выведена уверенно и по-мальчишески крикливо. Натё, мол, — на Синельгу пришел новый хозяин, который не какие-то палочки да крестики или жалкие буквы может поставить, а умеет расписаться по всем правилам.

1942 год. Незабываемая страда. Она проходила на моих глазах. Но где же главные страдницы, потом и слезой омывшие здешние сенокосы? Ни одной женской надписи не нашел я на столе. И мне захотелось хоть одну страничку приоткрыть в этой деревянной летописи Пекашина...

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Зимой, засыпанные снегом и окруженные со всех сторон лесом, пинежские деревни мало чем отличаются друг от друга. Но по весне, когда гремучими ручьями схлынут снега, каждая деревня выпядит по-своему. Одна, как птичье гнездо, лепится на крутой горе, или щелье по-местному; другая вылезла на самый крутой бережок Пинеги — хоть из окошка закидывай лесу; третья, кругом в травяных волнах, все лето слушает даровую музыку луговых кузнечиков.

Пекашино распознают по лиственнице — громадному зеленому дереву, царственно возвышающемуся на отлогом скате горы. Кто знает, ветер занес сюда летучее семя или уцелела она от тех времен, когда тут шумел еще могучий бор и курились дымные избы староверов? Во всяком случае, по загуменью, на задворках, еще и теперь попадаются пни. Полу истлевшие, источенные муравьями, они могли бы многое рассказать о прошлом деревни...

Целые поколения пекашинцев, ни зимой, ни летом не расставаясь с топором, вырубали, выжигали леса, делали расчистки, заводили скудные, песчаные да каменистые, пашни. И хоть эти пашни давно уже считаются освоенными, а их и поныне называют навинами. Таких навин, разделенных перелесками и ручьями, в Пекашине великое множество. И каждая из них сохраняет свое изначальное название. То по имени хозяина — Оськина навина, то по фамилии целого рода, или печища по-местному, некогда трудившегося сообщества, — Иняхинские навины, то в память о прежнем властелине здешних мест — Медвежья зыбка. Но чаще всего за этими названиями встают горечь и обида работяги, обманувшегося в своих надеждах. Калинкина пустошь, Оленькина гарь, Евдохин камешник, Екимова плешь, Абрамкино притулье... Каких только названий нет!

От леса кормились, лесом обогревались, но лес же был и первый враг. Всю жизнь северный мужик прорубался к солнцу, к свету, а лес так и напирал на него: глушил поля и сенные покосы, обрушивался гибельными пожарами, пугал зверем и всякой нечистью. Оттого-то, видно, в пинежской деревне редко кудрявится зелень под окном. В Пекашине и доселе живо поверье: у дома куст настоится дом пуст.

Бревенчатые дома, разделенные широкой улицей, тесно жмутся друг к другу. Только узкие переулки да огороды с луком и небольшой грядкой картошки — и то не у каждого дома — отделяют одну постройку от другой. Иной год пожар уносил полдеревни; но все равно новые дома, словно ища поддержки друг у друга, опять кучились, как прежде.

Весна, по всем приметам, шла скорая, дружная. К середине апреля на Пинеге зачернела дорога, уставленная еловыми вешками, засинели забереги. В темных далях чернолесья проглянули розовые рощи берез.

С крыш капало. Из осевших сугробов за одну неделю выросли дома — большие, по северному громоздкие, с мокрыми, потемневшими бревенчатыми стенами. Днем, когда пригревало, в косогоре вскипали ручьи и по деревне волнующе расстилался горьковатый душок оттаявших кустарников...

В правлении колхоза уже с час ждали председателя. Люди успели переговорить и о последних сводках Совинформбюро, и о письмах земляков с фронта, посетовали, что от союзников все еще нет подмоги, а председателя не было.

Наконец на улице раздался конский топот.

— Едет наш Еруслан, — сказал кто-то со вздохом. Шум и грохот на лестнице, визг половиц в коридоре — и в контору не вошел, а влетел коренастый мужичина в кубанке, лихо заломленной на самый затылок, в стеганке защитного цвета, туго перетянутой военными ремнями. Нахлестывая плеткой по голенищу, словно расчищая себе дорогу, он стремительно, враскачку, прошагал к председательскому столу, бегом окинул колхозников лихорадочно блестящими глазами.

— Заждались? Ничего, привыкайте — время военное. Понятно? А где бригады номер три и четыре?

— Они, Харитоша, еще давеча ушли...

Председатель резко повернул голову к своему посыльному — маленькому, худенькому, как заморенный подросток, старикану, которого в деревне любовно называли Митенькой Мальшней.

— Сколько тебе говорено, что здесь нет Харитоши, а есть товарищ Лихачев?

Мальшня, возившийся с дровами у печки, виновато заморгал кроткими, голубиными глазками.

— Сейчас же доставить!

Мальшню как ветром выдуло из конторы.

Лихачев бросил на стол плетку, смахнул пот с жесткого, изрытого оспой, как картечинами, лица и открыл заседание:

— Какую обстановку видим на дворе? Наступающую весну! Генеральная линия сев. Понятно? Я зачну сегодня без всякой политической подкладки — прямо с голой картины колхоза...

Люди недоверчиво переглянулись. Все по обыкновению приготовились слушать очередную речь председателя о международной обстановке, о положении на фронтах, его нескончаемые сетования на разнесчастную судьбу, обрекшую его воевать в тылу с бабьем.

— А картина эта... — Лихачев поморщился. — Ежели говорить критически, табак, а не картина! Знамя, где, спрашиваю, знамя? В переднем углу в «Красном партизане» Проньке Фролову затылок греет. А почему? Через что лишились? Хлеб в прошлом году упустили под снег? Упустили. Сенокос до ста не дотянули? Не дотянули. Ежели так катиться дальше — это в наше-то геройское время!.. Лихачев сделал паузу. — Бригадиры, докладайте подготовку к севу.

Бригадиры молчали. По комнате, путаясь в золотой россыпи апрельского солнца, сизыми волнами расстилался чад самосада.

Лихачев властно сказал:

— Бригадир номер один, говори!

Федор Капитонович пожал узкими плечами, не спеша встал:

— По нонешним временам я так понимаю — терпимо. Семена на всходы пробованы, без плугов да борон тоже в поле не выедем — это уж как всегда. Ну а ежели в части навоза и маловато, да опять же война — понимать надо.

И Федор Капитонович, со значением посмотрев на колхозников, сел.

В глазах Лихачева мелькнула растерянность:

— Что ты мне портянку жуешь? Плуги, бороны... Пронька Фролов за тебя позор смывать будет? Товарищ Сталин как сказал? Перестроить всю работу на военный лад! Понятно? Сроки — вот об чем речь.

— Это уж как стихея, товарищ Лихачев, — развел руками Федор Капитонович. Будет тепло — раньше прикончим, а ну как сиверок?

Опять же сила наша... Колхозников-то натуральных — раз-два, и обчелся...

— Это каких таких натуральных? — недоверчиво спросил Лихачев.

— Стало быть, так: по нашей деревне на войну десятков шесть взято. А кто остался? Старой да малой, да баба, как говорится по отсталости...

Лихачев крякнул в знак одобрения.

— А площадь? — продолжал неторопливо Федор Капитонович. — А площадь как были, так и остались. Вот и получается: семена-то в землю втолочим, а что соберем? Да ведь это разор колхозу и всей державе!

— Выкладывай! — поощрительно мотнул головой Лихачев, которому за многоречивым петлянием бригадира, видимо, почудилось какое-то важное предложение.

— Это к чему ты клонишь, Федор Капитонович? Посевы сокращать? Так понимать надо?

Взгляды всех обратились к черноглазой женщине в белом платке, сидевшей у окна рядом с молоденькой девушкой.

Федор Капитонович живехонько вскочил на ноги, всплеснул руками:

— Да что ты, бог с тобой, Анфиса Петровна! Такое скажешь — «посевы сокращать». Как можно? Об этом и думать не смей! — Федор Капитонович строго и назидательно потряс дожелта прокуренным пальцем. — А вот ежели бы дальние поля на годик — другой в пары пустить — это другое дело.

— Что-то мудрено говоришь, Федор Капитонович, — опять подала голос Анфиса. — А по мне что пары на два года разводить, что посевы сокращать...

— Это категорически не годится! Понятно? — отрезал Лихачев.

— Ведь вот народ, завсегда переиначат, — с обидой покачал головой Федор Капитонович. — Тут думаешь, как колхозу честь возвернуть, а они же тебя и обвинят... Площадь сокращать — грому-то сколько! А подумала ты, Анфисьюшка, что такое площадь, с чем их едят-кушают? Ну хорошо же, растолкую я тебе... Мызы да навины у нас — считай, песок да камень. А при теперешнем уходе — и вовсе погибель наша. А вот ежели получше за ближние поля взяться —

картина сразу взиграет, все пары окупятся. Сами знаете, хорошая овца трех худых заменит... И еще скажу... — тут Федор Капитонович, проворно оглянувшись вокруг, снизил голос до шепота: — Люди здесь свои, радители колхоза... Налоги-то с площадей платить. А с умом повести дело — дальние навины списать можно. В районе тоже люди, и к ним подход найдется...

— Правильно... Надо и о себе подумать. С чем год жить будем? — раздались несмелые голоса.

— Это он верно, далеко смотрит!..

— А по-моему, — воскликнула молодая соседка Анфисы, — Федор Капитонович даже очень близко смотрит! По-моему, раз Украина-житница под врагом, сражение там... другие области и края заменить должны. Об этом и в газетах пишут...

Федор Капитонович насмешливо и сожалеюще посмотрел на девушку, которая от смущения покраснела до самых глаз.

— Ну, спасибо, Настасья Филипповна, просветила старика. И про Украину-житницу, и про сражение в ней — обо всем сведенье подала...

— Да будет тебе ехидничать-то, — нахмурилась Анфиса. — Умный человек, а слушать тошно. Срам какой!.. Мужики там кровью обливаются, а мы тут задумали кустарники в навинах разводить. Когда это нас о площадях спрашивали? А теперь небось план такой — пахать не перепахать...

— Тихо! — Лихачев пружинисто выпрямился. — Засевать все — до последней пяди! Понятно? А ты... — он бросил исподлобный взгляд на Федора Капитоновича, — твое выступление сегодня — чистая паника и малодушие. Понятно? Теперь так: вопрос к бригадиру номер два. Как смывать позор с колхоза будешь? Обозначь конкретно сроки. А то завела: кустарники, кустарники... Где твоя перестройка?

Анфиса побледнела, вскинула голову:

— Ну вот что, Харитон Иванович! С завтрашнего дня я тебе не бригадир поищи другую. Хватит — поперестраивал. Только и слышу: панику не разводи, перестраивайся на военный лад! А сам-то ты перестроился? А по мне так вся твоя перестройка, что обзавелся шлейф да брючищами с красной прошвой...

По конторе прошел сдержанный смешок и разом оборвался.

— Ты это, Минина, что? — Лихачев, как штык, выбросил в сторону Анфисы обрубок левой кисти. — Тыл подрывать? На кого работаешь?

В томительной тишине все услышали тяжелую, медвежью поступь в коридоре. Двери треснули, и в контору, шумно дыша, ввалился низкорослый Трофим Лобанов. Из чащи седого волоса, как стоячие озера, плянули круглые немигающие глазищи.

— Слыхали? — вострубил он на всю контору. — Степан письмо от сына получил...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Анфиса еще с крыльца правления услышала дробный перестук топора — в пристынувшем воздухе он гремел на всю деревню. Она сразу догадалась: сват Степан на своем сеннике воюет. Всегда вот так — и горе, и радость топором вырубает.

Дом Степана Андреяновича, большая двухэтажная хоромина с малой боковой избой, выходит на улицу взвозом — широким бревенчатым настилом с перилами, по которому в прежнее время гужом завозили сено да солому на сенник.

У других хозяев взвозы давно уже переведены на дрова, а новые дома строили вообще без них: для одной коровы и на руках нетрудно поднять корм. Степан Андреянович поддерживал взвоз в сохранности. Поднимаясь на сенник, Анфиса даже отметила про себя, что некоторые прохудившиеся балки заменены новыми лесинами. Ей и всегда-то нравилась хозяйственная ретивость старика, а сейчас, во время войны, когда без мужского догляда на глазах ветшали и разваливались постройки, она всякий раз, проходя мимо, с удовольствием поглядывала на дом свата: все крепкое, добротное, сделано на вечные времена.

Из открытых дверей с просмоленными косяками тянет свежей щепой, старыми березовыми вениками. И тут все надежно, домовито. По одним топорам видать хозяина. Не меньше дюжины их в деревянной натопорне. А сколько топоров, столько, говорят, и рук в доме.

Степан Андреянович, широко расставив ноги в низких валенках, носками зарывшихся в щепу и стружку, выгибал березовый полоз. Непокорное дерево скрипело, упиралось, из стороны в сторону водило тело старика.

— Слышала про нашу-то радость?

Полоз стремительно повело назад. Анфиса хотела кинуться на помощь, но старик с силой рванулся вперед, и полоз нехотя, со скрипом вошел в петлю.

Наспех вбив расклинье, Степан Андреянович разогнулся и, шумно дыша, с радостным блеском в глазах, подошел к Анфисе. Как

всегда — и в лютый мороз, и в несносную жару — он был без шапки. В густых рыжих волосах, подстриженных по-стариковски в кружок, просвечивала мелкая стружка.

— Ну, с праздником тебя с великим, сват. Дождались-таки весточки.

— Да уж праздник дак праздник. Каково, сватьяшка, с самой-то войны ни слуху ни духу?.. Чуешь, двери-то хлопают, — кивнул Степан Андреянович в темный угол на лестницу, которая вела в боковую избу. — Сама-то прямо ожила, а то ведь лежкой лежала. Рубаху сына в избе развесила... Да ты присядь, сватья. Степан Андреянович выдвинул подсанки из угла, сел рядом с Анфисой.

— А твой все не пишет?

— Нет, — сухо ответила Анфиса. — А что Василий Степанович? Здоров?

— Славу богу, здоров и невредим. А бывать во всяких сраженьях бывал. И на купированных землях, и в партизанах, и фронт переходил — всего досталось. Вишь ты, сразу-то в окруженье попал, ну и письмо-то никак было послать... А что про немцев, Анфисьюшка, пишет — страсть! Людей наших тиранят — хуже татар каких... Да ты зашла бы в избу. Чайку бы попили. Я сахарком на днях разжился... Мы ведь как-никак родня. С твоей-то матерью кумовьями были. Покойница, бывало, редкий праздник не зайдет...

— Зайду, зайду. Только не сейчас. Корова еще не доена. Полдня в правленье высидела.

— Заседали?

— Ох, наше заседанье, — вздохнула Анфиса. — Весна на поля просится, а у нас глаза бы не пядели. Я не утерпела — сказала. Дак уж Лихачев кричал... А Федор Капитонович, подумай-ко, сват, что надумал? Дальние навины под пары пустить... Я говорю, самое время лес на полях разводить. Где только и совесть у человека...

— Даа... — неопределенно протянул Степан Андреянович.

Над головой, обдуваемые ветерком, зашелестели веники. Сквозь щель в крыше робко и неуверенно проглянула первая звездочка. Анфиса поднялась с подсанок:

— Забыла, сват... Завтра по сено с бабами не съездишь? Речонка, говорят, сопрела. Куда они без мужика?

Степан Андреянович почесал в затылке:

— Поясница у меня... ладу нет...

— Поясница? — Анфиса обвела глазами темные простенки с белевшими полозьями. — Сани небось для лесопункта день и ночь колотишь...

— Да ведь плачешь, да колотишь. Исть-пить надо.

— А колхоз пропадай?! Бабы и то говорят: нам житья не даешь, а свата укрываешь... Ты хоть бы для сына это...

— Не по-родственному, сватья, — с обидой в голосе проговорил Степан Андреянович.

— А всю работу взвалить на баб — это как, по-родственному?

На улице, ступая по заледенелой дороге, Анфиса одумалась. Она была вконец недовольна собой. И что это на нее сегодня нашло? Со всеми поругалась. И зачем старику-то радость испортила?

Над деревней сгущались синие сумерки. Огня в домах не зажигали — всю зиму сидели без керосина. Только кое-где в проулках вспыхивала лучина, которой освещалась хозяйка, не успевшая управиться с домашними делами засветло. За рекой вставала луна — огромная, багрово-красная, и казалось, отсветы пожарища, далекого и страшного, падают на белые развалины монастыря, на тихие окрестности северной деревни, затерявшейся среди дремучих лесов.

Дома, подоив корову, Анфиса поужинала в потемках и лишь тогда засветила маленькую коптилку.

Под окошками голосисто и жалобно всплеснулась частушка:

На германскую границу
Накидаю елочек,
Чтоб германские фашисты
Не убили дролечек.

Девушки шли стенкой, взявшись под руки, а сзади них врассыпную, как телята при стаде, бежали нынешние ухажеры.

«Бедные девки, — подумала Анфиса, задергивая занавеску, — и погулять-то вам не с кем».

Потом она снова села за стол и стала читать длинный-предлинный вопросник, который ей еще утром вручили в правлении.

Неслыханные порядки заводил Лихачев. Каждую неделю бригадиры должны подавать письменную сводку.

Вывозка навоза, ремонт сельскохозяйственных машин и орудий (сеялки, плуги, бороны), процент всхожести семян. Наличие рабочей силы (мужчин, женщин, подростков)...

Да что он, рехнулся? По неделям растут люди, что ли? Но делать нечего пиши, коли приказано.

Последние слова она дописывала зевая, борясь со сном. Уже раздеваясь, услышала под окном летучие, хрусткие шаги.

— Можно на огонек?

В темноте у порога как звезды блеснули глаза. Не дожидаясь ответа, Настя подбежала к Анфисе, обхватила ее холодными руками. На Анфису пахло весной, лесом.

— Уже ты, заморозишь! — Она с притворной строгостью начала отпихивать девушку.

— Заморожу? Ну так вот тебе, вот тебе... И Настя со смехом стала обнимать Анфису, прижиматься к ее лицу нахолодавшей щекой.

Анфиса, поживаясь, ворча, высвободилась из объятий, накинула на плечи байковую кофту: ей неловко было стоять перед девушкой полураздетой, хотя та редкий вечер не забегала к своей подруженьке. И все вот так: то «на огонек», то «на минутку отдышаться»...

— Ты что не в клубе? — не без удивления спросила Анфиса, разглядывая девушку. На ней была обычная стеганка, в которой она ходила на работу, серые валенки, обшитые на носках кожей.

— А чего я там не видала? Пыль да копоть от лучины? — Настя присела на стул, сдвинула на затылок белый пушистый платок. — Я знаешь где была? В навинах. Мама за прутьем послала — нечем опохаться у крыльца. А в навинах... Луна, наст крепкий-крепкий. Я как на крыльях летела... А знаешь что, Фисонька? — вдруг присмирившим, загадочным голосом зашептала Настя. — Мне опять письмо пришло. Карточку просит...

Вся вспыхнув, она медленно подняла глаза к Анфисе:

— Посылать ли?

Анфиса не могла сдержать улыбки. Ох, Настя, Настя, и выдумала ты себе любовь. Парня в глаза не видала — может, и взглянуть не на что. Да и то сказать: где они, парни-то? Хоть на бумаге, а любовь...

И она живо ответила:

— Пошли, пошли. Почему не послать. Настя с благодарностью улыбнулась ей.

— Я вот не знаю только, — тем же доверчивым голосом, помолчав, заговорила она, — какую карточку... Я бы хотела, знаешь, ту, где я с косами. Только там я босиком. Может, нехорошо?

— А чего нехорошо? Ноги у тебя не украдены. Пусть полюбуется.

— Ох уж ты, Анфиса Петровна... — Настя стыдливо покачала головой.

Потом она с прежней живостью вскочила на ноги:

— Побегу — завтра рано вставать... А я тебе опять сон растрясла.

— Ладно, выплюсь. А как там в дальних навинах? — спросила Анфиса уже у порога. — Много навозил Клевакин навоза?

— Федор-то Капитонович? — беззаботно улыбнулась Настя. — Что ты, Анфиса Петровна! Где кучка, где две. А у Поликарпа и того нет — голым-голо...

— Да не может быть! — Анфиса схватила девушку за руки.

— Нет, вру я, — обиделась Настя. — Сходи посмотри сама.

Анфиса выпустила Настины руки:

— Ну тогда без хлеба останемся... Поликарпова бригада завсегда выручала.

Настя широко раскрытыми глазами, не дыша, смотрела на Анфису. Она поняла все. В дальних навинах без навоза и сорняк не родится. Где же у нее-то глаза были? Еще комсорг... Ведь должна бы знать: Поликарп всю зиму болеет. Тот, колхозный радетель, за него и бригадой правит.

Она быстро забежала по комнате. На столе вздрогнул и замигал светлячок керосинки.

— Вот что, — сказала Настя решительно, — я Лихачева искать пойду.

Анфиса безнадежно махнула рукой:

— Как же, найдешь теперь нашего Харитона.

— Ну так я всех на ноги подыму. Палку возьму да под каждым окошком стучать буду.

— Не выдумывай. Женки весь день с сеном маялись — из-за Синельги вброд доставали...

Настя с отчаянием всплеснула руками:

— Да ведь, может, завтра ручки побегут. Ты что, Анфиса Петровна, не понимаешь?

Анфиса нахмурила брови:

— Разве ребят да девок кликнуть — давеча в клуб прошли.

— А ведь и вправду!

Настя схватила с вешалки Анфисину фуфайку, плат.

— Пойдем, Анфисонька, тебя лучше послушают.

Мишка Пряслин, взбежав на крылечко своего дома, осторожно открыл ворота, ощупью — пересчитывая шаткие половицы в сенцах — добрался до дверей. В избе темно, пахнет сосновой лучиной с печи, нагретым тряпьем. От передней лавки посапывание спящих ребятишек.

— Явился, полуночник. Уроки опять не выучил. Мишка, не обращая внимания на ворчание матери, приподнявшейся на постели, торопливо прошел в задоски^[1] и, нашарив чугунок с холодной картошкой, сунул несколько картофелин в карман. У печки под порогом с трудом разыскал рукавицы.

— Да ты, никак, опять на улицу?

— Нет, лежать буду, — огрызнулся Мишка. — Понимаешь, — горячо зашептал он, на цыпочках подходя к матери. — У Поликарпа все навины голы... Сейчас прибежала в клуб Анфиса Петровна — всех навоз возить.

Мишка выпрямился, стряхнул с себя сонное тепло.

— Переоденься. В чем в школу-то пойдешь?

— Ну еще...

— Переоденься, кому говорят. Вот уже напишу отцу... Совсем от рук отбился.

— Да пиши ты, жалоба. Все только отцом и стращаешь...

От дома Пряслиных до конюшни целый километр, и вот то, чего боялся Мишка, случилось. Прибежал он на конюшню, а лошадей уже не было.

Конюх Ефим зло пошутил:

— Бойкостью ты, парень, не в отца. Тот, бывало, всегда во всем первый... Ну, коли проспал, запрягай быка.

И Мишка, чуть не плача от стыда, выехал с конюшни на проклятой животине. Возле кузницы он услышал знакомый-знакомый перепляс кованых копыт. Взметнувшимся ветром у него едва не

сорвало с головы шапку, на сани дождем посыпались ошметки наледи. Мимо, весь залитый лунным светом, пролетел Партизан. На санях, натянув вожжи, дугой выгибалась Дунярка.

— Что, Мишка, всхрапнул часок-другой? — насмешливо крикнула она, оборачиваясь. — А я уж за вторым еду.

Мишка хотел крикнуть что-нибудь донельзя обидное, но от Партизана уже и след простыл... Так вот кто опять перескочил ему дорогу! Из-за этой язвы у Мишки вся жизнь шиворот-навыворот. Какого стыда он натерпелся на днях! «У Пряслина рост с телушку, а сознательности на полушку»... Ну и прокатили, не приняли в комсомол... У нее и отец такой. Бывало, идет Мишка с ребятами, а тот сидит под окошком, зубы скалит: «Зятек, приворачивай на чаек». Так и прилип этот «зятек», как репей к шелудивому барану. Ладно, хоть черта зубастого на войну утыпали, а то бы житья от него не было...

У скотного двора народу и лошадей сбилось как на ярмарке. Шум, смех, лязганье вил, смачное шлепанье навоза. Кто-то светил лучиной. Мишка еще издали увидел Партизана. Среди низкорослых брюхатых лошадемок он возвышался как лебедь — белый, с гордо выгнутой гривастой шеей.

Мишка пристроил быка в очередь и, кляня все на свете, стал проталкиваться к саням, на которые наваливали навоз. Дунярка и тут командовала. Как же, выхвалялась! Придерживая за узду жеребца, нетерпеливо перебиравшего ногами, она покрикивала:

— Наваливайте скорей! Это вам не бык столетней давности.

— Как же ты оплошал, Михаил? — спросила его Анфиса. — Дунярка, отдай ему Партизана. Где тебе с таким зверем управиться!

— Как бы не так, — ухмыльнулась Дунярка. — Это мы еще посмотрим.

— Не горюй, Мишка, — рассмеялась Варвара Иняхина, поворачиваясь к нему. Которым с быками не везет, тем в любви везет. Хочешь, ягодка, поцелую?

Мишка оторопело попятился назад. Дунярка взвизгнула.

— Взбесилась, кобыла! — гаркнул Трофим на Варвару. — Скоро на детей будешь кидаться!

— Я бы и тебя, Трофимушко, поцеловала, да у тебя борода колючая...

Поднялся шум, галдеж — вороны так на холод не кричат.

Мишка сбегал к своим саням за вилами — разве дождешься толку, когда бабье свой граммофон заведет? — и вместе с навальщиками принялся отдирать навоз.

Со скотного двора он все же выехал на коне. Уступила Парасковья, которая, как рассудили женщины, хоть на черта посади — все равно по дороге заснет. Немудренный конек, еле ноги переставляет, а ежели поработать ременкой — ничего, трясется...

Скрипят полозья по оледенелой дороге. По небу бежит месяц яснолицый, заглядывает Мишке в глаза, серебром растекается по заснеженным полям, по черни придорожных кустов. Сбоку — в половину поля — качается синяя тень от коня.

«Вот бы мне такого коника, — думает Мишка. — Этот почище Партизана был бы. — Он смотрит на великана в огромной ушанке, с жердью в руке восседающего сзади коня. — А еще бы лучше мне таким. Один бы всех фашистов перебил!»

Потом он долго глядит на Полярную звезду, мерцающую в ясном небе, и уже под наплывающий сон думает:

«Вот ежели идти на юг, прямо-прямо, много-много ночей и дней идти, можно бы на фронт выйти...»

На ухабе сани тряхнуло, и Мишка поднял отяжелевшую голову. Перед ним чернел Попов ручей. Сон с него как рукой сняло. По рассказам, в Поповом ручье пугало. Говорят, будто давным-давно тут повесился какой-то мужик, и с той поры каждую ночь о полуночи разъезжает по ручью баба-яга на железной ступе, разыскивает душу бедного мужика...

За Поповым ручьем стали попадаться лошади порожняком, пронеслась Дунярка, что-то со смехом крича на скаку. Скоро показалось и поле, на которое возили навоз. Мишка быстро разгрузился, вскочил на сани и давай нахлестывать коня.

Под утро он вышел на второе место. Но Дунярка — черти бы ее задрали! — обскакала его на целых пять возов. А тут еще привязался сон. И чего только не делал Мишка — и бежал за возом, и лицо снегом растирал, — а сон так и обволакивал его. Под конец он схитрил: свалит воз, сядет на сани, настегает коня и тем временем дремлет.

И вот один раз, когда на обратном пути он задремал, ему вдруг почудилось, что его зовут. Он продрал глаза и похолодел от ужаса: его

со всех сторон обступал Попов ручей — от мохнатого ельника темно, как в погребке. Слева, из самой глубины чащи, глухо стонало:

— Ми-ишка, Ми-ишка...

«Это по мою душу...» — мелькнуло в его голове. Падая ничком на подстилку, он успел хлестнуть коня.

— Мишка, Мишка, помоги!..

Голос ему показался странно знакомым. Он остановил коня, приподнялся и опасно повел головой. Далеко в стороне от дороги, там, где ручей переходит в болотистую луговину, на снегу что-то шевелилось.

— Мишка, не уезжай... Партизан утоп...

— А, чертова кукла! — злобно выругался Мишка. — Так тебе и надо! — и он с яростью вытянул коня ремёнкой.

А через несколько минут, понося на все лады Дунярку, повернул обратно...

Перед самым спуском в Попов ручей (как же он раньше-то не заметил!) бугрилась свежепроезженная росстань. Ну ясно — вот на чем обхитрила. Стахановка!.. Но когда он, миновав кусты, подъехал к луговине, новая боль и отчаянье охватили его: Партизан по самое брюхо стоял в ледяном сусле. Дунярка, всхлипывая, топталась спереди жеребца, тянула его за повод. Свет месяца вспыхивал на ее оледенелых валенках.

— Дуреха, бестолочь! В прелую ручьевину залезла. Вот обезножит жеребец, тогда узнаешь!

Мишка оттолкнул Дунярку, взял повод в руки.

— Но, Партизан, пошел, пошел... Жеребец захрапел, обдавая его паром, рванулся вперед, но передние ноги его снова провалились.

— Все, хана... — махнул рукой Мишка. — Надо жерди таскать, ручьевину мостить...

...На скотный двор приехали на рассвете.

— Где вас лешак носит? Уснули? — заорал Трофим.

— А может, они дролились? Ты почему знаешь? — усмехнулась Варвара.

— Это она... — исподлобья взглянул Мишка на Дунярку и вдруг поперхнулся.

Дунярка стояла поникшая, жалкая, ковыряя обледенелым валенком грязный снег. По смуглым, осунувшимся щекам ее текли

слезы. И тут Мишка неожиданно для себя пробормотал:

— Завертка у саней лопнула...

Лихачев пришел в ярость, когда утром, возвращаясь из сельсовета, увидел Партизана в упряжке. Как! Армейский боевой конь! Фондовская единица! Сколько раз говорено этому старому пентюху Ефиму: никаких сельскохозяйственных работ! Так нет, не успел отвернуться — в сани с навозом, как последнее быдло...

Лихачев был заядлым лошадником — в конях разбирался, знал в них толк не хуже любого цыгана. Десять лет он возглавлял конский обоз леспромхоза и чуть не каждый год обновлял свою кавалерию. Война сбила его с насиженного места, но и не призвала к себе. Еще мальчишкой, роясь в песке на старом стрельбище, он наткнулся на забавную штуковину — тяжелую проржавленную чушку с длинной рукояткой. Чушка за ненадобностью — одна ржавчина — полетела в сторону, а вот медный патрон с прозеленью, извлеченный из нее, Харитонку заинтересовал. Прячась от товарищей, он забежал в ближайшие сосны и начал легонько выстукивать патрон о камень. Взрывом навсегда унесло три пальца с левой руки...

Осенью сорок первого года, когда в районе пошла небывалая перетряска кадров, Лихачева назначили председателем колхоза. Десять лет на руководящей, команду знает, чего же еще?

В новой должности Лихачев не изменил своим привычкам. Каждое утро, перед тем как отправиться в правление, он заглядывал на конюшню. Мимо костлявых, мохнатых клячонок, понуро стоявших на сквозняке, он проходил, судорожно перекосив рот, но когда в дальнем утепленном углу, заслышав его шаги, всхрапывал белогривый красавец жеребец, суровое лицо Харитона светлело от улыбки...

Лихачев, дрожа от гнева, начал заворачивать коня. Но за Партизаном показались другие, третьи сани, потом он увидел целую толпу женщин возле скотного двора, и мысль его внезапно приняла другое направление. Насчет навоза на днях было крепко разъяснено в райкоме!

Быстро оценив обстановку, Лихачев подогнал своего коня к конюшне, на ходу выскочил из саней и направился к людям.

К удивлению Анфисы, он не стал разносить ее.

— Вот это по-военному, — одобрительно сказал он, сдвигая кубанку на затылок.

Затем, окинув взором холмины навоза, испещренного мокрым снегом, он ткнул плеткой в сторону Анфисы:

— Минина! Под персональную ответственность! Чтобы эти Казбеки в два дня!.. — плетка взлетела по направлению навин. — Почему не весь народ выгнан? Не знаешь, что такое навоз?..

Лихачев строго оглядел копошившихся в навозе людей и, поскрипывая хромовыми, ярко блестящими сапогами, прямой, молодежато перетянутый ремнями, зашагал по дороге к правлению колхоза.

Там, строго-настрого приказав Малышне никого не впускать в контору, он сел за стол, достал бумагу.

Часа через два, отирая пот с рябого лица, он перечитывал:

«В газету „Пинежский колхозник“

Дадим стране героический военный урожай!

Колхозники колхоза „Новый путь“ наглядно отрешаются от благодушия, а также от мирных настроений, как учит нас товарищ Сталин. В ночь на 16 апреля под энергичным руководством председателя тов. Лихачева они решительно перестроились на военный лад и открыли экстренную вывозку навоза сверх плана. Ибо, как учит „Правда Севера“, навоз — залог высокого военного урожая. А высокий урожай нужен для победы героической Красной Армии над кровавой собакой Гитлером. Колхозники „Нового пути“ так же единодушно решили заменить Украину-житницу Советского Союза, над которой изгаляются временные фашистские изверги, и засеять все площади до последней пяди. Вышеуказанный патриотический подъем колхозников „Нового пути“ и наглядная перестройка на военный лад были обеспечены активной массовой и политической работой среди колхозников, а также постоянной опорой председателя тов. Лихачева на актив и на массы.

В то же время имеется сведенье, что в „Красном партизане“ тов. Фролов дальние поля навозом не обеспечил. Стыдно, тов. Фролов, а еще знамя держишь! Кому очки втираешь? Родине!

Товарищи председатели! Плотнее обпирайтесь на актив и на массы! Вывозите навоз, пока санный путь держится. Дадим стране героический военный урожай! Следуйте за тов. Лихачевым!

Патриот».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Левый скат пекашинской горы долгие годы оставался необжитым. Куда тут селиться? Пустырь. Зимой снегом занесет — не откопаешься...

Здесь-то лет тридцать с лишним назад в прохладном сумраке зеленой лиственницы и пустил свои корни Степан Андреянович. В ту пору свежесрубленная избенка Степана Андреяновича, с подслеповатыми околениками, одиноко торчала на отшибе, а самого его называли еще Степонькой-бедой.

Мать Степана Андреяновича приплелась в Пекашино откуда-то снизу, из монастырей, когда ему не было и года. Несколько лет ходила она с сыном по чужим людям, обшивала, обстирывала их, потом сломала руку, запила, и однажды Марину-распьянеху нашли в лопухах, за гумнами, мертвой.

Пекашинский мир сжалился над сиротой — не дал пропасть. Не по годам рослый и крепкий, Степонька оказался хорошим, сметливым работником и, пока жил в людях, познал все премудрости хозяйничанья на земле, выучился деревенским ремеслам. Лет в семнадцать он твердо решил стать на свое хозяйство. Дело было за малым: не было у Степоньки земли. И парень стал жилы из себя тянуть, чтобы заработать лишнюю копейку. К двадцати годам нажил грыжу, а земля по-прежнему не давалась в руки. Тогда-то и надумал Степонька испытать легкой наживы. На скопленные деньги купил он у богатея Харина красного товару и пошел торговать по деревням. И ведь сначала повезло было: за какой-нибудь месяц капиталы его удвоились.

На обратном пути первый раз в своей жизни Степонька облачился в суконные штаны и кумачовую рубаху с гарусным поясом, а на рыжую голову лихо вздернул фуражку с лакированным козырьком. От такого купеческого вида не по себе стало парню — пришлось понабраться храбрости в кабаке.

Всю дорогу Степонька заливался песнями, гляделся в каждый ручей, с трудом признавая себя в этом разряженном молодце. На пекашинский наволок он спустился в полдень. Что делать? Заявиться

в деревню среди бела дня не было никакого расчета. Люди все в поле, а Степоньке непременно хотелось протопать из конца в конец по своей деревне-мачехе, да так, чтобы люди глазели из каждого окошка, чтобы останавливались прохожие, спрашивали друг у друга: «Чей же это? Неужто Степонька — распьянехин сын, то бишь Степан Андреянович?..»

Ради этих-то двух последних слов, которые он жаждал услышать от пекашинцев, и решил Степонька выждать вечера на лугу. Сел он под кустик возле дороги и стал думать-гадать о житье-бытье. Солнце немилосердно припекало, клонило в сон. Степонька снял новые сапоги, чтобы не потрескались от жары, снял рубаху, свернул все это бережно и положил под голову. А когда проснулся, не было ни солнца в небе, ни сапог, ни кумачовой рубахи под головой. И вошел он в тот черный вечер в Пекашино не Степаном Андреяновичем, а все тем же Степонькой — распьянехиным сыном, да еще вдобавок Степонькой-бедой...

После этого за многие дела хватался Степан, да что — беда так и ходила по пятам. Заготавливал лес по подряду — лошадь хозяйскую бревном придавило, едва расплатился; повел плоты в Усть-Пинегу по большой воде — под Труфановой горой на ямах растрепало по бревнышку, напарник — пьяница Тришка утонул, а сам Степан насилу приболтался к берегу.

Кто знает, сколько бы еще бросало его по ухабам разбитой мужицкой дороги. Но тут подошли крутые перемены. Тысяча девятьсот семнадцатый год, хоть и в самый разгар страды, ворвался в его избу веселым, задорным криком долгожданного сына. Новая власть дала лошадь из имения бежавшего богатея Харина, нарезала большой клин земли. Правда, в безвременье, когда власть в уезде качалась, как дерево в непогодь, натерпелся страху: не раз вместе с лошадью и пожитками отсиживался в лесу. Но вот кончились смутные дни — и попер в гору Степонька, распьянехин сын. На работе дичал: во время сенокоса не разжигал костра — проплотит кусок всухомятку, запьет из ручья и снова за косу. Он даже ходить разучился — все бегом, все бегом...

В тридцатом году под горячую руку Степана Андреяновича едва не раскулачили. К тому времени он имел двух коров, двух лошадей,

жеребенка, штук десять овец и справедливо считался одним из самых богатых хозяев на деревне. Спасибо, вступилось общество...

А через год увидел: деваться некуда, — и почти последним в Пекашине вступил в колхоз «Новый путь». Обезрадела, опостылела жизнь Степану Андреяновичу. Два года ходил он как больной. Выйдет поутру в заулок, заглянет в конюшню, а там пусто. Кучка сухого помета да начесы гнедой шерсти в расщепах яслей — вот и все, что осталось от бывшего. По ночам ворочался, не спал. Надолго ли? А что, как все повернется вспять? Два брата постромки рвут, а тут захотели удержать всю деревню в одной упряжке... И потихоньку, таясь от людей, начал он подделывать разные вещи для крестьянского единоличного обихода случись какая перемена, его не застанешь врасплох.

Со временем ссоры в колхозе приутихли, хозяйство начало крепнуть, а он как пошел петлять боковиной, так и не смог попасть в общую колею. Впрочем, по нынешним беспокойным временам, как любил утешать себя Степан Андреянович, можно бы довольствоваться и такой жизнью, если бы одна незатихающая боль не точила сердце...

Когда стал подрастать сын, отец нарадоваться не мог на своего Васеньку. Всем-то взял парень: и топор, и перо в руках держится. И лестно было отцу выслушивать похвальные речи учительницы на родительских собраниях. Но дальше четырехлетки Степан Андреянович Васю не пустил: «Тебе не грамотой жить, а добро отцово умножать».

Что было после этого? Пять лет воевал отец с сыном из-за книжек — скажи, как дурь какая нашла на парня. А в тридцать четвертом году семнадцатилетний Вася выпросился у отца вести с мужиками плоты в Усть-Пинегу, сплыл по вешней воде, да только перед самой войной заглянул в родительский дом...

Нет, лучше не вспоминать, что тогда вышло. Мало ли чего между отцом и сыном не бывает?.. Поумнел Василий Степанович! Не успели письма досыта начитаться — перевод. На три тысячи рублей! Таких денег в Пекашине никто и в глаза не видал.

И ведь во всем остальном такое везенье — душа поет. Не успела корова отелиться, две ярки объяснились. А вчера — вот уж вправду сказано: рубль рубля ищет — подряд. Сам начальник лесопункта пришел: сделай летние сани и телегу. Хоть и не миновать размолвки с

бригадиршей, да какой же хозяин ворота добру не раскроет? Хлеб тут в буханках, не в посулах, опять же чайку-сахару подбросят...

Тянуть с подрядом не в привычке Степана Андреяновича, и потому на другой же день он собрался в лес.

В окнах избы трепетно играли лучи встающего за рекой солнца. На подоконнике розовела пушистая верба, выставленная заботливой рукой Макаровны, большой любительницы всякой красоты. На столе, в берестяной плетенке, рассыпчатые колобки, калачи, с румяной корочкой. Для сына...

Переполненный радостью и той неизъяснимой молодящей силой, которая у пожилого человека разливается по всему телу в минуты огромного счастья, Степан Андреянович затянул ремень с натопорней и, перед тем как выйти из избы, попробовал на ладони острие ножа.

— Ты, мать, довязывай чулок. Приду из лесу — понесу на почту. Да в амбар сходи, чаю-сахару из сундука достань. Пушай родителей вспоминает.

Макаровна, хлопотавшая около печи, с тревогой взглянула на старика:

— У меня из ума не выходит... С чего бы на письме чужая рука? Все сердце выболело...

— Полно с ума-то сходить... — Степан Андреянович засунул нож в ножны, подошел к жене, и, чтобы успокоить глупое материнское сердце, он, как в далекой молодости, взял в свои ладони мягкое, морщинистое лицо Макаровны, заглянул в ее тревожные глаза. — Брось, не мути голову. Чужая рука? Да, может, денщик какой. Прислуга такая из солдат у командиров. Тысячи-то за что-нибудь платят... — Он тяжело вздохнул. — У нас теперь одна забота, мать: дожидаться бы Василья Степановича. Я ведь знал, что Васильюшко одумается...

Уже выходя из избы, он столкнулся в дверях с внуком — четырнадцатилетним пареньком в мягкой кудели белесых волос.

— Дедушко, опять письмо!

— Вот и хорошо, любеюшко, дедушке письмо и надо.

Степан Андреянович засуетился от радости и подмигнул Макаровне: что я говорил? А тоже каркала: чужая рука, чужая рука...

Егорша разорвал конверт, поднес к глазам маленький серый листок.

«Некогда, видно, Васильюшку и письма-то написать, а вишь, весточку опять подал».

Голова Егороши как-то странно качнулась:

— Это... это... не от дяди Васи...

Степан Андреянович обеими руками вцепился в край столешни:

— Читай...

— «Командование части... с глубокой скорбью извещает, что Ваш сын, гвардии политрук Ставров Василий Степанович, 20 марта 1942 года...»

На дощатой заборке зарябила белая с расшитым воротом рубашка... Хватаясь за стол, за стены, Степан Андреянович добрал до кровати, упал... Кто-то стонал, выл по-звериному, а перед глазами его неотступно стояла белая рубашка. И безжалостная память во всех подробностях воскресила тот летний день...

Окна раскрыты, двери настежь — сын дома! И знал же, чем угодить отцу Василий Степанович! Из бани вышел в домашней рубашке с расшитым воротом будто и не расставался с родителем на шесть лет.

«Нет, хорошо на свете, а дома лучше всего!»

Степан Андреянович, счастливый сыновней радостью, лукаво поглаживает бороду: «Погоди, такую ли еще радость припас я тебе, сынок...»

И вот после обеда, когда оба они были уже под хмельком, отец подхватил сына под руку, повел на сенник. Поднявшись первым по лестнице, он широко распахнул ворота, одним махом скинул солому в углу, торжествующе посмотрел на сына.

«Дрожки! Вот это да!» — с изумлением прошептал Василий.

Все ликовало в Степане Андреяновиче, но он сдержался — поднял новый пласт соломы.

«Расписные пошевни!» — еще больше изумился Василий.

«А в пошевнях-то что? Взгляни-ко».

Василий долго любовался праздничной сбруей, перебирал, мял в руках сыромятные ремни, дул на медные пластинки. Степан Андреянович глаз не сводил с сына:

«Забрало-таки за душу, Васенька. Я ведь знал, что ты в отца, в хозяйстве толк понимаешь...»

Потом Василий стоял в проеме распахнутых ворот, глядел на деревню:

«Значит, и наш колхоз пошел в гору, раз такие дрожки и санки заводит».

«А ведь это, Васенька, вовсе и не колхоза...»

Лучше бы не говорить тогда этих слов! Изменился, побелел Вася, хмеля словно и не было, и таким чужим голосом:

«Куда же ты с этим?.. Продавать?»

«Почто, Васильюшко, продавать... — Степан Андреевич решил перевести все в шутку. — Для свадьбы это, для свадьбы твоей. Женись хоть зимой, хоть летом у отца все готово...»

«Я тебя серьезно спрашиваю».

«Ну хорошо, Василий Степанович, скажу серьезно. Ты что думаешь — так бобылем и будешь весь век по чужой стороне шататься? Али хочешь к пустым стенам вернуться? Отец-то у тебя хоть и неуч, а тоже жизнь прожил. А жизнь, Васенька, штука мудреная: сегодня так, а завтра эдак. А я ко всему готов, и добро это места не пролежит».

Василий растерянно заморгал глазами, прислонился к косяку:

«Выходит, я за Советскую власть агитирую, а отец развала колхоза ждет».

Вдруг он круто вскинул голову, шагнул к нему:

«Мне твоего барахла не надо! Слышишь? И ты сейчас же отвезешь это. А нет ноги моей больше здесь не будет!»

Это уж было слишком! От отца, родного отца, отказываться... От отца, который вставал и ложился с думой о нем... Все потемнело в глазах у Степана Андреевича. Не помня себя, он размахнулся и ударил сына по лицу...

Старик, уткнувшись головой в подушку, вдруг почувствовал, как горит его правая ладонь... Покачнулся Василий, прикрыл рукой глаза, но ни слова не сказал отцу...

А на другой день, не прожив и половины отпуска, уехал... Навсегда...

Долго лежал Степан Андреевич, распростершись на кровати, и все ему виделся Вася в белой рубашке, залитой красным светом вечернего солнца, слышались слова: «Мне твоего барахла не надо!...»

Вдруг старик вскочил на ноги, кинулся в сени.

Лестница, сенник... Жаром полыхнули медяшки в темном углу... — и топор врезался в хомутину...

— Дедко, опомнись! Дедко, не надо! Степан Андреянович обернулся. От лестницы с протянутыми к нему руками бежал Егорша.

— Не подходи! Порешу!..

— Давай пореши. Мало тебе сына — внука загубить хочешь!..

Степан Андреянович вздрогнул, топор выпал у него из руки. Прямо на него, высокая, раскосмаченная, шла Макаровна, впервые за всю жизнь поднявшая голос на своего хозяина...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В воскресенье, с утра, Анфиса с тремя колхозницами переметывала у конюшни сено, которое еще с зимы было определено для посевной. Они уже кончали работу, когда из-за угла конюшни неожиданно вывернулась матерая, бельмастая на один глаз Марина-стрелеха, прозванная так за непомерную резвость своих ног. В молодости она приторговывала водкой из-под полы и нередко, угождая загулявшим мужикам, за один день оборачивалась до райцентра — километров семьдесят туда и обратно.

Поравнявшись с женками, Марина круто осадила себя, так что взметнувшиеся полы старой, засаленной шубы подняли сennую труху с земли.

— Бабоньки! — дурным голосом запричитала она, хлопая себя по бедрам. — Что на свете-то дется... Степан с ума спятил...

— Как спятил?

— Спятил, говорю. Вот те бог, спятил. Своими глазами видела, перекрестилась Марина. — Середь бела дня в сани впрягся, топают по дороге, как лешой... без шапки... У лавки лужа, дак он прямо в низких валенках... Страсть! А на возу-то навалено — самовары не самовары, тазы не тазы — так и блеснит. Я это сдуру-то спрашиваю: «Куда путь держишь, Степан Андреевич?» А он хоть бы слово. Глазища в землю — да знай себе прет.

Стрелеха, отдышавшись, опустилась на сани.

— Вот до чего война-то доводит. Каково на старости сына лишиться? А тут еще дичь ставровская, порodka, сами знаете. Потихоньку-то с ума сходить не умеем...

Женки, ошеломленные, стояли не двигаясь, — кто с вилами, кто с граблями в руках. Анфиса еще вчера вечером узнала о страшной беде, свалившейся на голову стариков, но так и не выбралась к ним.

— Что, дурехи, вы стали? — вдруг закричала на баб Марина, вскакивая с саней. — Бежите к правленью.

И, не дав опомниться женкам, она первая, широко размахивая полами шубы, кинулась на дорогу...

Первое, что увидела Анфиса, — огромная толпа, запрудившая переулочек возле правления. Мокрый ветер трепал разноцветные платки женщин, задирали ушастые треухи стариков. А по дорогам и переулочкам все бегут и бегут люди...

На высоком открытом крыльце с белыми перилами и балясинами тоже народ, а спереди во всей своей красе — Харитон Лихачев. Он что-то выкрикивал в толпу, кому-то отчаянно грозил красным кулаком, тыкал рукой вниз перед собой.

Совершенно сбита с толку, Анфиса стала проталкиваться к крыльцу, и тут до ее слуха долетели слова Лихачева:

— Это чистейший патриотизм, товарищи! На таких санках самому Семену Михайловичу Буденному по фронтам разъезжать!..

Наконец Анфиса выбралась в передние ряды. Что-то яркое, цветастое зарябило в глазах у нее. На грязной заледе у крыльца стояли легкие, маленькие, как игрушка, пошевни, доверху заваленные мохнатыми овчинами, а на них жаром горела праздничная, убранная медью сбруя. И как ни была Анфиса измучена и потрясена случившимся, она невольно загляделась на это чудо. Черные точеные полозья с подковками фигурно выгнуты на козлах; высокое сиденье — в узорчатой резбе, стенка и задник расписаны муравой — будто ворох свежего сена шевелится на грязной заледе.

— И я так скажу, товарищи, — гремел Лихачев, — ежели уж такой старорежимный собственник начисто разоружился... — Лихачев крикнул от досады на свою оплошность, поправился: — Я так скажу: нету счета русской силы, и Гитлеру выйдет капут по всей форме! Понятно? — Он сдвинул на затылок кубанку. — Ну а ежели в части международной обстановки, то союзнички наши...

— Степана Андреяновича...

— Просим...

Лихачев недовольно повел бровью, но отступил в сторону:

— Героя дня? Это можно.

Только теперь Анфиса увидела свата, которого до сих пор заслонял собой Лихачев. Короткий стон вырвался у нее из груди.

Буря не так корежит дерево в лесу... Голова заиндевела, — скажи, как ночь на морозе выстоял, руки висят...

«Да что же это они? Заморозят его...» — Анфиса чуть не расплакалась, заметив, что старик в одной рубахе. Не спуская с него

глаз, она хотела податься вперед, накинуть на него свой ватник, но вокруг стало так тихо, что она невольно замерла на месте. Все услышали жаркий шепот нагнувшегося к старику Лихачева:

— Валяй, Ставров, говори, через что и как надумал такое дело. Да чтоб за душу хватало! Понятно?

Степан Андреянович вздрогнул, поднял голову. Медленно, тоскующими глазами обвел он людей, словно ища у них опровержения тому, что случилось. Но никто ничего не сказал ему Женщины немо и тихо плакали. Анфиса, крепясь, закусилась конец плата.

Ветер пузырил пестрядинную рубаху на старике, шарил по раскрытой волосатой груди. Но он не чувствовал холода. Десятки глаз не мигая, сквозь слезы, смотрели на него, и в них было столько муки сострадания, что что-то внезапно дрогнуло и надломилось внутри него. Ему вдруг страшно стало за этих людей, с которыми прожита целая жизнь. Он шагнул вперед, поднял руку, словно стремясь оградить их от беды, но в эту минуту взгляд его упал на пошевни...

Дрогнула земля под копытами... Радужным вихрем взмыли, понеслись санки в темную даль, оставляя позади себя рассыпчатый звон малиновых колокольцев...

Степан Андреянович пошатнулся, прикрыл рукой глаза и, тяжело переставляя ноги в низких валенках, набухших водой, стал спускаться с крыльца.

Анфиса, на ходу расстегивая фуфайку, расталкивая людей, бросилась к свату, но какая-то женщина опередила ее, накинула на плечи старика свою шубу. Люди расступились перед Степаном Андреяновичем, и он медленно, опираясь на внука, сопровождаемый скорбными взглядами земляков, побрел на дорогу.

Толпа не расходилась. Над головами низко ползла рыхлая туча. Черная тень пала на людей, и еще ярче, как жаровня живых углей, вспыхнула медная сбруя на санках.

Лихачев, на все лады кляня про себя чертова старика, напустившего панику на народ, затравленно водил глазами.

Вдруг на крыльцо, бойко перебирая сапожками, взбежала раскрасневшаяся Настя.

— Мы с мамой... — звонко выкрикнула она, — мы с мамой решили внести в фонд нашей дорогой Красной Армии. Мы отдаем телку... И мама призывает всех старых колхозников, а я

комсомольцев. Вот... — И Настя, так же быстро, как появилась, сбежала с крыльца.

— Раз такое дело... — воспрянул Лихачев, обрадованный неожиданным поворотом дела. — Кто следующий?

От дороги раздался взрыв хохота.

— Что такое? — заорал Лихачев, будто его окатили ушатом холодной воды.

— Да это Малышня! Ярку свою на победу ведет! — весело ответил кто-то и залился смехом.

С разных сторон посыпалось:

— Ну, теперь держись немец!

— Охо-хо-хо! Надумал...

— Он всю армию снабдит...

Меж тем Митенька Малышня уже подходил к крыльцу, петушиным голоском выкрикивал:

— Расступись, народ! Дай дорогу животному! У воза Степана Андреяновича он остановился, неторопливо и деловито привязал к задку пошевной маленькую, тощую, как он сам, овцу, хорошо известную в Пекашине под именем Митенькиной ярки.

— Ты? — грозно уставился на него Лихачев.

— Я, — утвердительно кивнул Малышня и, не давая опомниться Лихачеву, повелительно, насколько это было возможно для него, сказал: — Принимай, председатель... Сдаю для Красной Армии всю свою живность.

В этот день до позднего вечера к правлению колхоза вели овец, несли овчины, полушубки. И как знать, может, стал бы Харитон Лихачев первым колхозным председателем в районе — в посрамление Проньки Фролова, но тут подкатили новые события...

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Пропади оно пропадом. Вы как хошь, а с меня хватит...

Марфа Репишная с силой опрокинула плуг и, тяжело шлепая по мокрой, вязкой полевине, выбралась на промежек, где дотлевала прошлогодняя трава. Разрыв сапогом теплый пепел, она присела на корточки, протянула к золе заочневшие руки. Остальные пахари — Трофим Лобанов, Настя, Варвара и пожилая, в ушанке поверх суконной завязухи, Василиса — не заставили себя ждать. Кто начал обивать и очищать сапоги от земли, кто, приноравливаясь к Марфе, потянулся к травяному теплу.

Сиро, не грея, проглядывало из-за облаков солнце. Внизу, под откосом, глухо плескалась вода.

Пинега в этом году вышла из берегов. Затопило все подгорье: пожни, поля, огороды. Уцелела только узкая полоска горбылей у леса. А так — море разливанное, ни конца ни края. По мутной воде тащило бревна, коряги, вывороченные деревья с корневищами. Иногда проплывали постройки, по самую крышу сидевшие в воде, — не то сарая, не то бани. И во всем этом необъятном разливе воды лишь кое-где на холминах торчали островья с шапками прошлогоднего сена да выгибались, все в белой пене, ершистые верхушки ивняка. Время от времени из заречья, оттуда, где на красной щелье холодно сверкают развалины монастыря, доносился глухой, протяжный гул. Это, подточенные половодьем, срывались в реку камни и глиняные оползни. Оттуда же, с заречных озимей, возвещая о своем прибытии, никем не тревожимые (за другой ныне дичью гонялись охотнички), трезвонили гуси да изредка печально, как осенью, подавали свой голос журавли.

— Женки, пляньте-ко, — сказала Варвара, вытягиваясь на носках, — из района кто...

На пригорке показался невысокий, крупно шагающий человек в серой шинели, с сумкой через плечо.

— Эй! Далеко ли без хлебов? Приворачивай на перепутье! — замахала Варвара.

— Рука-то никак на перевязи, — заметила, подслеповато щурясь, Василиса.

Незнакомец, подойдя к людям, поздоровался, вытер ладонью запотевшее, страшно исхудалое лицо.

— Фу, черт, ну и дорожка.

Вид его всех озадачил. По шинели — военный, по серой фуражке с мягким козырьком — командированный. И что еще кинулось — живые, со смешинкой светло-карие глаза, с нескрываемым любопытством разглядывавшие их из-под большого влажного лба.

— Рука-то что? Не с войны случаем? — спросила сердобольная Василиса.

— С ней самой. С фронта, мамаша.

— С фронта?

Колхозники заново с неподдельным изумлением посмотрели на прохожего. Первый раз они видели живого фронтовика, человека, пришедшего из того, другого мира, где были их мужья, отцы, братья.

Женщины, опомнившись, бросились готовить место на санях для дорогого гостя. Настя постлала соломы.

— А с какого фронта? — нетерпеливо спросили незнакомца, едва тот опустился на сани и вытянул ноги в заляпанных грязью сапогах с широкими негнущимися голенищами.

— С Ленинградского.

— Что? С Ленинградского? — подскочил Трофим. — Парня моего не видал? Белый, здоровый, на один глаз косит.

— Ты хоть фамилию скажи, — рассмеялась Варвара. — А то — «белый, здоровый».

— Фамилия? — Трофим вытаращил глаза. — Фамилия известна. Максим Лобанов.

— Нет, не помню, — улыбнулся гость и начал доставать из кармана шинели кисет с обрывком газеты.

— Как вы одной рукой-то... — посочувствовала Василиса.

— Это, мамаша, дело нехитрое — могу и вам скрутить, — пошутил гость. Закуривайте, — предложил он Трофиму.

— Старой веры держимся, — буркнул Трофим.

— Ну-ко, Троша. — С других саней встала, жеманно улыбаясь. Варвара. — Чем дыму-то зря пропадать, дай лучше я понюхаю.

— Надумала, шалава, — сердито проворчал Трофим.

Варвара, подсаживаясь к фронтовику, игривым взглядом скользнула по его лицу, вздохнула:

— Бывало, своего все из избы гнала, табашником ругала, а нынче бы понюхала, да нет...

— Сказывай, дыму захотела, — раздался гулкий бас. — Смотри, Варуха: Терентий узнает, он тебе покажет дым.

Гость с удивлением посмотрел на молчавшую до сих пор женщину с угрюмым, некрасивым лицом. Была она необъятно широка в плечах и стане и на целую голову возвышалась над молоденькой девушкой с добрыми, открытыми глазами, как грибок-подросток прижавшейся к ней сбоку.

Марфа переняла его взгляд, недовольно сдвинула черные ершистые брови: «Что, не видал таких?»

А Варвара, ничуть не смутившись, самоуверенно отвечала:

— Уж я-то своего Терешеньку сумею улестить, только бы вернулся. Будьте спокойны, Марфа Павловна...

— Хватит тебе! — прикрикнул на нее Трофим. — Пасть раскрыла — не слышали... Правда-нет, в Ленинграде мор страшный?

Лицо гостя помрачнело. Карие, глубоко посаженные глаза стали углисто-черными.

— Зимой сто двадцать пять грамм на гражданского. Четверть фунта. Хоть гляди, хоть нюхай. Под снарядами, под бомбами. Холод, света нет... — Он глубоко затынулся, закашлялся. — Помню, зимой приехал я с фронта за снарядами на завод. Ад крошечный! Темень, крыша снарядом разворочена, ветер как на пустыре. А зима, сами знаете, какая была. Вижу, в одном углу лампешка чадит, рабочий у станка стоит — в шубе, голова тряпьем обмотана. Рукавицы снимет, подует на руки да снова за клещи. Ну подошел, смотрю. А у него, понимаете, лицо все обморожено, прямо как чугунное — места живого не сыщешь. Только одни глаза из-под очков поблескивают. Что, говорю, доживем, отец, до победы? А он посмотрел на меня да и говорит: «Надо. Я сегодня пятого — последнего в семье на кладбище отволоку...»

Далеко, в заречье, с глухим стоном сорвалась в воду глыба подмытой глины. Вокруг людей чернела выжженная земля. Ветер вздувал холодный пепел. Шумно отфыркиваясь, шарили мордами по

промежку лошади. Василиса, ширкая носом, вытирала рукавицей глаза.

— Да, вот какие ленинградцы! — тихо сказал гость. — А вы, я вижу, не очень-то торопитесь с победой? Это с утра наработали? — указал он здоровой рукой на поле.

Под Марфой затрещали сани.

— И того бы не надо! Земля не отошла, холодом дышит — не чуешь?

— Экая ты, Марфушка... С тобой как с человеком, а ты как медведица. Да вы не бойтесь, — подмигнула Варвара гостю. — Это она на председателя...

— Понимаете, — вмешалась Настя, — председатель у нас Лихачев... Мы ему: подождать надо, земля не отошла, а он и слушать не хочет. Здесьние поля, говорит, колом торчат у начальства, всю картину марают. Ну и выгнал, а пахать все равно нельзя.

— Так, так, — задумчиво сказал гость. — Ну, мне пора. Спасибо за беседу. Он улыбнулся глазами. — Встретимся еще.

— Мы тоже поедem, — решительно сказала Марфа. — Бабы, запрягайте лошадей.

Василиса уже вдогонку крикнула:

— Да вы сами-то чей, гостенька? Как вас звать-величать?

Человек в шинели обернулся:

— Лукашин. Иван Дмитриевич.

— Так, так, Иванушко... К родимой, значит, да к жене попадаешь? А из какой деревни? Фамилия-то ровно не здешняя.

Новый знакомый неожиданно и весело рассмеялся:

— Из райкома. На посевную к вам послан.

Женщины с немym изумлением переглянулись между собой.

— Вы уж нас не обессудьте! — опять вдогонку закричала Василиса. — Может, чего и лишнего наговорили...

На покатоy горушке, перед самым спуском в низкую луговину, сплошь затопленную половодьем, Лукашина догнала молодая смазливая бабенка, игривый взгляд которой он чувствовал на себе во время недавней беседы с колхозниками.

— Коль уж вы бойко шагаете! Походочка фронтовая — я вся запышалась... Вы куда это направились? Вон теперь где переходы-то, — указала она на кусты слева. — Пинега раздичалась — страсть.

Чужому человеку и ходу нет. Пойдемте. Уж коли я первая вас заприметила, я и выведу...

Варвара задорно подмигнула ему, слегка приподняла подол платья и свернула налево.

Лукашин, приноравливаясь к ее мелкому шагу, кивнул на реку:

— Что она у вас, всегда такая?

— Пинега-то? Раз в десять лет молодость вспоминает. А так, чего уж — не Черное море, — авторитетно заявила Варвара и сбоку посмотрела на него: учти, мол, и мы не какие-нибудь.

Вскоре она остановилась:

— Ну вот, на угорышек-то взойдете, там и переходы. А потом опять вправо изгородь будет, — повела она рукой, — все низом, низом, а там и косок — дорога в гору. Видите, вон человек-то на угоре... Да ведь это Степан Андреевич... вдруг изумленно зашептала Варвара, качая головой. — Мы уж думали, карачун ему, две недели в рот не бирал, а он, вишь вот, ожил. Это он на реку взглянуть вышел.

За озеринной, на пекашинской горе, недалеко от огромного дерева с черными разлапистыми ветвями, стоял человек, опершись на палку. Издали невозможно было рассмотреть ни его лица, ни его одежды, но одно показалось Лукашину несомненным: это был рослый, крупный человек.

— Сына у него убили. Один сын был, и того убили, — вздохнула Варвара.

— Как вы сказали? Степан Андреевич? А фамилия не Ставров?

— Ставров. А вы откуда знаете? — удивилась Варвара.

— В газете читал. Это он сдал свое добро в фонд Красной Армии?

— Пошевни-то да дрожки? Он. А про меня уж в той газетке ничего не написано? — с неожиданным простодушием спросила Варвара. — Иняхины мы. Я тоже овцу сдала.

— Ва-ру-ха!.. — донесся злой, хриплый голос с поля.

— Эко пасть-то раскрыла. Без Варухи шагу не ступит, — рассердилась Варвара, но ответила с неизменной ласковостью: — Иду, иду, Марфинька...

Затем, обернувшись к Лукашину, она торопливо заговорила:

— Командировочные-то у нас всё больше у Марины-стрелехи останавливаются. Она из-под земли вино достанет. Ну а теперь вина нету, кто рад со старухой! С одним глазом, ничего не видит. Вы ко мне приходите.

— Ва-ру-ха!..

— Околей ты дале, иду. Могла бы и мою лошадь пригнать. — Варвара сделала несколько шагов и опять обернулась к Лукашину: — Дак вы ко мне, ежели пожелаете... Летом учитель жил — ничего, не обижался...

Варвара засмеялась и, махнув красным подолом, скрылась за пригорком.

— Ну и ну... — улыбаясь, покачал головой Лукашин. Затем он еще раз посмотрел на одинокую фигуру все так же неподвижно стоявшую на горе, и пошел к мосткам.

...Во дворе правления он увидел мужчину и женщину.

Они стояли на открытом крыльце и, судя по всему, о чем-то крупно спорили.

— Не страшай, не поеду! — выкрикнула женщина. — Сама не поеду и людям не велю.

— Ты что? Приказы не выполнять? — наседали на нее мужчина в кубанке с красным перекрестьем поверху. — Весну военную встречаешь?

— Здравствуйте, товарищи.

Мужчина и женщина разом обернулись.

— А, фронт... — приветливо разулыбил свое рябое лицо мужчина и, сойдя с крыльца, протянул Лукашину руку. — Домой? На побывку? В какую деревню? Минина! — резко обернулся он к женщине: — Выделить лошадь! Немедленно! Понятно?

Темные глаза женщины сузились:

— Нету у меня лошади! Заняты... — И она, злая, сердито раздувая ноздри, сбежала с крыльца.

— Видал, какой черт! Да, брат, кто с немцами, а я с бабьем воюю. Ну мы это дело обтяпаем. Лошадь будет.

Лукашин, задетый за живое неласковым приемом женщины, проводил ее взглядом до угла. Она шла размашистой, мужской походкой.

«С характером», — подумал он.

— Лошадь мне не надо. Я к вам из райкома. Час спустя Лихачев, весь красный, выскочил из бухгалтерской в общую комнату.

— Ну, как международная обстановка? — любопытствовал Митенька Малышня, растапливавший печку.

Лихачев грохнул дверью.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

План Лукашина, когда он отправлялся в «Новый путь», был самый обыкновенный: вечером в тот же день собрать колхозников, рассказать о положении на фронте, а затем уже, после этой духовной зарядки, влезать в колхозные дела. Но головотяпское распоряжение Лихачева, о котором узнал он от колхозниц в поле, опрокинуло все его первоначальные намерения. Надо было, как говорится, сразу брать быка за рога.

Два дня Лукашин знакомился с колхозными делами: разговаривал с людьми, обошел скотные дворы и конюшни, побывал в кузнице. Творилось черт знает что! Сеялки не отремонтированы, плуги, как на слом, свалены в кучу под открытым небом у кузницы — ржавые, с прошлогодней землей на лемехах. С кормами и того хуже: прохлопали, не вывезли до распутицы с дальних речек. И все это в колхозе, о котором в райисполкоме с уверенностью говорят как о добротном середняке, не внушающем опасений за исход посевной. А председатель? Слова доброго о нем никто не сказал.

«Ну погоди у меня, — с бешенством думал Лукашин, — я тебе мозги вправлю!»

В нетопленном клубе — бывшей церкви с темными высокими сводами — холодно и мрачно. Единственная лампешка с выщербленным стеклом освещает лишь сцену. В глубине все еще хлопают двери, скрипят скамейки под рассаживающимися людьми. Шум, приглушенный кашель, пар от дыхания.

— Все староверки прикатили, — замечает Лихачев, наклоняясь к Лукашину. — А бывало, в этот самый храм божий на аркане не затащишь.

Федор Капитонович, непрременный член президиума каждого собрания, налил в стакан воды, услужливо поставил перед Лукашиным.

Наконец Лихачев объявил:

— Доклад об международной обстановке, какая имеется на сегодняшний день, будет говорить товарищ Лукашин, бывший

фронтовик, а ныне уполномоченный райкома ВКП(б). Только у меня тихо. Понятно? — строго добавил он, садясь.

Лукашин встал, скинул с плеч шинель.

Шум сразу пошел на убыль. В тусклых отсветах у сцены мелькнули знакомые лица: улыбающаяся Варвара в ярком, цветастом платке, игриво покачивающая ногой в новой калошке, Трофим Лобанов, Настя... А дальше — сплошная тьма, прорезаемая множеством сухих блестящих глаз, скрестившихся на нем. Эти глаза ощупывали, вопрошали его, ждали. И он знал, чего они ждут, чего хотят от него. Но чем взбодрить, окрылить их измученные, истрадавшие души? Нету сейчас в жизни ничего, кроме бед и напастей.

Но по мере того как перед мысленным взором Лукашина начал вставать осажденный Ленинград, громадная, вся в зареве пожарищ страна, голос его окреп, накалился.

— Фронт сейчас через каждое сердце проходит, товарищи! Линия фронта сейчас у станка рабочего, на каждом колхозном поле. А как же иначе? Недодашь пуд хлеба — недоест рабочий, а недоест рабочий — значит, меньше танков и самолетов. — Лукашин весь подался вперед, взметнул руку. — Кому выгода? Гитлеру от этого выгода!

Мертвая тишина стояла в зале.

— А у вас что в «Новом пути»? — круто поставил вопрос Лукашин. — Хлеб прошлогодний сгноили под снегом? Так говорю?

— Так... — приглушенно ответили из темноты.

— А нынешнюю весну как встречаете? Посевной клин сокращать надумали? Это ваша помощь фронту?

— Вы с председателя спрашивайте! — прозвучал несмелый выкрик.

— Вот, вот! — на лету подхватил Лукашин и резко повернулся к Лихачеву: Партия вам, товарищ Лихачев, ответственный участок поручила. А вы... черт знает что устраиваете! Втаптывать в грязь зерно — да это же преступление!

— Верно!.. Правильно!.. — взметнулись голоса.

— Дайте слово сказать! — в первом ряду поднялась какая-то женщина.

— Жена, жена, помолчи, — удерживал ее бритый, с длинным лицом старик.

— Отстань! Ты всю жизнь молчишь — что вымолчал? Еще Мудрым прозываешься.

В ответ ей горохом рассыпался смех.

— Над чем это? — недоумевавшая спросила Лукашин, подсаживаясь к Федору Капитоновичу.

— Баловство наше... Софрон Игнатьевич до сорока лет холостяком жил, а тут взял да женился на молодой. Ну Мудрым и окрестили.

— Крой, Дарка, не бойся!

— И не боюсь, бабы! — разошлась Дарья. — У меня два сына на войне, да чтобы я боялась... Старшой-то, Алексей, в каждом письме спрашивает: как да что в колхозе, дорогие родители? А у нас хоть издохни на поле — все без толку. Как зачал ты, Харитон Иванович, подруги подтягивать — дак чуру не знаешь. Бригадиров по номерам кличешь, а мы лошадей по имени зовем. А нашего брата, бабу, и вовсе за человека не считаешь... А где это слыхано, чтобы в мокреть пахать? Или мы до тебя не жили? Весь век соху из рук не выпускаем и с голоду не помирали. Ты об этом подумал?

— Слышишь? — бросил Лихачеву Лукашин. Он был очень доволен, что так вот сразу удалось вызвать на деловой разговор колхозниц.

Лихачев вскинул голову, рывком встал:

— Вы что, против партии? Тыл подрывать?

Невообразимый шум поднялся в клубе:

— Ты нас партией не стращай!

— Мы сами партия!

— Она, партия-то, так велит разговаривать с народом?

— Верно... как в другом Сэсэрэ живем...

— Дура... нету другого Сэсэрэ...

— Тише вы, очумели! — возвысил голос Федор Капитонович. — Глотку давно не драли.

— Не хотим тише!

— Громче, бабы!

— Это они в темноте наживаются, горло дерут... — зашептал, оправдываясь, Лихачев на ухо Лукашину. — А на свету ни одна не пикнет.

Лукашин встал:

— Базар, товарищи, нечего устраивать. Надо по-деловому, с пользой критиковать.

— А мы без критики — так скажем...

— Чего Харитона укрываете? — раскатисто бухнула из глубины зала Марфа Репишная.

Женщины будто этого и ждали — повскакали с мест, завопили:

— Не хотим Лихачева!

— Будет, натерпелись!

— Нам бы председателем-то с орденом который! — звонко выкрикнула Варвара и, мечтательно скосив горячий глаз на грудь Лукашина, подмигнула ему, как старому знакомому.

В лампе металось пламя, гул перекатывался под сводами старой церкви. Лукашин, вглядываясь в разъяренных, размахивающих руками женщин, струхнул. Нет, он этого не хотел. Райком его на это не уполномочивал. Он вспомнил слова заврайзо: «Анархии в колхозе много. Лихачев немного подтянул, но еще недостаточно. Помогите. Старый, опытный кадр. Номенклатура райкома...» И тут в один миг представились Лукашину все непоправимые последствия его непродуманной, через край хлестнувшей критики: срыв сева, невыполнение плана...

Он схватил пробку от графина, яростно застучал по столу:

— Товарищи, товарищи! Сейчас не время менять председателя. Вот сев кончим — ставьте тогда вопрос. Кто же это в бою командира меняет?

Последние слова его потонули в новых выкриках:

— Он к тем порам нас по миру пустит!

— Некем командовать будет!

На помощь Лукашину поспешил Федор Капитонович:

— Постыдились бы серость свою показывать. Товарищ с фронта... Без отчета разве сымают?

— А-а-а, ты Харитона защищать?

— Ему что, девки дома — сердце не болит...

Федор Капитонович поморщился, развел руками:

— Ну и народ, совсем образ потерял...

Дальше собрание пошло как воз под гору. На сцену вихрем взлетела раскрасневшаяся Настя Гаврилина:

— Я бы вот что сказала... Я бы в председатели Анфису Петровну... Она людей на дела поднимать умеет. Помните, как с навозом вышло? В общем, я и мы, комсомольцы, за Анфису Петровну!

Несколько секунд зал молчал — до того неожиданным было это предложение.

Лукашин первый пришел в себя:

— Товарищи, горячку в таком деле пороть нельзя. Надо все взвесить, с райкомом посоветоваться. Его поддержал Федор Капитонович:

— Разревелись! Порядков не знаете. Когда это без резолюции...

— Черт-те в твоей резолюции! Она по немцу не стреляет!

— Анфису... Анфису Петровну!

Из глубины зала донеслись возня, шум, рокочущий уговаривающий басок Марфы:

— Чего ерепенишься? Народ просит.

— Уважь, уважь, Анфисьюшка! Не убудет тебя... — поддержали женские голоса.

Трофим Лобанов сердито тряхнул головой, сплюнул:

— Бабу в председатели... Штаны не найдутся?

— Может, твои, Трофимушко? — поддела его Варвара.

— Ты не больно... — ошетинился Трофим. — У Трохи три штыка на фронте!

Хохот, перебранка, выкрики:

— Выходи, выходи, Анфисьюшка! Покажись...

Лукашин, нервно кусая губы, всматривался, вслушивался в гудящий, взбудораженный зал, потом махнул на все рукой. Какого лешего? Пускай делают как знают. В конце концов кто тут власть? Кто хозяева? Неужто сами себе зла хотят? И почему это, — спорил он с невидимым противником, — почему это он, приезжий человек, прав, а весь народ ошибается?..

Но когда он увидел сбоку от себя Анфису — ее буквально силой вытолкали на сцену, — сердце его опять упало. Ну, кажется, наломали дров!.. На нее было жалко взглянуть. Она была не то что растеряна, а как-то вся перепугана, пришиблена; бледное лицо в красных пятнах...

Но, странно, растерянность и робость Анфисы прилились собранию по нраву. Это чувствовалось и в тех ласковых и любопытных взглядах, которыми рассматривали ее притихшие

женщины (словно не видали раньше), и в тех приглушенных словах, которыми обменивались в зале:

— Разалелась, как девка на смотринах.

— Ничего, ничего, пущай...

Прошло, наверно, минуты две, пока Анфиса немного овладела собой:

— Я не знаю, женки... вы с ума посходили. Какой из меня председатель? Три зимы в школу ходила...

— Ничего, Харитон больно востер.

— Я и говорить-то не умею...

— Вот и ладно — нам Харитоновых речей на десять лет хватит.

— Берись, берись, Анфисьюшка... все Харитона хуже не будешь...

— А что робеешь — стыда нету. Знаешь, на какое дело идешь...

— Да ты присядь, Петровна, ноженьки-то не казенны. Сколько с утра выходили.

— К красному столу, ко свету! — подхватили голоса.

Лукашин поискал глазами на сцене стул.

— Харитон давно сидит! — вдруг взвизгнула, давясь от смеха, какая-то бойкая бабенка.

— Вер-р-но-о-о! Хватит, посидел.

Лихачев до хруста стиснул зубы, выпрямился:

— Понятно... Советская власть не нравится?..

— Ты с ума сошел! — Лукашин рванул его за полу ватника. — Как с народом говоришь?

Лихачев круто повернулся:

— Я-то говорю как надо. А вот ты в чью дудку? С тобой еще потолкуют! Народ разлагаешь!.. — разъяренно зашептал он.

— Ты?.. Ты угрожать? Да знаешь, что с такими командирами на фронте делали?

Внизу шум, крики:

— Не чуем!

— Громче!

Лихачев медленно сошел со сцены и, прямой, не сгибая головы, весь в скрипящих ремнях, двинулся к выходу. В мертвой тишине, отдаваясь под сводами, угрожающе прозвучали его шаги.

Грохнули двери, скрипнули половицы в коридоре. Вздых облегчения прошел по залу.

После голосования быстро и споро начали решать неотложные дела. Федор Капитонович, выказывая давнишнюю административную сноровку, умело ставил вопрос за вопросом.

Постановили: пахоту начать выборочно, не ожидая, когда обсохнет весь массив, в поле выезжать не позже четырех утра.

Затем одна пожилая колхозница несмело предложила:

— Какая мука в кладовой колхозной — раздать бы в счет трудодней, все веселей...

Приняли и это предложение.

Лукашин слушал невнимательно, нервничал. Он чувствовал шумное, напряженное дыхание сидевшей рядом с ним Анфисы, и прежние сомнения подымались в его душе. Как посмотрят в райкоме? Ни с кем не согласовал — пришел, наломал дров! Положим, этого кавалериста давно пора гнать, да разве так подбирают кадры?..

Не поворачивая головы, он скосил глаз в сторону Анфисы. Прищуренные глаза уперлись в стол, щека полыхает румянцем. Но когда он увидел тонкую, в упрямом изгибе шею и над ней тяжелый, туго закрученный узел черных волос, он вздохнул легче. Ему припомнилась первая встреча с этой женщиной во дворе правления колхоза...

Потом обсуждался вопрос о кузнице. На сцену, не торопясь, с чувством собственного достоинства, вышел Николаша Семьин — узкоплечий золотушный парень, в хромовых, до блеска начищенных сапогах, при галстукe.

В Пекашине его больше звали «специалист по тонкой работе». Починить замок, приделать какую-нибудь дужку к ведру, выковать из напильника ножик — это он еще кое-как мог, а вот там, где надо было орудовать кувалдой, Николаша только руками разводил: «Черная работа — не моя специальность».

Впрочем, в колхозе его любили. Как-никак свой кузнец — в других колхозах и таких нет, да и хоть по видимости, а все-таки мужчина.

Николаша с важностью, какую давало ему сознание собственной незаменимости, начал так:

— Как я специалист по тонкой работе, то махать молотом мне несподручно. Прошу выделить в мое распоряжение физическую силу.

— Это какую такую силу тебе, Николай? — не без ехидства полюбопытствовала Варвара.

— Ежели так, по-нашему сказать, то это такая, какая будет махать молотом по моим указаниям. Иначе — баба здоровая.

По залу прошелестел легкий смешок. Лукашин тоже — первый раз — от души рассмеялся.

— Так бы и говорил...

— Марфу Репишную! Кто же здоровше Марфы?

— Да я всю кузню разнесу!.. — вздыбилась Марфа.

Но, как ни упиралась она, порешили: работать Марфе в кузнице.

После этого вопросы и предложения посыпались со всех сторон. Однако было уже поздно, лампа из-за недостатка керосина чадила, потрескивая фитилем, и Федор Капитонович, напутствуя: «Словом-то из пушек не стреляют... Работать надо...» — закрыл собрание.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Старинные, с облепленным циферблатом ходики, висевшие в общей комнате, показывали половину четвертого. Светало.

Анфиса медленно подошла к председательскому столу и, не раздеваясь, присела на табуретку. С чего начать?.. За что приняться?.. Ей смутно припоминались какие-то главные звенья, о которых после собрания говорил Лукашин. Дома, ни на секунду не сомкнув глаз, она всю ночь продумала об этих самых звеньях. И выходило — все, чего ни коснись, главные звенья. И хлеба нет, и корм на исходе, и людей нет... Бывало, об эту пору сев кончали, а ныне весна шла тяжелая, холодная — хуже всякой осени.

— Ох, горе горькое... — вздохнула она и тупо посмотрела перед собой. На самой середине стола возвышалась большая грязная, с выщербленными краями тарелка, доверху заваленная окурками.

— Нет уж, хватит, Харитон Иванович! — вдруг ожесточилась Анфиса.

Она схватила лихачевскую пепельницу и швырнула ее в печку. Потом, все еще рассерженная, оглядела контору. Пол затоптан, засандален, будто век не мыт, у дверей в углу мусор прикрыт обтрепавшимся веником. А на стенах что делается! И табачников-то поискать сейчас, а газеты со стены лоскутьями выдраны — все на те же проклятущие сосульки.

Она широко распахнула двери, открыла форточку. Свежий, холодный сквозняк рванулся в комнату. Потом скинула с себя ватник, подоткнула подол, закатала рукава кофты и, отыскав на кухне ведро, сходил за водой к колодцу.

Час спустя, отирая пот с лица, она окинула глазом свежeweымытый пол и, как-то сразу повеселев, сказала:

— Ну вот, так-то лучше.

Но только она присела на табуретку — за спиной залиvisto задрожал звонок. Она растерянно посмотрела на блестящий, пляшущий шарик, беспомощно оглянулась — в конторе она была одна. А звонок заливался, все настойчивее и требовательнее. Вот

наказанье-то! Ей ни разу в жизни не приходилось разговаривать по телефону. И кому только в такую рань не спится?..

Наконец она решилась — со страхом, замороженными глазами глядя на пляшущий шарик, подошла к телефону, сняла трубку. Лопочущий треск, шум. Ей сразу стало жарко. Вот горе-то какое... И уши есть, да, видно, не те. Затем она догадалась стянуть с головы плат. Теперь уже стала угадываться человеческая речь.

— Кто там? — тихо спросила Анфиса.

— Это «Новый путь»? — вдруг совсем рядом спросил охрипший женский голос.

— «Новый путь»...

— Дрыхнете, бессовестные! Вы эти мне порядочки бросьте! Я кричу, кричу, что у меня, плотка казенная?

Анфиса пыталась что-то сказать, но сердитая девица строго оборвала:

— Не оправдывайтесь! Знаем вас — не первый год! С вами сейчас из райкома говорить будут... — и в трубке щелкнуло.

Прошло, наверно, минуты две, которые показались ей целой вечностью. Она стояла, не смея пошевелиться, и до ломоты в голове вслушивалась, сжимала в руке напотевшую трубку. Потом уже не выдержала, позвала:

— Райком...

— Я — райком! — неожиданно раздался крепкий басистый голос. — Кто со мной говорит?

— Да это так... из «Нового пути»... — опять оробела Анфиса.

На какую-то секунду в трубке смолкло.

— А я ведь вас угадал! — весело и довольно рассмеялся только что говоривший с ней мужчина. — Анфиса Петровна?

— Да...

— Здравствуйте, товарищ Минина! С вами говорит секретарь райкома Новожилов.

— Здравствуйте, товарищ секретарь. Как же вы меня узнали?.. — искренне удивилась Анфиса.

— Очень просто. Кому же не спится по утрам, как не новому председателю? Верно говорю? Мне еще ночью звонил Лукашин. Кстати, он ушел в Водяны, не знаете?

— Нету здесь...

— Беда у нас с Водянами... затопило... — с горечью сказал Новожилов. — Ну а как вы себя чувствуете на новом месте?

— Сама не знаю как...

— Ну так я скажу. Отлично чувствуете!

— Это почему же? — снова удивилась Анфиса.

— Дела от Лихачева приняли?

— Нет еще... когда...

— Вот видите, а уже на ногах. Значит, душа болит, беспокоитесь. А это главное!

Новожилов спрашивал о готовности к севу, требовал немедленного выезда в поле, интересовался настроением людей, запасами хлеба в колхозе. Она что-то отвечала, кричала в трубку, когда он переспрашивал, — как в тумане...

После разговора с секретарем самые противоположные чувства охватили Анфису. Это был первый человек, с которым она говорила как председатель. Ей было радостно, что секретарь райкома так просто и приветливо разговаривал с нею, и в то же время страх подкатывал: только теперь она поняла, всем сердцем почувствовала, какой груз взвалили ей на плечи. С этого дня она, малограмотная баба, в ответе за весь колхоз, за целую деревню...

Занятая этими мыслями, она и не слышала, как в контору вошел Федор Капитонович.

— Вот как мы, уже хлопочем! — радостно заговорил он с порога, поощряя ее усердие всем своим видом.

Федор Капитонович был в праздничном пиджаке, в кожаной фуражке, которую он обычно надевал в торжественных случаях, в добротных сапогах, жирно смазанных дегтем. Его маленькое сморщенное личико, обметанное реденькой колючей щетиной, неподдельно сияло.

«Чего это он сегодня? Радость какая?» — подумала Анфиса.

Поздоровавшись за руку — и это тоже удивило ее, — он степенно сел на деревянный некрашенный диван, снял фуражку.

— Ну, слава богу, и у нас как у людей... — Федор Капитонович достал пестрый платок, вытер лысину. — Я уж говорю бабе своей: вот, Матрена, и мы дождались праздника! А то ведь с этим Харитошкой беда! Истинно сказали вчера колхозники: пустил бы по миру и глазом не моргнул...

Анфисе ли было выгораживать Лихачева, но слова Федора Капитоновича покоробили ее.

— А пустой и был человек... — продолжал Федор Капитонович. — Жалеть нечего. У самого царя в голове нету — хоть бы умных людей слушал...

— Ну тебя-то он слушал — грех обижаться.

— Да ведь как слушал? Я ему, бывало, так и эдак. А он все свое... Знамя? Да ты сперва о колхозе радей! — вознегодовал Федор Капитонович. — А знамя что — не уйдет, по заслугам и награда...

Успокаиваясь, он вынул кисет, свернул сигарку, выбил кресалом искру. Едуче запахло самосадам. Анфису всю так и передернуло, но она сдержалась.

Федор Капитонович затянулся, пошарил глазами по столу, по подоконнику и, не найдя посуды, стряхнул пепел на ладонь. Вместе с пеплом от сигарки отвалился красный уголек, но рука Федора Капитоновича даже не дрогнула. Это так удивило Анфису, что она невольно и с каким-то безотчетным страхом взглянула ему в лицо. Сквозь волны сизого дыма на нее по-прежнему ласково и умиленно смотрели маленькие слезливые глазки. Тогда она снова перевела взгляд на руку. Большущий, согнутый, как крюк, палец, дожелта прокуренный. Потом она разглядела и всю руку — каменно-тяжелую, жилистую, с задубевшей кожей на ладони.

«О господи, вот так ручища», — подумала Анфиса, окидывая глазами щуплую фигуру Федора Капитоновича.

Оправившись от изумления, она спросила:

— Когда думаешь в поле выезжать?

— Да ведь когда... Ежели, скажем, к примеру...

— На Широком холму обсохло. Начинать надо.

Федор Капитонович внимательно посмотрел на нее и вдруг с готовностью воскликнул:

— Это уж беспрременно! Я завтра пробный выезд хочу сделать. С тем и пришел...

— Вот и ладно, — сразу подобрела Анфиса, а про себя подумала: «Может, и зря о нем худо думаю?»

И Федор Капитонович, словно желая рассеять остатки ее сомнений, строго добавил:

— Да ведь как же! Война — понимать надо!

Потом, зажимая в руке окурок, глянул под стол:

— Смотрю, в башмаках. От форсу аль по нужде?

— Какое от форсу... — застеснялась Анфиса, подбирая ноги. — У старых сапожонков союзки обносились. Уже теленка сдать — дадут кожи...

— Да ведь теленка когда сдашь, а без сапог... Оно, конечно, председательская работа чистая, а все же разъезды, то, се. Нет, председателю беспрерывно сапоги надо! — убежденно сказал Федор Капитонович.

Лицо его вдруг приняло озабоченное выражение.

— Что же нам с тобой делать-то, Петровна, а? Разве что... — начал размышлять он вслух. — Ну да! Ты вот что, приноси свои сапожонки. У меня где-то союзки валялись Ночь посижу, к утру сработаю.

— Что ты, Федор Капитонович, я уж как-нибудь выкручусь. А союзки тебе самому сгодятся...

— И не говори, и слушать не хочу! — рассердился Федор Капитонович. Плачь, да выручай. На этом свет держится. Об этом и партия учит...

Растроганная до глубины души, Анфиса не знала, как и благодарить:

— Ну спасибо тебе, Федор Капитонович. Ты меня так... так выручишь... Там и союзки-то небольшие надо. А я уж тебе, теленка вот сдать...

— Пустое говоришь, — опять строго оборвал Федор Капитонович. Затем, почесав затылок, как бы между прочим, добавил: — А ты мне хоть пудишко на первый случай... Больше не прошу... Сам знаю — война...

Анфиса непонимающе уставилась на него.

— Мучки, говорю, со склада. До краю дожил. — И, видя, что председатель растерянно шарит по столу руками, Федор Капитонович подsunул ей бог знает откуда взявшийся листок бумаги. — Не ищи; знаю, что дела еще не приняла...

— Да я не знаю... — замялась Анфиса. — Муки на складе званье одно... А ты хозяин исправный, — она натужно улыбнулась, — проживешь...

— Эка ты, — недовольно поморщился Федор Капитонович. — По моим сусекам не мела... Да я что, задаром? Нет, ты мне в счет трудодней, по всем законам. Опять же — как на вчерашнем собрание постановлено? Забыла? Нет, Петровна, — внушительно поднял палец Федор Капитонович. — Супротив народа не советую. Харитон супротивничал — знаешь, что вышло?

Кровь бросилась в лицо Анфисе. Она немигающими глазами смотрела на этот желтый не сгибающийся, как крюк, палец, и вдруг страшная догадка озарила ее.

— Да ведь ты... — прерывисто задышала она. — Ты... что же это?.. Сапогами хотел купить? Люди с голоду пухнут, а ты... — Ей не хватало воздуха.

Федор Капитонович поджал губы, встал.

— Голова-то думать дадена, а не то чтобы всякое пустое, — строго и назидательно сказал он и, всем своим видом показывая, до какой степени он оскорблен, пошел к двери.

— Анфиса, Анфиса! — в контору, едва не сбыв с ног Федора Капитоновича, вбежала растрепанная, насмерть перепуганная доярка Марья. — Корова подышает...

— Что?..

— Корова, говорю, подышает... Да иди ты, бога ради...

Марья, всхлипывая, схватила Анфису за рукав, потянула из-за стола.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Лукашин был страшно зол. Хозяйка (он таки не избежал участи всех командировочных — остановился у Марины-стрелехи) разбудила в восьмом часу. Пожалела. Этака дубина стоеросова!..

Утро было холодное, ветренное. Из труб валил дым, зябко прижимался к тесовым, белым от инея крышам. Сапоги, как колодки, стучали по еще не оттаявшей с ночи дороге. Навстречу ему попадались школьники, останавливались, молча провожали его не по-детски серьезными, вопрошающими глазами.

Ну ясно! Куда это ты, дядя, торопишься? Не успел заявиться и уже лыжи наострил! А что подумает Минина? Это же никуда не годится. Вчера, после собрания, бог знает какой ерунды наговорил. Рассуждал о предвидении, о каких-то главных звеньях. Прямо как пономарь!

Он подумал было, не заскочить ли на минутку в правление, сказать, по крайней мере, что и как. Но ему опять вспомнился ночной разговор по телефону, и он зашагал быстрее. Секретарь райкома Новожилов через каждые два слова с надрывом кричал: «Ты меня понял? Ты меня понял? Немедленно в Водяны...» Хорошо, что хоть на снятие Лихачева реагировал спокойно. Наверно, не все понял — слышимость была отвратительная, а может быть, и понял, да все дело в наводнении.

В верхнем конце Пекашина Лукашин был впервые, и, как ни нервничал он сейчас, глаза его зорко присматривались к окружающему.

Все те же дома, то одноэтажные, то — изредка — двухэтажные, но обязательно с огромными крытыми дворами и поветями. Голые огородцы — картофельники, устланные старыми, как плети, побелевшими стеблями. Часто попадались нежилые избы с заколоченными окошками, с выбитыми стеклами. Ветер со свистом хозяйничал в них, как на погосте. Передки у многих старых домов разломаны на дрова. Кое-где виднелись свежие разрезы бревен. Видно, вошло уже в привычку; оторвет хозяйка чурку, и дальше. И на

протяжении целого километра ни одной новой постройки, поставленной в последние годы.

«Ох, и какая же работа предстоит после войны! — думал Лукашин. — Деревню заново отстраивать придется».

Спускаясь с пекашинской горы, он поднял воротник шинели, чтобы заслонить лицо от колючего ветра. Когда он перебрался через вспененную, яростно клокотавшую Синельгу и вошел в лес, высокий розовый сосняк, — сразу потеплело. Ветра здесь не было, только в верхушках, позлащенных солнцем, слегка пошумливало и охало да изредка раздавался глухой, надтреснутый скрип дерева.

За первым же поворотом песчаной, присыпанной старой, порыжевшей хвоей дороги, по которой еще не пролегла ни одна свежая колея, Лукашин увидел женщину. Низко нагнувшись к земле, она ползала между соснами, недалеко от дороги, и не то высматривала что-то, не то собирала. Из-под красного вздернутого платья выпячивали пестрые чулки, белые подвязки перехватывали их ниже колена.

— Эй, хозяйка, где тут дорога на Водяны?

Ему совсем незачем было спрашивать об этом, потому что Марина-стрелеха обстоятельно растолковала, как идти, и он сделал это машинально, как сделал бы всякий человек, впервые очутившись в незнакомых местах.

Женщина обернулась, и он узнал в ней Варвару Иняхину.

Она не спеша обтерла руки о платье, улыбнулась:

— А чего вы не видали в Водянах?

Лукашин подошел к ней:

— Беда там. Наводнение.

— Ну, им не привыкать, — без всякого сочувствия сказала Варвара. Кажинный год топит. Сели бы еще в реку, дак и вовсе бы из воды не вылезали. Ей-богу, так, — заверила она его, перехватив вопросительный взгляд. — Малый ребенок знает — на горе строиться надо, а эти водари бессовестные расселись на бережку. Чтобы в одной руке травина, в другой рыбина. А как вода-то в деревню зайдет — им тут самое житье. Худо ли? Ена к самому крылечушку подплыла...

Воздав должное жителям Водян, с которыми у нее, очевидно, были старые счеты. Варвара опять беззаботно заулыбалась. Утреннее неяркое солнце скользило по ее смуглому красивому лицу, кокетливо

обязанному пестрым, легким, не по погоде, платком. Она слегка щурила карие плутоватые глаза и, медленно водя кончиком языка по румяным губам, не мешала ему разглядывать себя. И, кажется, нарочно, чтобы он обратил внимание и на другие ее достоинства, легонько качнула бедрами.

Лукашин потянулся здоровой рукой к белому мху, наваленному вокруг сосны.

— Куда это вам мох?

— А коровушка-то? Воздухом еще не научена питаться...

Какое-то глухое беспокойство ворохнулось в душе Лукашина, но Варвара, уже расстилая мох, приглашала:

— Чего стоять-то? Покурите немножко. Я страсть люблю, как дымком пахнет...

Ему, однако, было не до куренья. Едва сели, Варвара запросто, как будто его не было, приподняла над коленом подол платья, оттянула вниз пестрый чулок и, потирая руками под коленкой, пожаловалась:

— Резинка туга, вот как натерло...

Но в ту же минуту она резко натянула на колено подол, стыдливо потупилась:

— Вот срам какой... Год еще поживешь без мужиков — забудешь, что ты и женка...

И хотя Лукашин понимал, что все это — и подвязка, и эта наигранная стыдливость — дешевые приемы не раз уже, вероятно, применявшегося соблазна, но именно это еще больше распалило его воображение. И Варвара, словно подзадоривая его, расстегнула ватник, маняще приоткрыла маленькую, туго обтянутую красным ситцем грудь.

«Нет, нет! — говорил себе Лукашин. — Только не сейчас. А то черт знает что. В первый день и... Хорош уполномоченный!..»

Он резко вскинул голову, не своим, хриплым голосом спросил:

— Что за человек эта Минина?

Варвара с явным замешательством и неудовольствием посмотрела на него нужна, мол, сейчас тебе эта Минина — и ответила с некоторым раздражением:

— Анфиса-то? При живом муже монастырь устроила.

Однако, заметив отчужденность во взгляде Лукашина, она смирилась и со свойственной ей обстоятельностью начала разъяснять:

— Я еще девчушкой была, как ее замуж выдавали. Все за столом как люди пьяные да веселые, а она одна как на похоронах. Бледная, ни кровинки в лице. Мне лет девять, видно, было, босиком еще бегала, а я уж все понимала, — не без гордости заметила Варвара о своей ранней опытности. — Бабы шепчутся: «Невесела невестушка», — а какое ей веселье, когда тошнит... Григорий-то у нее не промах, никому спуску не давал. Сам из себя видный, красивый...

В словах Варвары Лукашину почудилось нечто большее, чем простое, бескорыстное восхищение мужем Анфисы, и он, вдруг почувствовав себя оскорбленным, нетерпеливо оборвал ее:

— Да я не об этом. Что за человек эта Минина?

Варвара с удивлением выгнула бровь.

— Ну, по-вашему, председатель она... как?

— А-а, вот вы о чем, — поняла наконец Варвара. — Тут тужить не об чем. Всяко Харитона хуже не будет. Она ведь какая, Анфиса-то? Села за свадебный стол Анфиской, а вышла Анфисой Петровной. Вправду, вправду, — закивала Варвара, видимо очень довольная произведенным эффектом. — До свадьбы-то Фиска Фиской, рот тоже, как у меня, не закрывался, а тут поставила себя, важность напустила — богородица на землю сошла. Матушка мне, бывало, когда я стала в девки выходить, покою не давала, только и тыкала: «Варка, смотри на Анфису, Варка, примечай за Анфисой». А чего примечать? Вся в темном, как монашка. В жару, бывало, на сенокосе, разомлешь — рада до воды добраться. Мужики ли, парни — бух в воду, всем-то еще веселее. Смотрите на здоровье, не украдено. А эта — ни за что. Как будто у нее там серебро навешано, сплзнуть себя не даст... Ну слушаю, слушаю я свою матушку, когда она меня Анфисой-то наставляет, — снова повернула Варвара на свою привычную дорожку, — а сама думаю: «Нет, ладно, святых-то на небе хватает. Мне, грешнице, и на земле не худо...» Да вы куда? — вдруг с беспокойством спросила она, увидев, что Лукашин встает.

— Пора...

Варвара нехотя поднялась вслед за ним. Она не скрывала своего разочарования. Лицо ее вытянулось, в глазах на мгновение мелькнула не то досада, не то презрение, но в следующую секунду они уже снова играли многообещающей улыбкой. Ничто не могло надолго омрачить ее душеньку. Ее и война-то, казалось, обошла стороной, да Варвара и

сама, как видно, не очень-то интересовалась ею, не лезла, подобно другим, с дотошными расспросами.

Она стояла перед ним молодая, свежая, зазывно и в то же время смиренно глядя ему в глаза.

Он, как пьяный, боясь оглянуться назад, побрел на дорогу.

— Поидете обратно, приворачивайте. Домик-то мой светленький видали в верхнем конце? — напутствовала его Варвара.

Мало-помалу быстрая ходьба вернула ему душевное равновесие, и он, вспоминая о встрече с Варварой, уже с издевкой и сожалением думал над своими опасениями.

Пригревало солнце. Пахло смолой.

Вскоре потянулась старая, заброшенная подсочка. Удивительное, сказочное зрелище! Сосны в белых рубашках! Да, по обеим сторонам дороги широким частоколом бежали высокие, стройные, как свечи, сосны, у которых до самой макушки с одного боку была соскоблена кора. Тоненькие сахарные натеки засохшей серы узорами вились по белым стволам.

Радостный и возбужденный, каким он давно уже не чувствовал себя, Лукашин легко и свободно шагал по лесной дороге и не раз мысленно удивлялся: кто бы мог подумать, что так вот запросто — и в какое время! — он будет вымерять дороги этого глухого, таежного края, за тысячи километров удаленного от фронта? И многое, многое, пережитое за последние месяцы, припомнилось ему. Эвакуация из Ленинграда, теплушки, госпитали, окружная комиссия в Архангельске...

Что делать? Куда приткнуться на несколько месяцев, пока поправится рука? На родную Смоленщину дороги нет...

В обкоме партии ему предложили на выбор: работу в аппарате или на периферии. Лукашин, не задумываясь, в самую распутицу поехал в один из отдаленнейших районов области, расположенный в верховьях Пинеги. И погнала его туда неумная, с детства вкоренившаяся страсть к путешествиям, к новым местам, к новым людям. Бывало, начитавшись разных книг, которыми щедро снабжал его деревенский учитель, — о следопытах, об отважных и дерзких землепроходцах, о таежниках, — он во сне и наяву грезил их необыкновенными приключениями и сам мечтал о подвигах. Но жизнь рассудила иначе. В скорбном двадцать четвертом году

двадцатилетнего Ванюшку-лобастика, как прозвала его родная деревенская комсомолия, направили учиться. Потом опять деревня — избач, секретарь партячейки, инструктор райкома...

Но беспокойное сердце Лукашина давало себя знать и здесь. Он никак не мог усидеть на одном месте и, как бы оправдываясь перед своей совестью и товарищами, в шутку говорил, что ему от рождения прописан кочевой режим.

В райком партии он приехал вечером. Секретарь райкома встретил его с радостью:

«У нас сейчас кончается пленум райкома. Людям уезжать надо. А послушать свежего человека, да еще фронтовика, им во как полезно! Можешь?»

«Могу», — ответил Лукашин, хлюпая в сапоге водой, набравшейся при переправе через разлившуюся речонку.

После этого он в течение недели выступал с докладами в районном клубе, окрестных деревнях, а потом напросился уполномоченным на посевную.

...Лукашин посмотрел на часы. Уже два часа, как он в дороге. Он покосился на сумку, в которой лежал кусок мягкого хлеба, стыдливо посмотрел вокруг. Хоть и плотно подзакусил он у своей хозяйки, но блокада все еще сказывалась: его постоянно тянуло к еде.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Немазаную телегу качало из стороны в сторону. Она скрипела, трещала и, виляя расхлябанными, перекошенными колесами по задубевшей дороге, медленно двигалась среди голых кустов. Сухие старые листья с жестяным шумом перекатывались по обочинам дороги. На открытых местах сыпало в лицо песком, ветер трепал, рвал бороду.

Но Степан Андреевич, казалось, не замечал ни тряски, ни песка, секущего лицо, ни злых, резких посвистов разгулявшегося сиверка. Сгорбившись, покачиваясь на телеге, он смотрел прищуренными глазами на крутившийся в воздухе серый прошлогодний лист, и смутные, тоскливые мысли приходили ему на ум. Вот и он, как этот старый неприкаянный лист... Всю жизнь он крепко держал в руках весло; через какие пороги, падуны проводил свою лодку! А тут налетела буря, вырвала из рук весло — и закружило, завертело, как щепку. И ничего нельзя поделать. Плыви, куда несет. И он уже не рассуждал, не раздумывал, когда Анфиса стала уговаривать взять бригаду. Тяжело вставать из мертвых, а раз надо — так надо...

Впереди Степана Андреевича ехал Трофим Лобанов. Он был в полушубке, в рукавицах. На большой круглой голове до самых плеч нахлобучен заячий треух. Ветер рвал его, как худую соломенную крышу.

Когда стали подъезжать к Попову ручью, Трофим, не оборачиваясь, повернул на крайнее поле, примыкавшее к лесу.

«Эх, Троша, Троша!.. Помирать будем — и тогда захочешь первым...»

Но Степан Андреевич не осуждал его. Так уж повелось издавна: своенравный и завистливый Трофим терпеть не мог, когда в чем-либо опережал его однокашник Степка, а нынешнее бригадирство поперек горла встало ему.

Подъехав к полю, Степан Андреевич торопливо распряг коня, наладил плуг. Легкое волнение охватило его, когда он взялся за

поручни. Считаю, двенадцать лет не хожено в борозде — свой огородишко не в счет.

Нет, не забывается то, что с малых лет заучено ногами. Мягко шипит земля, отворачиваемая лемехом. Качнет поручни, когда плуг наскочит на камень, и снова вспарывается затвердевшая сверху полевина, потрескивают корневища прошлогодней травы, разрезаемые железом... Вскоре у него начала слегка кружиться голова. Почва под ногами тихо зыбилась и покачивалась. «С непривычки это, духу земляного нахлебался». Когда ему стало жарко, он расстегнул ворот ватного пиджака. Холодный ветерок приятно защекотал по напотевшей шее, зашарил за пазухой.

На одном из поворотов, заноса плуг, Степан Андреянович вдруг увидел на промежке большой серый камень, наполовину обросший ивняком, и, остановившись, невольно наклонился.

Господи! Да ведь это его старое поле... И этот серый камень!.. Только тогда еще не было ивняка вокруг, да и Васе, должно быть, шел тринадцатый годок...

Августовской жарыню полыхнуло на него... Степан Андреянович запахивал последний клин под рожь. Над головой погромыхивало, урчало, — душно, сил нет. Обливаясь потом, он хлещет лошаденку, пехом пихает плуг. Ох, успеть бы под дождь кинуть ржицу. И тут на завороте, у камня, как назло, подвернулась нога. Кое-как доковылял он до телеги, поглядел на сына, перебиравшего в мешке зерно: «Ну, сынок, не судьба, видно. Вези отца домой...» — «Зачем домой? Я пахать буду», — сказал Вася. «Что ты, дитятку? В твои-то годы?..» — горько усмехнулся Степан Андреянович. Но Вася уже схватился за поручни, дернул вожжой и, налегая всем своим худеньким телом на плуг, пошел, пошел...

И вот уже час, два Степан Андреянович лежит у закраины поля. В воздухе душно, солнце немилосердно припекает, а белая головенка сына все качается и качается над черной пашней... А потом... потом Вася накинул на плечо лукошко и пошел разбрасывать зерна. Издали не сразу и поймешь, кто кого несет, — то ли Вася лукошко, то ли лукошко Васю. Степан Андреянович смотрел на сына, плакал от радости и шептал: «Хозяин! Хозяин вырос!»

Домой они вернулись затемно. Дождь лил как из ушата. Но Вася ничего не слышал и не чувствовал. Всю дорогу он беспробудно спал,

уткнувшись головой в колени отца. Мать так, спящим, и внесла сына на руках в избу... Славная ржица уродилась с того посева!..

Конь, всхрапывая, потянулся к старой траве на промежке. Плуг опрокинулся, и лемех со скрежетом черкнул по боковине камня, увлекая за собой с корнем вырванные побеги ивняка. Степан Андреянович, словно очнувшись, поднял голову, поглядел кругом. Все так. То же поле, те же кусты по бокам. Только Васи нет...

Потом он опять шагнул за плугом. Холодная земляная сырость дышала ему в лицо. Скрипело колесо плуга. И мысли, тоскливые и однообразные, как скрип колеса, сжимали ему сердце...

Во время кормежки лошадей к нему подошел Трофим. Молча, не разговаривая, сел в затишье к телеге, поставил меж ног берестяную коробку и с остервенением накинулся на еду. Степан Андреянович лег сбоку Трофима, устало прикрыл глаза.

— Чего не ешь? Раз смерть обошла — живи.

Он ничего не ответил. Перед глазами, едва он лег на промежек, опять заколыхалась черная, лоснящаяся на солнце пашня, белая голова сына выплыла из голубого марева...

— Ну как, старики? Не сыро? — Это голос председательницы.

Степан Андреянович нехотя повернулся, сел.

— А в Оськиной навине сыровато. Я Софрона на малые холмы перевела. Анфиса вопросительно взглянула на Степана Андреяновича: «Не обижаешься?»

— Раз сыро — чего же...

— Смотрю, не разучился, сват. — Улыбаясь, она прикинула на глаз вспаханный участок.

— Эта наука такая, что и на том свете помнить будешь...

— А я ведь к вам по делу, — сказала Анфиса, присаживаясь. — Бригаду вашу разорять пришла. Хочу двух пахарей к Насте перевести. Замучилась девка. Вдвоем с Василисой, старухой, — некому плуг наладить... Кого бы ты, сват, не пожалел?

Степан Андреянович безучастно пожал плечами: бери, мол, кого надо, не все ли равно.

Морщины собрались на лбу Анфисы. И все вот так: ничем не разворошишь. Бригаду стала предлагать, боялась — отказываться будет. Нет, не отказался. И что ни скажешь, делает, а сам — как

подмененный ходит. «Может, лучше бы не трогать его... — ворохнулась у нее мысль. — Да где же люди-то?»

И она опять обратилась к Степану Андреяновичу:

— Ну так кого, сват?

— Не знаю...

— Чего тут знать? — поддержал Анфису Трофим, на минуту отрываясь от еды. Дело говорит председатель.

— Может, Дарью да Трофима Михайловича? — подсказала Анфиса.

Трофим рывком вскинул голову:

— Это почто меня? Что я, бельмо в глазу? Век в одной бригаде, а теперь в чужую...

— Да ведь кого-то надо! Ты не возражаешь, сват?

— Раз надо, так надо...

— Ах так! — Трофим с неожиданной легкостью вскочил на ноги. — Меня? Ну подожди! Вспомнишь Трофима Лобанова!

Он торопливо побросал в берестяную коробку остатки еды и, упрямо, по-бычьи нагнув вперед голову, затопал к своей лошади. Степан Андреянович тоже пошел к своему коню.

Анфиса горько покачала головой. Господи, и так-то все рвется, на живую нитку сметано, а тут еще каждый норовит характер показать...

Кругом лежали серые невспаханные поля, разделенные перелесками, ручьями и холминами. И на этих полях лишь кое-где копошились старики и старухи да надрывались многодетные бабенки. Да что это будет? Когда все это перепашем?

Холодное, белесое, точно вылуженное, небо не предвещало тепла. Ни единой травинки не зеленело под этим небом. И она знала, что сегодня ночью, как и вчера, и позавчера, поднятая ревом голодной скотины, она опять будет выбегать на улицу и с напрасной надеждой вглядываться в огород. В белом омуте наступающих белых ночей она увидит все ту же голую, мертвую землю.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Митенька Малышня, проводив Лукашина до конюшни, стал объяснять:

— Вон прясло-то стоит, видите? — Он указал за болото, на широкий холм. Это Настасьи Филипповны поля. Там и председатель. Сама пашет...

— А Настасья Филипповна? Новый бригадир?

— Как же, бригадир! Филиппа Семеновича дочь. У нас все больше Настькой да Настенькой кличут. Комсомолом колхозным командует.

— А второй бригадир тоже назначен?

— Назначен. Степан Андреевич.

У Лукашина отлегло от сердца. Это была неплохая весть для начала.

Семь дней он не знал, что творится в Пекашине. Да и до Пекашина ли ему было? Над колхозом «Рассвет» разразилась небывалая катастрофа. Во время ледохода ниже деревни образовался затор, и вода хлынула на деревню...

Люди трое суток отсиживались на крышах домов, колхозный скот погиб — во всей деревне осталось несколько коров, которых успели поднять на повети.

Он пришел в Водяны уже после того, как вода спала. Но и то, что он увидел, заставило содрогнуться. На улицах заломы бревен и досок, хлевы и бани сворочены со своих мест, ветер свищет в черных рамах без стекол... Люди, молчаливые, отупелые, грелись у костров, разложенных прямо под окнами, варили в чугунах мясо, вырубленное из все еще не обсохших коровьих туш.

Пять дней он почти не смыкал глаз: бегал, ездил по соседним деревням, добывал хлеб, доставал необходимую утварь, сгонял народ на помощь. В соседних колхозах рушились планы посевной. Председатели вставали на дыбы. Приходилось упрашивать, стыдить, кричать, чуть ли не драться...

Как ни был угнетен Лукашин нахлынувшими воспоминаниями, но вид мирного поля с пахарями взволновал его. Все было родное,

знакомое с детства — и эти неторопливые лошаденки, мотающие мохнатыми головами, и скрип плужного колеса, и запах пресной земли, смешавшийся с запахом пережженного навоза.

На поле пахали четыре пахаря — три женщины и один мешковатый, приземистый мужчина, в котором он без труда узнал Трофима Лобанова. Узнал он и свою приметную хозяйку, — она на другом конце поля разбрасывала чадивший навоз. А вот которая из остальных женщин председатель, угадать было нелегко. Однако ему не пришлось блуждать по полю. Первым пахарем, к которому он подошел, оказалась сама Минина. Ни одна работа, пожалуй, не налагает на человека такого резкого отпечатка, как весенняя пахота. Лицо Анфисы, совершенно бледное еще неделю назад, потемнело, осунулось. Черные, глубоко запавшие глаза блестели сухим режущим блеском. И голос, когда она заговорила, тоже показался ему незнакомым — простуженный, с хрипотцой.

— Ну, председатель, — нетерпеливо сказал Лукашин, едва они сели к кустам, — выкладывай! Как сев?

— Пашем помаленьку. С кормом только беда. Лошади через каждую сажень останавливаются.

— Да, вот что... — нахмурился Лукашин. — Вам придется две лошади послать в Водяны, и срочно. Слыхали, какое несчастье там?

Анфиса резко потянулась к ивовой ветке:

— А самим на себе пахать? Лошадей-то у нас сколько?

— А у них больше? — жестко сказал Лукашин. — Люди на поветях живут, в избах кирпич да глина, а вы разводите... Райком дал указание всем колхозам выделить. И коров тоже. Там ни одной коровы в колхозе не осталось.

Он свернул сигарку, помягчавшим голосом спросил:

— Когда сев рассчитываете кончить?

— В хорошие годы до войны за две недели сеяли, а нынче, видать, не скоро...

— Так не пойдет! — возразил Лукашин. — У вас нормы на пахоте установлены?

Обида взяла Анфису. И всего-то без году неделя как она председателем, а только и слышит: председатель, подай! председатель, подай!.. Вот и этот тоже! Налетел, ничего не спросил,

как она тут выкручивалась. Небось, как выбирали, на посулы не скупился...

— Нормы во всех колхозах одинаковы, — вспылила Анфиса. — На твердой вспашке меньше, на мягкой больше...

— Да я не про то, — с раздражением перебил Лукашин. — Людей у вас сейчас меньше, чем до войны. Значит, каждый должен больше вспахивать. На сколько? Надо каждому твердое задание на день и чтобы соревнование. Обязательно!

— Вот, вот. Старо да мало соревноваться будут... Что уж выдумывать, отмахнулась Анфиса.

У Лукашина давно пропало то радостное настроение, с которым он начинал разговор с Анфисой. Черствость ее к чужой беде возмутила его. И потом эти рассуждения... Запряглась в плуг, а за колхоз дядя будет думать?

Смерив ее недобрым взглядом, он кивнул на подходивших к ним колхозников:

— А вот их спросим, — что скажут.

Марина-стрелеха, радуясь возвращению своего запропавшего квартиранта, на ходу размахивала руками:

— Пришел, родимушко...

Но голос ее потонул в реве Трофима:

— Что на фронте, комиссар? Сводка какая?

— Газет не принесли, Иван Дмитриевич? — обдала Лукашина своим светлым взглядом Настя. — Мы уж сколько дней не получаем.

Лукашин коротко рассказал о новостях с фронта.

— В общем, ничего существенного, — закончил он.

— Это как понять? — спросила Дарья. — Котору неделю про это слышим...

— Так и будут стоять, ни тпру ни ну? — зло уставился на него Трофим.

Старое, знакомое чувство личной вины за положение на фронте поднялось в душе Лукашина.

— «Ничего существенного», — сказал он, глядя в землю, — это очень существенно сейчас. Как бы вам сказать? Ну, одним словом, наша армия держит гитлеровские войска на одном месте, и днем и ночью перемальывает их силу... Чтобы самой потом в наступление перейти. Фашисты теперь — не сорок первый год — битые!

Наступать по всему фронту — силенок маловато. Ну и хитрят, щупают, где слабина у нас есть.

Лукашин помолчал, дрогнувшим голосом добавил:

— А чтобы сзади, в их тылу, никто не мешал, наших людей уничтожают...

Он достал из сумки газету, развернул:

— Тут нота напечатана... О зверствах фашистских захватчиков на оккупированной территории. «В белорусской деревне Холмы, Могилевской области, — начал читать Лукашин, — гитлеровцы схватили шесть девушек в возрасте пятнадцати — семнадцати лет, изнасиловали их, вывернули руки, выкололи глаза и убили. Одну молодую девушку — колхозницу Аксенову — привязали за ноги к верхушкам деревьев и разорвали...»

Анфиса обхватила вздрагивающую Настю, прижала к себе.

И снова и снова — пытки, ужасы, казни...

— «Героически погибла группа женщин и детей — жителей деревни Речица, Смоленской области...»

Голос Лукашина оборвался. Лицо его побледнело, пот выступил на лбу.

— Я сам со Смоленщины... Семья там...

Он пересилил себя и твердым голосом прочитал:

— «...Героически погибла группа женщин и детей — жителей деревни Речица, Смоленской области, которых немцы, предприняв первого февраля тысяча девятьсот сорок второго года контратаку на деревню Будские Выселки, погнали впереди своих наступающих подразделений. Когда измученные женщины и дети приблизились к советским позициям, они смело крикнули красноармейцам: „Стреляйте, позади нас немцы!“» — Лукашин стиснул в кулаке газету: — А у нас по старинке... Работаем как бог на душу положит. Даже дневных заданий нету... Стыд!..

Анфиса низко опустила голову.

Не все, ох не все было справедливо в словах Лукашина. Но разве перед лицом тех неслыханных мук и страданий, которые выпали на долю их сестер и братьев, мог кто-нибудь из них сказать, что он делает все, что может?

— Я предлагаю вот что, — спокойно закончил Лукашин. — Сегодня же установить твердое дневное задание каждому. И чтобы не

уходить с поля, пока это задание не выполнено. Иначе — сев до петрова дня. Это во-первых. А во-вторых, я думаю, товарищ Гаврилина, — обратился он к Насте, — вашей бригаде надо включиться в соревнование. Ну, скажем, с бригадой Ставрова.

— Я не знаю... — неуверенно сказала Настя, — наша бригада слабая...

Трофим резко повернул к ней голову:

— Это кто сказал «слабая»? Супротив Степана слабая?

Дарья молча поднялась, натянула рукавицы и, срезая дорогу, прямо по полю зашагала к своей лошади.

После того как они остались вдвоем, Анфиса робко сказала:

— Может, мне лучше уйти с председателей... Лукашин ничего не ответил. Он сидел, жалко сгорбившись, в замызганной, топорщившейся на спине шинели, и, судя по неподвижному взгляду прищуренных, опухших от бессонницы глаз, мысли его были сейчас далеко-далеко... Она смотрела сбоку на его худое, небритое лицо, на обветренные, потрескавшиеся губы, на грязную, перекрученную веревкой повязку, с которой безжизненно свисала маленькая кисть раненой руки, и вдруг безотчетная бабья жалость шевельнулась в ее груди.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Смех и горе! Он да Троха — два старых дурака соревноваться будут. Нет, не такое сейчас время, да и стар он, чтобы вперегонки играть. Работы и так робить не переробить. Но, взглянув на Настю, Степан Андреянович заколебался. Она так доверчиво и умоляюще смотрела ему в глаза, что у него не хватило сил обидеть ее. Ему и всегда-то нравилась эта ласковая, обходительная девушка, которая при встрече не по-здешнему говорит «вы», а теперь, когда он заглянул ей в глаза, что-то очень знакомое, родное почудилось ему в их открытом, доверчивом взгляде.

— Ладно, скажу людям, — уклончиво сказал Степан Андреянович.

Настя ушла обиженная, не попрощавшись.

«Мутят голову девке, — вскипел Степан Андреянович, — в самый раз теперь шум разводить».

Но назавтра он выехал в поле на час раньше обычного, а днем даже не поехал на обед. Вечером после работы у него ломило поясницу, подкашивались ноги. И все-таки от конюшни он пошел не домой, а в правление. Надо было и с председателем потолковать, да и просто так хотелось послушать, что деется на свете.

Сюда, никем не званные, поздно вечером, перед тем как забыться в коротком, тяжелом сне, собирались люди. И почти каждый вечер из неведомых далей доносился живой голос какого-нибудь земляка, — с Ледовитого океана, из-под стен Ленинграда, с южных степей Украины — отовсюду, куда забросила война пекашинцев, приходили долгожданные, свернутые незамысловатым, обтрепавшимся в долгих дорогах треугольничком, родные письма.

Какой-нибудь молчаливый Кузьма за всю свою жизнь не сумел сказать надоедливой женке и двух ласковые слов. А почитай его письма с фронта! И лапушка, и любушка, и кровинушка моя, — наговорил такого, чего и сам никогда не подозревал в своем сердце...

И вот исстрадавшаяся Анистья получит письмо, расплачется от радости, перечитает его раз десять сряду и про себя, и для свекрови, и для детишек, так что заучит каждое слово, еще прочитает, перескажет

столько же раз соседям, а потом наконец выберет время: засядет отвечать.

Хочется много-много высказать, чем переполнено сердце: и о том, как она истосковалась по своему Кузе, и как часто видит его во сне, и о том, какими большими стали Сенька да Полюшка, которая родилась без него, и о том, как она — чего и греха таить — каждый вечер, ложась спать, вспоминает его в молитвах...

Но ничего-то этого не попадет на бумагу. Где же ей, полуграмотной бабе, измученной непосильной работой, пересказать себя? Из-под огрубевшей, непослушной руки, с трудом удерживающей карандаш, выходят одни корявые строки с вечными, запомнившимися с детства поклонами от матушки, жены и детушек, от всей родни и знакомых. Но как много скажут эти поклоны Кузьме!

Домашними запахами, родимыми голосами повеет с листка. Перед глазами встанет далекая немудреная отцовская изба. Вечер. На столе чуть-чуть мигает коптилка, а то и просто трещит лучина, — где же взять керосин во время войны?.. Анисья только что подоила корову и, сев за стол на лавку, руками, еще пахнувшими молоком и сеном, вырывает листок бумаги из толстой тетради, купленной года за два до войны для разных хозяйственных записей. Седая старенькая мать сидит на стуле, напротив жены, — слезы катятся по ее морщинистому лицу, и, должно быть, та же тоскливая дума, что и при прощании, грызет ее сердце. Суждено ли ей дождаться своего разьединственного кормильца? Возле матери пристроился пятилетний баловень Сенька. Рыжая лохматая головенка лежит на столе, глаза, серьезные и немигающие («письмо папке пишем»), следят за рукой матери... А где же Полюшка, которую он ни разу не видел? Спит в зыбке или на руках у бабушки? В одной строке какая-то буква оборвалась вдруг резкой чертой. Да ведь это Полюшка помогала матери...

Солдат перевернул листок и на другой стороне увидел замысловатые ломаные линии, выведенные на всю страницу прямо по писаному. Он вгляделся и понял: это малюсенькая Полюшкина ручка срисована в натуральную величину.

В конце письма буквы совсем расплылись. Видно, Анисья здесь не выдержала и дала волю слезам...

Горючей тоской оденется его сердце. А потом встанет, выпрямится этот тихий и смирный Кузьма, и уже ничто не остановит

его, страшного и неукротимого в своей ярости.

В тот вечер Степан Андреянович, подходя к правлению, еще издали увидел у крыльца толпу женщин и ребят, сгрудившихся возле большой доски, наполовину красной, наполовину черной. Настя Гаврилина, стоя на табуретке, что-то мелом заносила на нее. Степан Андреянович медленно прочитал:

СТАХАНОВСКОЙ РАБОТОЙ ПОМОЖЕМ

НАШИМ СЫНОВЬЯМ, МУЖЬЯМ И БРАТЬЯМ,

СРАЖАЮЩИМСЯ НА ФРОНТЕ!

— Сколько, Степан Андреянович? — обернулась Настя.

— Соток пятьдесят с лишком.

— Э, не дотянули! — сочувственно улыбнулась Настя. — Марфа Репишная всех перекрыла. Знаете сколько? — Глаза Насти широко и удивленно раскрылись, словно она сама не верила тому, что должна была сказать. — Семьдесят соток.

— Вот уж нашли чему дивиться! — ухмыльнулась Варвара, которая, бог знает когда, уже успела переодеться и в белоснежном платке выглядела франтихой, пришедшей на гулянье. — Да разве за нашей Марфой кто угонится? — Варвара особо подчеркнула «за нашей» и посмотрела на всех так, будто в успехе Марфы есть и ее немалая заслуга. — Наша Марфа ведь как пашет? Полдня на лошади да полдня на себе! Ей-богу, бабоньки, — с пресерьезным видом заметила она. — Мы обедать, а наша Марфа лошадь распряжет да сама в хомут. — И Варвара первая залилась легким, бездумным смехом.

С этого дня началась такая горячка, какой давно уже не знало Пекашино.

Восемнадцатого мая Степан Андреянович вспахал 0,80 га, Марфа Репишная 0,85 га. Но больше всех в тот день дала Дарья — 0,89 га!

На другой день, однако, и эта цифра оказалась битой. Трофим Лобанов, к всеобщему удивлению, поднял 0,92 га.

Поздно вечером, совершенно ошалев от радости, он с важностью расхаживал перед женками, столпившимися у доски соревнования, и, высоко задирая бороду, кричал:

— Нет, брат, шалишь!.. С Трохой не тягайся. Жидковат супротив меня Степка, жидковат!

В довершение ко всему, ему показалось, что фамилия его недостаточно выделена среди других, и он заставил Настю переписать ее самыми крупными буквами.

— Раз лучший пахарь, — потрясал он кулаком, — надо, чтобы за версту видно было Лобанова.

Но Трофим торжествовал недолго. На следующий день Софрон Мудрый поднял 0,95 га, а еще через день Степан Андреянович дал 1,1 га — неслыханную в Пекашине цифру.

Новость эту сообщила Трофиму Настя у конюшни, когда тот, вернувшись с поля, распрягал коня. Она сразила его наповал. Он с минуту стоял, выпучив на бригадира свои немигающие, ставшие еще более круглыми глазища, силился что-то сказать, да так и не сказав ни слова, кинулся на поле к Степану Андреяновичу. Туда он прибежал весь мокрый и прямо-таки несчастный.

— Ты... того... правду, Степа, а? — стал он допытываться у своего соперника, робко и в то же время подозрительно заглядывая ему снизу в глаза. Вчерашнего, случаем, не прибавил?..

Не поверив на слово, он сам обежал участок, потом, задыхаясь и проваливаясь по колено в рыхлую пашню, бродил по полю, запуская руку в землю, выискивая огрехи и изъяны, — не нашел. По дороге, однако, Трофим мало-помалу успокоился, и, когда они в сумерках подошли к правлению и Степана Андреяновича все стали поздравлять, он покрыл всех своим басом:

— Чему дивья? На такой земле, как Степанова, двух десятин мало! Не земля, а пух!

Но с этого дня Трофим лишился сна и покоя. Он еще кое-как мог примириться с бригадирством Степана («лучше грамоту знает»), но чтобы его, Троху, обошли на борозде... Нет, тут кровь из носу, а Степку надо осрамить!..

Всю жизнь прожил Трофим, соперничая со Степаном Андреяновичем. Началось это еще в молодости, когда оба они становились на ноги. Крепок и вынослив был приземистый Трофим,

ворочал на работе как леший, а смотришь, все как-то боком у него выходило... Выстроил Степан Андреянович новый дом — люди нахвалиться не могли. Трофим решил «перешибить». Размахнулся, отгрохал дворище коров на двадцать, а на передок и леса не хватило. Пришлось со всей семьей тесниться в боковой избе, сколоченной из старья. Новая же громадина — с сенником на дорогу вместо окон — торчала, как воронье пугало, но Трофима это не смущало.

«У Степки дом — хоть жито вей, у Трохи — воду лей! — хвастался он на людях. — Не верите? Тащите бочками воду!»

В просторном же дворе, спасаясь от лютой стужи, всю зиму на рысках бегала одинокая коровенка.

«Ничего, пушай резвится! — утешал Трофим жену. — Зато летом никакой зверь не возьмет».

Степан Андреянович тоже не сразу обжился в новом доме. В первую зиму его одолели тараканы — два раза пришлось морозить, выходить на постой к соседям.

Трофим, частенько навещая своего дружка, высказывал сочувствие, давал советы.

«И откуда бы этой погани взяться? — говорил он, невинно тараща глаза. — Не иначе с мохом в пазы попали. Не пришлось бы тебе, Степа, перетряхивать передок-то. А то — помучишься-помучишься, да и перетряхнешь. Экое наказание!»

Потом, как-то в праздник, Трофим неожиданно предложил:

«Станови, Степан, косушку! Слово такое знаю — тараканов как рукой снимет вот те бог!»

Нехорошее подозрение шевельнулось в душе у Степана Андреяновича. Он отказал. Трофим стал упрашивать, клянчить, под конец соглашался даже на рюмку. Степан Андреянович не поддавался. Тогда-то Трофим и выдал себя с головой.

«Ну дак попомни Троху! — закричал он вне себя. — Изведу тараканами, вот тебе бог изведу! Со всей деревни напущу!»

В следующий приход хозяин глаз не спускал с гостя. А тот за разговором, будто невзначай, обронил за лавку спичечный коробок. Степан Андреянович быстро поднял его. Из приоткрытого коробка на руку хлынули тараканы.

Трофим смутился, забормотал, отступая к порогу:

«Робятища это... я уж их...» — и кинулся вон из избы.

С годами соперничество вьелось в кровь и плоть, а к старости приняло совсем курьезный характер. Ну чего бы, кажется, хвалиться тем, что одному детей бог больше дал, другому меньше? Но Трофим и в этом усматривал свое превосходство.

«У Степки — двое, мы со старухой семеро наворочали, — говорил он, подвыпивши, и, загибая пальцы на руке, с гордостью перечислял своих отпрысков: — Макса-косой — раз, Яшка-бурлак — два... Ефимко-солдат — четыре, Машка-глушня — пять, Матреханевеста — шесть, Оля, отцово дитяtko, — семь...»

Задумав посрамить Степку, Трофим перебрал в своей бригаде всех лошадей, но все равно — выше 0,92 га подняться не мог.

И вдруг однажды его осенила счастливая мысль. Как-то после работы, ставя в стойло свою лошадь, он обратил внимание на быка — огромного черного быка, стоявшего в крайнем стойле и лениво ворочавшего челюстями.

Бык этот, по кличке Буян, был приведен когда-то на цепях из Холмогор и немало послужил колхозу, но со временем отяжелел, его перевели на конюшню и стали использовать вместо рабочей скотины. Вначале Буян ярился, свирепел, а потом, видно, свыкся со своей долей и уже ничем больше не выдавал своего грозного характера. Железное кольцо без надобности болталось в его мясистых ноздрях.

Трофим, присматриваясь к быку, вспомнил, как зимой он встретил его в упряжке с большущим возом дров, вспомнил и даже вспотел от внезапно пришедшей в голову мысли... Пораздумав, он осторожно, не без опаски, приблизился к животному и начал поглаживать его рукой, ласково приговаривая:

— Тпрусенько... тпрусенько, маленькой...

— Бык не шевелился.

Старый конюх Ефим, заметив странную возню Трофима с животным, спросил:

— Ты чего это, Троша, быка обхаживаешь?

— А что, жалко? — оправдывался Трофим, застигнутый врасплох. — Животное, оно тоже ласку любит... Может, я по бычачьей части хочу?

А дня через два — ни свет ни заря, — когда в деревне все еще спали, Трофим тайком вывел быка из конюшни и погнал на Панькины поля.

У колодца ему повстречался пекашинский раностав Митенька Мальшня.

— Куда это, Михайлович, в такую рань да еще с быком? — спросил изумленный Мальшня.

— Куда? Троха сегодня себя покажет! — загадочно сказал Трофим. — Видишь, силища какая! Всех лошадей запряги — не заменят!

Затем, обернувшись на ходу, крикнул:

— Скажи, чтобы новую доску заказали. На старой, на какой Степка красовался, для Трохи места мало!

Мальшня постоял-постоял и решил посмотреть, что же получится из этой диковинной затеи. Легко вскарабкавшись на телегу, он с чисто детским любопытством воззрился на Панькины поля, черневшие в каком-нибудь полукилометре от конюшни.

Было Митеньке уже под семьдесят. Но природа, произведя его на свет, словно забыла о нем, да так и оставила ребенком... Маленькое, сухонькое тело его без устали порхало по земле. Его и по одежде не сразу отличишь от ребенка: штаны узенькие, с заплатами на коленях, а поверх рубашки гарусный плетеный поясок, какие в старину носили крестьянские дети. Все лето выхаживал он босиком, и ноги у него были как у ребят, — черные, все в ссадинах да цыпках.

Митенька обожал всякую живность. Летом избушка его, приткнувшаяся вместе с банями к косогору, походила на птичник. Два кривых окошечка не закрывались ни днем, ни ночью, и разная пернатая мелочь чувствовала себя там как дома, разве что не вила гнезда.

Но больше всего на свете Митенька любил детей. Лучшей няньки, чем он, не было. В страду его зазывали во все многодетные дома, да только он обычно уходил на понизовье, в другие деревни — уж больно любопытно ему было поглядеть на новых людей.

Возвращался Митенька осенью, и всегда в один и тот же день. Годами приученная ребятня с утра высыпала за деревню и встречала его с великим ликованием: весь свой скудный заработок Митенька обращал в свистульки, пряники, карандаши и тетрадки.

В этом году он остался в Пекашине и добровольно принял на себя обязанность посыльного в правлении.

Целый час, наверно, выстоял Малышня на телеге, а бык все шагал и шагал по пашне, словно он всю жизнь ходил в борозде. Малышня уж хотел было слезть с телеги, но в это время где-то по-весеннему призывно мыкнула корова. «Видно, кто еще пашет», — подумал Малышня, разыскивая глазами промычавшее животное. На задворках у Марины-стрелехи, в огороде, он увидел черно-пеструю корову, а затем и самое хозяйку. «Это она Пеструшку свою разгуливает», — догадался Малышня.

Пеструшка опять промычала, потом еще и еще раз.

И вдруг в ответ ей над деревней прокатился страшный рев Буяна. Митенька со страхом взглянул на поле.

Черный великан, высоко взметая копытами прах земли, летел прямо на огород Марины. Трофим бежал сзади, ухватясь за плуг, что-то кричал, потом упал и поволокся по пашне.

— Караул! Спасите, родные!.. — благим матом завопил Малышня и со всех ног кинулся в деревню.

— Трофима бык порешил... Бежите к Марине...

В утренней тиши захлопали двери, ворота. Анфиса прибежала к месту происшествия, когда там уже собралась целая толпа.

— Живой, нет? — испуганно спрашивала она, проталкиваясь к середине.

— Охо-хо-хо! — ржали кругом.

Трофим, растерзанный, без шапки, весь вывалянный в земле, стоял, окруженный женщинами и ребятами. На него, брызгая слюной, наседали разгневанная Марина:

— Разоритель ты окаянный!.. По миру хотел пустить...

Трофим оборонялся руками, пятился назад:

— А я знал, что ему на старости такое взбредет? Моли бога, что огорода помешала, а то бы от твоей Пеструшки одна мокреть осталась...

Буян стоял тут же, за изгородью, сонно опустив к земле круторогую голову. Марина успела все-таки вовремя утащить свою коровенку, и бык, наскочив на изгородь, остановился как вкопанный.

— Вот как ты... — еще пуще расходилась Марина.

— Так, так его... — подзадоривали старуху.

— Ох и Лобан, учудил...

— И как он придумал, женки!..

— Это он всех обогнать хотел!..

— А бык-то... вспомнил свои годочки...

— Будет вам, бесстыдницы? — одернула Анфиса.

Но долго еще соскучившиеся по веселью бабы зубоскалили и потешались над незадачливым Трофимом.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В Поповом ручье — темень, как в осеннюю ночь. Глухой, застарелый ельник подступает к самым переходинам — двум жиденьким жердочкам.

Настя поскользнулась — холодная, ледяная вода хлынула за голенища. Выбравшись на сушу, она переобулась, отжала подол и, усталая, голодная, побрела дальше.

Ну и денек сегодня! Она как встала в три часа утра — так ни разу и не присела. Трофим из-за быка — будь он неладен — слег, а лошади что простаивать? Ну и вот: люди на обед — а она снова пахать, люди с поля — а она поля обмеривать...

Вечерело. По сторонам топорщились голые кусты, тускло отсвечивали звезды в лужах. Настя сначала обходила их, а потом уже брела, не разбирая дороги. В сапогах хлюпало, мокрый подол оплетал ноги, холодная сырость поднималась к самому сердцу. Ничего, только бы добраться до дому, а там она переоденется во все сухое, на печь залезет. А еще бы лучше — в баню... Ну и что, сказать только маме — живо истопит. А может, уже топит? Вот бы хорошо! Полок горячий, каменка потрескивает, и веничком, веничком...

И едва она подумала об этом, как ноги ожили.

Где-то в стороне — или ей почудилось это — всхрапнула лошадь. Конечно, почудилось. Какая теперь лошадь — все давным-давно дома. Нет, опять всхрапнула. И плуг скрипит.

Она повернула голову, посмотрела влево. На поле кто-то пахал. Настю это так удивило, что она, не раздумывая, свернула с дороги. В пахаре она еще издали опознала Анну-куколку. Маленькую да худенькую — с кем ее спутаешь?

— Ты что, Анна? Всех перекрыть решила? — попробовала пошутить Настя, подходя к ней.

Анна приостановила лошадь, натянуто улыбнулась:

— Как же, только и думушки... Нет, Настенька, где мне... Свое, законное, отработываю. Нынешние порядки — сама знаешь. Пока сорок соток не осилишь, хоть ночуй на поле. Ну а пахарь-то я такой —

первую весну хожу за плугом. Сегодня уж и то хотела уехать; думала, ребят хоть в баню свожу. Нельзя.

— Да ты бы Степана Андреяновича попросила.

— Что уж просить. Кто за меня пахать будет? А иной бы раз и попросила, да сердце-то у него не больно ко мне лежит...

— Чего же вы не поделили?

— Кто его знает. Может, из-за старой обиды все. Он ведь свою дочь Марью за Ивана хотел сосватать, а тут я вроде дорогу перебежала.

— Ну, уж это... — нахмурилась Настя. — У Степана Андреяновича такое горе... А ты невесть что.

— Горе-то горем, а человек человеком. Да я не выдумываю. На днях веревку снимаю с телеги, мертвым узлом затянулась, никак не развязать. Ну я и тяпнула топором. Дак уж он меня честил... И что, говорит, Иван в тебе только нашел? Один голосище. Я ведь певунья ране-то была.

Настя украдкой разглядывала Анну. Разбитые сапожонки, на одной ноге шерстяной чулок съехал на голенище, посинелая коленка проглядывает.

— Как ты сама-то живешь, Анна?

Анна зябко поежилась, подула на красные, потрескавшиеся руки:

— Какая уж моя жизнь, Настенька... Едоков-то у меня сколько, а работница я одна, и то никудышная. Хлеб свой месяца два как вышел — на аванс живем. Сама-то вся отошала. Ведь какой кусок получше, какая капля молока завелась все им.

Худое, обветренное лицо Анны вдруг оживилось, теплая искорка мелькнула в ее черных усталых глазах:

— Малый-то у меня еще несмышленьш. На днях слышу, соседским ребятишкам хвастается: «А у нас мамка такая — молока не ест...» Смех и горе! Заждались матери, а мать, вот видишь.

— Ничего, у тебя Мишка большой.

— Большой-то большой... — вздохнула Анна, — да что толку. Совсем от рук отбился. Ох, да это все ничего! От Ивана писем нету — скоро уже два месяца. Не знаю, что и подумать... все сердце выболело.

— Ну это так что-нибудь... Война... мало ли какие задержки. У нас вот тоже от брата Григория нет писем. Мама вся извелась, ночью

встанет, молится...

— А как ты думаешь, Настенька, — ты в район едешь — скоро война кончится?

— Не знаю... — замялась Настя, но, взглянув на выжидающее лицо Анны, поспешно добавила: — Должно быть, скоро...

— Да уж скорее бы! А как кончится, дождаться бы Ваню... — мечтательно заговорила Анна. — Сдам всю ораву и себя сдам: вот, дорогой ты мой муженек, хватит. А я уж отдохну. Вот только не знаю, — невесело усмехнулась Анна, — как избу сдам. Ежели еще зиму зимовать, ума не приложу. А все сам виноват, сколько раз говорила: «Давай, Иван, строиться». А он рукой махнет: «Ладно, успеем». Вот и успели.

В это время порывом ветра донесло слабый ребячий голосок:

— Ма-а-а-а... Ма-а-а-мо-нька, иди домой...

Настя вопросительно взглянула на Анну.

— Это Лизка моя, — сказала та, прислушиваясь. — Вот завсегда так — матери навстречу выходит. А чтобы не боязно было, всю дорогу причитает...

Анна приложила к губам руки, крикнула:

— Ли-и-за! Не ходи сюда. Я скоро приеду! Затем она торопливо взялась за ручки плуга, виновато улыбнулась:

— Заговорила я с тобой, Настенька. А мне еще добрый час валандаться. Вишь, колышек-то, — указала она на поле, — до этого колышка. Ну, да ничего хоть душу отвела. А Лизку встретишь, вороти домой.

— Ма-а-а-мо-нька-а... — снова послышалось Насте. Она приподнялась на носки. Серая муть, ничего не видно. Только возле изгороди как будто что-то шевелится на дороге.

Настя растерянно оглянулась назад. Анна уже шагала за плугом.

— Постой-ко, Анна. — Она подбежала к Анне, легонько оттолкнула ее от плуга. — Иди встречай сама Лизку, а я здесь управлюсь.

— Нет, нет... — замахала Анна обеими руками. — Что ты... Я сама... Ты ведь тоже не железная... устала...

— А я и нисколешенько не устала! — с задором, сама не узнавая себя, сказала Настя. — Я, если хочешь знать, и не пахала сегодня.

— Все равно... это не дело. У нас соревнованье с вашей бригадой... Бригадир узнает, будет делов...

— И ничего не будет, не выдумывай! А если бы мне домой надо, неужто б ты не помогла? Перед этим доводом Анна не устояла.

— Ну, коли так, — дрогнувшим голосом сказала она, — спасибо, Настенька. Побегу скорей, может, еще баню истоплю...

Анна уже была далеко-далеко, а Настя все глядела и глядела ей вслед, и радостная, счастливая улыбка не сходила с ее губ. Потом она оглянулась вокруг себя: пустынное поле, немые и безразличные звезды над головой. В нескольких шагах от нее, понуро сгорбившись, стояла неподвижная, будто окоченевшая лошаденка.

«Вот и погрелась в бане...» — с горькой усмешкой пошутила она над своими недавними мечтами и, вся дрожа от холода, побрела к плугу.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

У каждого человека есть поворотный день в жизни. Так и у Анны. Это случилось в летний праздник в ее родной деревне Слуда, года за три до коллективизации. Уже давно задирали нос пекашинские ребята, а с тех пор, как у них появился Ваня-сила, житья не стало слудянам. Этот Ваня-сила свалился на них как снег на голову. Пока жива была его мать, не было никакого Вани-силы. Знали только, что в Пекашине у вдовы есть сын, смиренный, кудрявый увалень, который, за неимением лошади, на себе возит снопы с поля. Но вот умерла мать, и парень будто с цепи сорвался: запил, на всю округу прослыл первым драчуном. Особенно доставалось от него слудянам, с которыми у пекашинцев была давняя вражда не то из-за покосов, не то еще из-за чего-то, — толком никто не знал. Но все равно, как праздник — так и драка, да такая, что иногда и ножи, и топоры пускали в ход.

Обычно в начале драки Ваня безучастно стоял в стороне — боялся зашибить кого-нибудь намертво, но как только верх начинали брать слудяне, он врзался в самую гущу и, как щенят, разбрасывал всех, кто попадался под руку. Слудяне ждали случая, чтобы поквитаться с Ваней-силой, и наконец дождались.

В тот летний праздник Ваня пришел на Слуду один. Он был очень пьян и, в алой рубахе, без пояса, с расстегнутым воротом, бесцельно брел по деревне, качаясь из стороны в сторону.

В первом же переулке на него набросились из-за угла парни и мужики, смяли и начали молотить чем попало. Ваня рванулся, вскочил на ноги, выхватил из изгороди жердь и, страшный, окровавленный, бросился за слудянами. Он прогнал их через всю деревню, потом, уже ничего не разбирая, кинулся на толпу баб и девок, — те с визгом и воем рассыпались по сторонам.

И вдруг он увидел в нескольких шагах от себя маленькую смуглявую девушку в красном платице с белыми нашивками, в легких хромовых башмаках на высоком каблуке.

— Ну, ударь! — с вызовом сказала она и сделала шаг навстречу. Бесстыдник! Налил глазища — и море по колено.

Со смуглого, слегка побледневшего лица на него с гневом и презрением смотрели черные глаза.

Ваня, не отрывая от нее взгляда, ленивым движением отбросил в сторону жердь и вдруг рассмеялся. Она была такая маленькая да тончаявая, эта сердитая цыпонька, что он мог бы поднять ее на одной ладони.

— Ух ты, милаша ненаглядная, — сказал он, пьяно улыбаясь и протягивая руки, чтобы обнять девушку.

Девушка отшатнулась и плюнула ему в лицо. Толпа, окружившая их к этому времени, ахнула. А Ваня растерянно захлопал глазами, вытер лицо ладонью, затем протер глаза, словно желая убедиться, не во сне ли с ним все это происходит, и медленно, как-то виновато улыбаясь, побрел прочь.

Вслед ему полетели насмешливые выкрики:

— Вояка!.. Девки струсил!..

— А вы чего ржете? — затопала на парней Анка. — Радуетесь — один верзила всю деревню разогнал!

Ваня оглянулся, еще раз посмотрел на девушку и опять застенчиво, по-ребячьи улыбнулся.

С тех пор он зачастил на Слуду, как верующий в церковь, немой и неотвязной тенью стал ходить за Анкой. Пил и ввязывался в драки по-прежнему, но стоило ему увидеть Анку — тише воды ниже травы становился парень.

Скоро ребята перестали ухаживать за девушкой. Кому же охота отведать Ванина кулачища? Для Анки настали тоскливые дни: девки идут с гулянья в обнимку с ребятами, целуются, а она все одна да одна — только где-то сзади безмолвным стражем вышагивает Ваня, не спуская с нее ревнивого взгляда и не решаясь приблизиться сам.

Анка терпела-терпела, но однажды не выдержала.

— Да когда же ты оставишь меня, окаянный? — разревелась она. — Хожу как прокаженная — все люди шарахаются... Что я тебе — жена, что ли?..

В тот же вечер Ваня нагрянул со сватами. Отец Анки, чернявый крепыш, с уважением посмотрел на саженные плечища жениха, на его высокую, колоколом выпирающую грудь и дал понять дочери, что согласен.

— И что ты, батюшко, — взмолилась она слезно, — чтобы я да за такого лешего... Да он, пьяница, в первый же день меня пропьет...

— С этого дня капли в рот не возьму! — глухо сказал Ваня.

— И слышать не хочу! — не унималась Анка. — Да разве я пара ему, батюшко? Лучше уж на свете не жить, чем за такого...

Отец беспомощно развел руками:

— Ну, парень, не взыщи. Люб ты мне, а неволить девку не хочу — одна она у меня.

Ваня, красный от стыда, кинулся из избы, но у порога остановился и, повернувшись к Анке, упрямо бросил:

— Зарубил дерево — все равно срублю! В ту же ночь он исчез из Пекашина. Проходил месяц, другой — Ванину избушку уже и снегом до окон замело, а о самом Ване — ни слуху ни духу.

И вдруг он объявился. Раз весной Анка получила по почте пакет. В пакете была одна газета. Анка, ничего не понимая, развернула ее. С первой страницы «Правды Севера» на нее глянуло знакомое лицо. Она прочитала под портретом: «Лучший сплавщик Усть-Пинежской запани тов. Пряслин».

— Вот еще чем решил купить, — фыркнула Анка и разорвала газету.

Вскоре вернулся и сам Ваня. На пекашинский берег он сошел в новом нарядном костюме, с гармонью. И тут новость, как гром, поразила его: Анка выходит замуж.

Ваня — на Слуду, но там уже все было кончено. Со двора Анкиного отца разъезжались последние гости.

— Эх ты, недотепа... — встретил его подгулявший на свадьбе отец — А еще говорил: «Зарубил дерево — срублю». Пропили Анку — только что увезли в Выдрино. А ведь она тебя, дурака, вспоминала.

Ваня скрипнул зубами, застонал. Со двора выезжал последний тарантас. Он подбежал к тарантасу, выбросил из него обалдевших сватов, вскочил на козлы — и в погоню.

Что произошло дальше, толком не знали: об этом не любили вспоминать ни жених, ни его родня. Но на другой день рано утром Ваня-сила, весь в синяках и ссадинах, в разорванном пиджаке, лихо подкатил к своей избе и осторожно высадил из тарантаса маленькую смуглявую женчонку, голова которой едва доставала ему до подмышек.

— Вот так пара — баран да яра... — подивились Пекашинцы.

...Дружно зажили молодожены. В положенный срок Анка родила сына, потом детишки пошли как грибы.

Ваня души не чаял в своей Анке, баловал как мог. Бывало, возвращаются с домашнего покоса — у Анки на руках годовалый Мишка, — Ваня подхватит обоих на руки да так со смехом и втащит без передышки в крутую пекашинскую гору.

— Сидит... как куколка... — с завистью скажет какая-нибудь баба.

Так с этим безобидным прозвищем и вошла в пекашинский мир жена Вани-силы...

Когда Анна переступила порог избы, ее поразила непривычная тишина. В густых потемках, разрываемых красноватым светом керосинки, — белая, гладко зачесанная голова Лизки, припавшей к столу. Поскрипывает перо.

— Что у нас сегодня тихо? Где ребята?

Лизка вздрогнула. Затем ее невзрачное широкоскулое личико с зелеными глазами разом просияло:

— А я тебя и не учуяла.

Она живехонько вскочила из-за стола и, шелестя босыми ножонками по полу, подбежала к матери.

— Ребята, говорю, спят? — переспросила Анна, прислушиваясь.

— Чего им? Молока натрескались, на печь залезли. А ты что долго? Я ждала-ждала — Семеновна корову подоила.

Анна прошла к печному прилавку, села:

— Ну, слава богу, хоть корову доить не надо.

Она прислонилась спиной к горячей печи, блаженно закрыла глаза.

— Сапоги-то давай снимем. Я валенки с печи достану. Горячие...

Теплые проворные пальцы дочери забегали по лицу, развязывая шаль.

— Погоди, дела еще не деланы. Я хоть минутку так посижу. Вся сегодня замерзла.

— Как не замерзла. Экой сиверко — страсть. У нас Петруха Васиных стекло разбил в классе — я едва высидела. Надежда Михайловна говорит: взыщем. Мать-то шкуру с Петьки спустит. Из своей рамы вынимать будет аль как... Где нынче стекло-то взять.

По спине Анны горячей волной растекается тепло. Бойкий приглушенный голосок дочери убаюкивает, как мурлыканье.

— Бригадир-то нынче не ругался?

— А чего ему ругаться? — вяло, не открывая глаз, отвечает Анна.

— Люди сказывают, на днях наорал на тебя. Дикарь старый...

Анна недовольно поморщилась:

— Не говори чего не надо, глупая. Разве так можно?

— А что и ругается. Ругатель! Сына убили, и старуха теперь...

— Замолчи!

Анна отклонилась от печи, застегнула фуфайку:

— Где Мишка? Я баню по дороге затопила, хоть воды бы наносил.

— Где? Известно где. Углы у домов считает.

В темном углу у порога, на деревянной кровати, захныкала, заплакала Татьяна.

— У, пропасть, учуяла, — погрозила кулаком Лизка.

— Ладно, давай ее сюда, — сказала Анна, расстегивая ватник.

Девочка, едва оказалась на коленях у матери, жадно, обеими ручонками вцепилась в ее грудь, но вскоре выпустила и заплакала.

— Возьми ее, — сказала устало Анна. — Пойду баню посмотрю.

— Поплачь, поплачь у меня, кислятина, — говорила Лизка, принимая от матери ребенка. — Она готова мать-то съисть...

К приходу ее из бани изба кипела муравейником. Ну ясно — явился! Мишка, катавшийся с младшими братьями посередине пола, поднялся, присел на табуретку.

— Не стыдно? Мать и в поле, и баню топит. Разве отсохли бы у тебя руки, кабы воды наносил?

— Опять завела... Откуда я знал, что ты баню выдумаешь?

— Срамник бессовестный, — вступилась за мать Лизка, высовываясь с мокрой тряпкой из задосок. — Не зыркай, не зыркай — не больно испугалась. Уже вот папе напишем... Да, мама?

— Ладно, хватит вам. Собирайтесь в баню. Малыши, толкая друг друга, кинулись под порог разбирать одежду и обувь. Поднялся крик, драка: «Это мне». — «Нет, мне». — «Отдай!» На полу, всеми оставленная, заплакала Татьяна.

— А ты что именинником сидишь? Особое приглашение надо?

— Не пойду!.. — проворчал Мишка и отвел глаза в сторону.

— Как не пойдешь? Грязью зарости хошь? И в тот раз на улице пролетал.

— Не пойду, и все. Пристала...

— Пристала? Ну погоди у меня...

Анна в ярости схватила с вешалки ремень, бросилась на вскочившего Мишку, но в тот момент, когда она занесла ремень, взгляд ее наткнулся на подбородок сына — и рука дрогнула...

Мать перерос!.. Она с изумлением разглядывала стоявшего перед ней длинного, рукастого, какого-то незнакомого ей парня, угрюмо скосившего черные глаза в сторону. Ей пришлось даже немного отвести назад голову, чтобы рассмотреть его лицо. Истовехонький отец! Только глазами да чернявостью в нее...

Неожиданно смутная догадка пришла ей в голову:

— Может, в первый жар хочешь? Пока мы собираемся, успеешь.

Она заметила, как вспыхнули глаза у Мишки.

— Я мигом, я сейчас!

Хлопнули двери, ворота...

Так и есть — матери стыдится.

Лизка, давно уже наблюдавшая эту сцену, во все глаза глядела на мать. Она была уязвлена в самое сердце Как? Он лоботрясничал весь вечер, да ему же и в первый жар!

— Я тоже с ним пойду.

— И я, и я... — всполошились малыши.

Анна не могла сдержать улыбку:

— Не выдумывай, глупая. Пускай один моется.

Усмешка матери окончательно сразила Лизку. Губы ее задрожали, и она расплакалась:

— Ты меня нисколечко не жалеешь. Все Мишка да Мишка, а он ничего не делает. А я пол вымыла... И сегодня Надежда Михайловна говорит: есть ли, говорит, у тебя, Лиза, другое платье? А ты рубаху Мишке сшила...

— Ох, с тобой еще горе, — вздохнула Анна.

— И вовсе не горе, — еще больше расплакалась Лизка. — Я у тебя все глупая да глупая... А люди-то меня все умной называют. И давеча Семеновна корову доила. Коль уж ты, говорит, заботливая, Лиза...

— Да нет же, нет... — Анна притянула к себе девочку, обняла. — Ты у меня умница, самая расхорошая... Вишь, какая мамка — девка пол вымыла, а она и не заметила. А Мишку я нарочно послала раньше всех. Чтобы не мешал. А без тебя я как же управлюсь?

...Перемыв одного за другим малышей, Анна отправила их с Лизкой домой, а сама еще осталась в бане стирать белье. Потом развесила его над каменкой чтобы к утру просохло, — и только тогда поплелась домой.

Ребята уже спали. На столе — посуда, ложки. Она заглянула в одну крынку, в другую, — молока нет, съела несколько холодных картошек и с трудом добралась до постели. Уже лежа, подоткнула одеяло вокруг детей, притянула к себе Татьянку.

«Мишка матери стыдится», — пришло ей снова на ум, и тотчас же все закружилось и закачалось перед глазами.

Во сне ей снился Иван, их прежняя молодая жизнь. То она видела, как они вдвоем шагают по высокой пахучей ржи, то вдруг они оказались на лугу среди цветов. И так ее разморило от жары, что нет моченьки ни рукой, ни ногой пошевелить. А Ваня обнимает, ласкает ее.

«Иван, Ваня, у нас дети большие...» — «Да спят, спят они», — смеется Ваня. «А Мишка-то, Мишка-то, — с испугом шепчет она — Слышишь, слышишь, барабанит?»

Тут она проснулась. В избе было утро. В окно стучал бригадир.
— Иду, иду... — откликнулась Анна, приподнимаясь с постели.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Сев зерновых подходил к концу. В последние дни люди почти не ложились: днем работали на колхозном, а по вечерам и ночью возились на своих участках.

Измученных за день лошадей приходилось тащить волоком, да и тех не хватало. Выкручивались кто как мог: кто приспособливал свою коровенку, а кто посильнее — сбивался в артели; подберутся бабы три-четыре, впрягутся в плуг и тянут. Но больше всего налегали на лопату.

Анфиса бегала, уговаривала: подождите денек-другой, управимся с колхозным и вам пособим. Но люди словно осатанели: на задворках, у загуменья, всю ночь звенели, стучали лопаты, хрипели, надрываясь в упряжке, бабы, бились в построшках худые, очумелые коровенки. Ребятишки — зеленые помощнички — жгли костры, пекли проросшую картошку, а днем сидя засыпали за партой...

Степан Андреянович со дня на день откладывал свой участок: как-никак бригадир, да и большая ли у него усадьба на два едока — вся под окошками, но в конце концов уступил Макаровне.

— Что уж так-то, — выговаривала она ему каждый день, когда он приходил с поля. — Время уходит, а у нас как на погосте, глаза бы не глядели. Земля-то чем виновата...

Всю весну Макаровна не переступала порога своей избы. Пока метался в горячке Степан Андреянович, она еще кое-как бродила по избе, а встал старик и слегла в тот же день.

Днем лежала на койке, целыми часами грезилась своим Васенькой. Иногда просила мужа посадить ее к окну, и весь день, пока не вернется старик с поля или не зайдет какая-нибудь старушонка, сидит одна у окна, глядит на свой огород, на подсыхающую под горой луговину, на далекую холодную Пинегу.

Пусто, тоскливо стало в доме Ставровых. Раньше хоть Егорша голос подаст, а теперь и Егорши нет. Мать вытребовала на посевную. Могла бы обойтись без сына, одна живет, да Степан Андреянович не стал упрашивать: никогда не лежало у него сердце к дочери, а с тех

пор как выдали ее замуж в чужую деревню, и совсем чужой стала. Только по большим праздникам за столом и встречаются.

Старик устало шагал за плугом и не узнавал себя. С какой, бывало, радостью и ожесточением набрасывался он на свой огород, унавоживал — выгребал навоз до последней лопаты, а уж землю то холил — перебирал руками чуть ли не каждую горсть. А сейчас — хоть бы и вовсе ее не было... На горках часто останавливался, примечал развалившуюся изгородь за листовницей, осевший угол бани. Все разваливается, на глазах рушится, надо бы поправить, да не все ли равно... Много ли им со старухой надо? Потом спохватывался: Макаровна сидела у окна, — и снова бороздил огород.

Степан Андреянович обрадовался, когда на дороге возле огорода показался Мишка Пряслин. Шел он враскачку, заложив руки в карманы штанов, слегка ссутулившись, — видно, оттого, что стыдился своего не по годам большого роста.

«Вылитый отец, — подумал Степан Андреянович. — Вишь, идет, как на качелях качается».

Он остановил лошадь, подошел к изгороди. В белесых сумерках вечера (стояли белые ночи) ему бросилось в глаза злое, сердитое лицо парня.

— Нам бы лошадь какую участок вспахать... — не здороваясь и не глядя на него, буркнул Мишка.

— Лошадь? А что, на конюшне нету?

— Спрашиваешь? Порядки-то кто заводил? Без твоего приказа конюх не даст.

— Теперь даст... Считай, отсеялись. А как, Михайло, с семенами? — окликнул его Степан Андреянович. — Не пособить?

Мишка резко обернулся, смерил бригадира холодным, презрительным взглядом:

— Нет уж, знаем твою подмогу. Не маленькие!

Степан Андреянович сплюнул, выругался про себя: «Весь, щенок, в матери. Та с рукавицу, а гордости с воз. Ходит ноне, нос воротит. Вишь, и парня настропалила. Ну поругал на днях, погорячился... Да как же? Ее ждут с поля, а вместо нее, на-ко, — Настасья, да еще отчитывать: на детишек послабленья не даешь. А немец спрашивал нас про детишек?..»

Покончив с огородом, Степан Андреянович отвел лошадь на конюшню, зашел в правление. В общей комнате — одна Анфиса. Она сидела за столом, подперев рукой голову, в старом ватнике, в платке, — видно, что недавно с поля.

— Ну, председатель, вари пиво, завтра кончаю, — попробовал пошутить Степан Андреянович.

— Тут, сват, и без пива голова кругом... За приоткрытой дверью в бухгалтерской рассыпался жиденский смешок.

— Опять все бумаги смял. Не мешай ты, не мешай, — притворно, повизгивая от удовольствия, выговаривала женщина.

Степан Андреянович вопросительно взглянул на Анфису.

— Счетоводша Олена с кавалером своим... Николаем Семьиным. Я примечаю, вроде уже беременна.

— Экая срамота! — покачал головой Степан Андреянович. — Люди на войне... Да ведь у нее, кажись, Петька женихом был?

Анфиса вяло махнула рукой:

— Говорила. И слушать не хочет. За работу, говорит, взыскивайте, а здесь я вам неподотчетная.

Степан Андреянович вздохнул, сел к столу. Лицо Анфисы показалось ему слишком уж нехорошим: под глазами чернота, нос заострился — краше в гроб кладут.

— Ты, Петровна, нездорова али так... нелады какие?

— Будешь нездорова! Сейчас из райкома звонили, спрашивают, сколько сверх плана даем, а у нас... ох!

— Да что у нас? Время еще терпит. По навинам сколько пустоши лежит.

Анфиса встала, прикрыла дверь в бухгалтерскую, перешла на шепот:

— Тебе первому, сват, говорю. Тут не то что сверх плана — остатки не знаешь как засеять.

— А что так?

— Семян нету.

— Как нету? Куда им деваться?

— То-то и оно, что куда. Давеча пошла с кладовщицей последний сусек выгрести, заехала рукой, а там семян-то на полметра, внизу доски. А я-то, дура, за полный сусек приняла от Лихачева.

— Да за такие дела, — побагровел Степан Андреянович, — Харитона судить мало!

— Спросишь с него. В районе ему снова вера. Опять обозом в леспромхозе заправляет. Да и чем докажешь?

— Ну тогда с Клевакина! Он заправлял всем при Харитоне.

— Вывернется... Скажет: знать ничего не знаю, бумаг не подписывал, и делу конец. Ох, тошнехонько! — Анфиса схватилась за голову. — Что же было неграмотную бабу ставить. Говорила на собрание — не послушали.

Дверь в бухгалтерскую снова приоткрылась. Послышалось ленивое пощелкивание счетных костяшек.

— Ежели рассудить сочувственно, — степенно говорил «специалист по тонкой работе», — то у нас самая что ни на есть настоящая любовь. За мной не пропадешь, Олена Северьяновна. Специальность моя такая...

Степан Андреянович вскочил, захлопнул дверь.

— И что же ты надумала, девка? — спросил он, помедлив.

— Не знаю, сват.

— А ежели к районным властям в ноги? Так и так — начистоту? — предложил после некоторого раздумья Степан Андреянович.

— Думала... Да какие у них семена? Не такое время теперь. А в соседних колхозах у самих в обжим.

— Тогда уж не знаю. Разве что хозяев обложить? Раз война — плачь да затягивай ремень.

— Нет, лучше бы без этого... Я вот свое и не посею — ничего, а у других семья, куда без своего!

Степан Андреянович опять погрузился в раздумье, потом вдруг вскинул голову:

— А много ли у тебя, сватья, своих семян? С мешок?

— С мешок небольшой. Было до двух, да я Анне Пряслиной посулила.

«Да как вот отчего парень давеча нос задирает», — вспомнил Степан Андреянович разговор с Мишкой.

— А сколько надо, чтобы отсеяться? Мешков семь?

— Да и шести бы хватило.

— Тогда вот что... — Степан Андреянович заскрипел стулом, навалился на стол. — Твой мешок да мой мешок — вот уже два. А остальное по горсти, по зерну соберем. Неужто кто откажет?

Назавтра, к полудню, было собрано восемь мешков семенного зерна. Софрон Игнатьевич, Марфа Репишная, Варвара Иняхина и еще некоторые колхозники отсыпали половину своих семян. У многосемейных решено было не брать, но мало нашлось таких в Пекашине, которые хоть сколько-нибудь да не оторвали от себя.

Федор Капитонович сначала струхнул, раза два обежал людей из своей бригады, на все лады понося безмозглого Харитошку, а потом и сам принес неполное ведерко зерна.

— Ты уж не обессудь, Петровна, — говорил он в амбаре, встретясь глазами с Анфисой. — Чем богаты, тем и рады... Ну да я так понимаю: дареному коню в зубы не смотрят.

Зато на заседании правления Федор Капитонович первый подсказал, куда разбросать оставшиеся семена.

За три дня было распаханно и засеяно несколько пустошей у Сухого болота.

Последнее поле досевали вечером. Людей собрали из разных бригад покрепче да повыносливее. Надо было рубить лопатой тяжелые плиты дернины, вытряхивать клочья, сносить их на промежек. Над полем стояла густая едучая пыль. Работали молча, торопились домой — обмыть в бане грязь, скопившуюся за посевную. Только Варвара Иняхина, совершенно не выносившая безмолвия, нет-нет да и скажет что-нибудь.

— Эх, кабы по старым временам, — вздохнула она, разгибаясь, — теперь бы на неделю гулянья.

— Ты сперва с картошкой управься, гулена! — прикрикнул на нее Трофим.

— И что ты, Трофимушко, — бойко, без всякой обиды отвечала Варвара, — под рюмочку картошечка сама бы под соху ложилась!

— Варуха, наводи красу, — громыхнула Марфа, — мужики идут!

— Ты уж скажешь, Марфинька, — притворно застыдилась Варвара, но, увидев на дороге Лукашина и незнакомого мужчину, стала торопливо одергивать платье.

— Видно, начальство какое, — высказал предположение Степан Андреянович.

— Начальство начальству рознь! — не упустил случая поддеть своего дружка Трофим. — Этот — крупного калибра! Вишь, шагает, что землю печатает.

— Это Новожилов, новый секретарь райкома, — улыбнулась Анфиса, вытирая руки о передник.

Новожилов был широк и тучен, как застарелая сосна, вымахавшая на приволье. Толстые икры распирали голенища пыльных сапог. Когда он приблизился, все обратили внимание на его крупное, отечное лицо, покрытое капельками пота.

— Ну, товарищи, отсеялись?

— Отсеялись, — сдержанно ответили колхозники, с любопытством рассматривая новое начальство.

— Поздравляю, поздравляю! — Новожилов крепко и деловито пожал всем руки, повернулся к Анфисе: — А сколько сверх плана, председатель?

— Гектара четыре.

— Ну вот, видите, — подобрел сразу Новожилов, — а вы какой переполох подняли.

— Засеять-то засеяли, — сказала Анфиса, — да что взойдет... Земля тут званье одно...

— Ничего, — беспечно вскинула голову Варвара, явно желая обратить на себя внимание начальства. — На земле не вырастет, на слезах взойдет.

— Да уж верно, что на слезах, — мрачно согласилась Марфа. — Из плотки вынимали да сеяли.

Новожилов сжал челюсти, тяжелым взглядом обвел дернистое поле.

— Нет, товарищи! — сказал он задумчиво. — Это не только слезы. Это наша сила. Сила колхозная, против которой Гитлеру не устоять. Это гектары нашей победы!

Анфису кто-то уже несколько раз дернул за рукав. Она обернулась. Перед ней белее платка стоял Митенька Малышня.

— Ивана Кирилловича... Ваню-силу убили...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Над Пекашином всю ночь выл, метался злой сиверок. Гнулись, припадали к земле иззябшие, страшные в своей наготе деревья, жалобно вызванивали стекла в рамах, тоскливо взмыкивала во дворе голодная скотина, не чаявшая дожидаться теплых дней.

И всю ночь на полу, уткнувшись головой в подушку, охала, стонала раздавленная горем Анна.

Глухие, надрывные стоны матери рвали Мишкино сердце, и он лежал, стиснув зубы, весь в горячей испарине.

Затихла она под утро. Мишка с трудом, как после долгой болезни, приподнялся, сел на край кровати, откинул со лба мокрые волосы.

Светало. Маленькие околенки полыхали холодными отблесками зари, из рукомойника у порога тупо капала вода.

Осторожно ступая босыми ногами, он подошел к матери. Она лежала ничком, вдавив лицо в мокрую подушку и судорожно обхватив ее руками. Старенькое, рваное с подола платьишко взбилось выше колен, на ногах грязные, перепачканные глиной сапожонки, байковый плат на голове — свалилась, в чем была, да так и забылась. Мишка принес с койки свое одеяло, бережно прикрыл мать.

Он смотрел на нее, и слезы текли по его лицу. Никогда он не задумывался, какая у него мать. Мать как мать — и все тут. А она вот какая — маленькая, худенькая и всхлипывает во сне, как Лизка. А возле нее по обе стороны рассыпанной поленницей ребятишки: белоголовая Татьяна с протянутой к груди матери ручонкой; Лизка с распухшим, посинелым лицом — эта все понимает; Петька и Гришка, прижавшиеся друг к другу; толстощекий, разогревшийся во сне Федюшка.

Молча, плотая слезы, Мишка переводил взгляд с сестренок на братишек, и тут первый раз в его ребячем мозгу ворохнулась тоскливая мысль: «Как же без отца будем?..»

За домом, где-то на задворках, одиноко взвыла, давясь от страха, собака. Брякнуло на крыльце, сорвавшись с гвоздя, пустое ведро и с

грохотом покатилося по ступенькам. И тотчас же за окнами взметнулся вихрь. В облаке пыли и песка вставало солнце.

Потом Мишка опять лежал на кровати, думал об отце, пытался представить его на войне, в бою, в атаке — и никак не мог.

Перед глазами всплывало совсем-совсем другое. То ему припоминалось, как в первый раз отец сажал его на коня... Конь здоровенный, высокий, ему, Мишке, радостно и жутко, он катается руками за гриву, но крепкая рука отца выпрямляет его. «Не робей. Мишка!» То он видит себя с отцом на сенокосе, в густых зарослях травы, то — сидящим на высоком возу среди пахучих ячменных снопов. И сзади опять веселый, ободряющий голос отца: «Держись на повороте!» Потом ему припомнилось жаркое летнее утро. Отец в черной сатиновой рубахе — он как сейчас видит эту черную, лоснящуюся на солнце рубаху — размашисто колет у крыльца дрова. Рядом мать с подойником, упрасивает: «Попей хоть молока на дорогу...» А слезы так и катятся по ее лицу.

Внезапно утреннюю тишь резануло бабьими вскриками да причитаньями, затарахтели телеги. Мать, расплескивая молоко, кинулась в избу.

Отец втюкнул топор в чурбан, прислушался. Потом долго глядел на Мишку и наконец тихо сказал: «Пойдем-ко, сынок...»

И вот они в огороде, за амбаром. Отец опять глядит на него, хочет что-то сказать. Но в это время из-под крыши амбара выпорхнул воробей. «Гнездышко! — зашептал Мишка. — Давай я слазаю». — «Не надо...» — поморщился отец. «Иван, Ваня... Где ты?» Это мать. Отец махнул рукой и пошел к дому. У калитки он круто обернулся, привлек к себе Мишку и, заглядывая ему в глаза, спросил: «Ты понял меня?.. Понял, сынок?»

Что же он хотел сказать? Что?

Мишка так и заснул, не найдя ответа.

Утро в избе Пряслиных началось с обычного вскрика:

— Ма-ма-а, исть хочу!

Охая, Анна медленно поднялась с постели, побрела затоплять печь. Потом она машинально, по привычке, бралась то за одно, то за другое, как в тумане ходила по избе. Ребятишки пугливо жались по углам, а Мишка молча, закусив губу, чтобы не разрыдаться, делал

начатое ею, ходил по пятам за матерью, и у него не было сил взглянуть ей в лицо.

Когда он пришел с водой от колодца, в избе была Анфиса Петровна. Она что-то говорила матери, но та, сидя на лавке, только мотала головой.

— Ничего... ничего не знаю...

— Я говорю матери, — обратилась Анфиса к Мишке, — может, хлопотать будем, чтобы этих-то трех, — она указала на Петьку, Гришку и Федюшку, — в детдом взяли?

Присмирившие ребята немо уставились на старшего брата. Он тяжело задышал, опустил глаза... Босые, с ранней весны потрескавшиеся от воды и грязи ножонки...

— Нет, — резко вскинул он голову, — никуда не отдадим!

Вскоре после Анфисы Петровны пришел Степан Андреянович. Он нерешительно стал у порога и сквозь застилавшие глаза слезы смотрел на несчастную Анну, неподвижно сидевшую на лавке с опущенной головой, на осиротевших, пришибленных горем детей.

Лизка, сняв с коленей Татьянку, подошла к матери, дотронулась до нее рукой:

— Мама, бригадир пришел.

Анна подняла голову, суетливо заглядывалась по сторонам:

— А?.. Бригадир?.. Я сейчас... сейчас... — И стала торопливо подвязывать плат.

Лизка заплакала. Мишка отвернулся.

— Анна, что ты... что ты, Анна... Какая тебе сегодня работа?

Степан Андреянович шагнул к ней, обнял за плечи.

Она увидела его вздрагивающий рот, слезы, текущие по измятой бороде, и вдруг со стоном припала к его груди, затряслась в рыданиях. Ее облепили со всех сторон ребяташки и тоже заголосили навзрыд.

Степан Андреянович черствой, загрубелой ладонью гладил по голове Анну, гладил ребят и, сам давясь от слез, приговаривал:

— Вот так... так-то лучше... Ничего, ничего... такая уж наша судьба...

Уходя, он поманил за собой Мишку. В сенях указал на темный угол:

— Там в мешке я мучки принес, — и, тяжело ступая по скрипящим половицам, вышел на улицу.

Два дня спустя Пряслины в глубоком молчании садились завтракать. До сих пор пустовавшее за столом место отца занял Мишка. Лизка, завидев это, заголосила:

— Нету у нас папы, мамонька...

Анна строго взглянула на нее:

— Перестань.

Мишка, не дыша, весь сжавшись, исподлобья глядел на мать. Анна с удивлением посмотрела на сына, смахнула с лица слезу и молча кивнула головой.

Мишка выпрямился и, медленно, посуровевшим взглядом обведя примолкших ребят, стал по-отцовски резать и раздавать хлеб.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Отсеялись, отмучились с грехом пополам — ждали лета, но тут началось самое страшное: из-за навин опять дохнул сиверок. Свирепыми утренниками прибило первые жальца зеленой молодежи, до черноты опалило крохотную завязь на деревьях. Небывалый ветер бесновался в полях — пыль столбами крутилась над пашней. На Широком холму по крутоярам до каменной плечи выдуло почву, — прожорливая птица клевала беззащитное зерно.

От рева голодной скотины можно было сойти с ума. И чего только не делали, как только не бились люди, чтобы спасти животных! День и ночь рубили кустарник, косили прошлогоднюю ветошь, драли мох на старой гари, отощавших коров подымали на веревках, привязывали к стойлам, — и все-таки от падежа не убереглись.

По вечерам, когда над черной хребтиной заречного леса вставала луна огромная, докрасна раскаленная, жуть охватывала людей. Откуда-то с перелесков стаями налетало голодное воронье и всю ночь до утра, оглашая деревню зловещим карканьем, кружило над скотными дворами.

Престарелые старухи, на веку не видавшие такой беды, суеверно шептали:

— Пропадем... конец света приходит...

И Анфиса, слыша это, ничем не могла утешить людей. Ее саму, крепясь, утешал Степан Андреянович:

— Ничего, в шубе сеять — в рубашке жать...

Так прошла неделя.

И вот однажды утром, когда отчаявшиеся люди уже потеряли всякую надежду на приход лета, сиверок внезапно стих. Из-за свинцовой мути робко и неуверенно проглянул голубой глазок неба. Потом вдали, за белыми развалинами монастыря, глухо бухнуло — темные, тяжелые тучи поползли на деревню. Они ползли медленно, грозно клубясь и властно разрастаясь до самого горизонта. Над Пекашином стало темно и немо. Даже голодная скотина и та притихла в ожидании. И вдруг оглушительный грохот сотряс землю...

По всей деревне захлопали двери, ворота. Люди — в чем попало — выбегали на улицу, ставили ушаты под потоки и под проливным дождем радостно перекликались друг с другом. По вспененным лужам, как жеребята, носились босоногие ребяташки, всю весну высидевшие дома.

Началось короткое северное лето.

В ближайшие дни Лукашин, обосновавшийся в Пекашине не то в роли постоянного уполномоченного райкома, не то в роли фронтовика-отпускника (все щадили его) выбрался в навины. То, что он увидел, походило на чудо.

По влажным, курящимся легким паром полям с проклюнувшимися всходами, по обочинам дорог и тропинок, опущенных нежнейшей зеленью, по ожившим перелескам — повсюду шагало ликующее лето. И не было ему никакого дела ни до войны, ни до человеческих горестей.

Выбрасывали лист деревья; оттаявшие комары, еще без нудного звона, столбами вились над истлевшими кучками прошлогоднего навоза; на ветках, линия, чистились птахи, — белый пух летел на влажную землю. Все, все справляло запоздалый праздник лета. Даже молодой сосняк, хмурый и равнодушный к радостям, как истый северянин, и тот стыдливо топорщился розоватыми свечками, присыпанными белой мукой.

Из под ног Лукашина то и дело вспархивали пучеглазые лягушата, неуклюже, плашмя шлепались в парные лужицы, кишмя кишевшие разной водяной мелочью.

Возле старой дуплистой ивы, росшей на самой развилке дорог, Лукашин, привлеченный необычным гулом вверху, остановился. Над желтыми мохнатыми сережками, которыми были сплошь облеплены черные крючковатые ветки дряхлеющего дерева, огромным роем трудились неповоротливые, видимо первый раз вылетевшие из дупла дикие пчелы, или, по-местному, медуницы. Тут же под ивой, пригретые солнцем, весело копошились вечные работяги-муравьи, занятые устройством своего хозяйства.

Дохнул ветерок — теплая медвяная пыльца запорошила лицо Лукашина. Две-три сережки упали в самую гущу муравейника. Лукашин с любопытством наблюдал, какой переполох поднялся в муравьином царстве. Вокруг сережек закипело яростное сражение. А

на помощь смельчакам, первыми вступившим в бой, со всех сторон, карабкаясь друг на друга, спешили все новые и новые полчища муравьиного люда, бог весть когда и как оповещенного, — и скоро обглоданные остовы сережек были надежно уложены в муравьиное здание.

Смутные раздумья, далекие, нездешние воспоминания стеснили Лукашину сердце. Но вокруг было так славно, так хорошо, что скоро его опять захватила радость бытия.

В глухом, темном ручье он сполоснул сапоги, затем неторопливо, вдыхая еловую прохладу ручья, поднялся на пригорок и вдруг замер на месте.

Перед ним, вся подернутая зеленой дымкой, играла, искрилась на солнце молодая березовая рощица. Ни с чем не сравнимое чувство целомудренной чистоты, восторженного удивления и даже робости охватило его. Так бывало с ним и раньше.

Совсем незадолго до войны ему довелось побывать на Кавказе. Море сказочное, снежные горы в розовых лучах, кипарисы взлетают в синее небо. Из каждой расщелины прет буйная, толстокожая зелень, а воздух так густ и прян, что, кажется, одним им можно насытиться. И нищей и жалкой показалась ему северная земля, обделенная солнцем. И все-таки нет-нет — он это помнит — да и взгрустнется ему...

В прохладном сумеречном Подмосковье, когда за окнами замелькали желтые рощицы на зеленых лужайках, он понял: ему не хватало вот этих самых, таких обыкновенных берез. И все его соседи по вагону, которые всю дорогу не переставали восхищаться красотами Кавказа, вдруг присмирели, притихли и так же, как он, не отрываясь смотрели за окно.

Может, слышал он или читал где, но ему крепко запомнилось поверье, будто в Сибири до прихода русских не было березы. И вот сейчас, с волнением всматриваясь в эти веселые белоснежные деревца, он представил себе пути-дороги русского человека по земле, отмеченные березовыми рощами.

Да, уж такой наш человек: не успел еще первый дымок над крышей взвиться, а смотришь — где-нибудь у крылечка уже полощется на ветру тонколистая береза. И куда, на какую чужбину ни закинь судьба русского человека, хоть в самые теплые заморские края,

где и зимы не бывает, а все холодно и неуютно на душе без тебя, береза...

Где-то в перелесках глухо и неуверенно попробовала свой голос кукушка и смолкла.

«Немного же ты отсчитываешь нынче годочков», — подумал Лукашин.

Но затем кукушка словно одумалась и долго и щедро вещала свои пророчества.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Парусиновая сумка и кепка с порога полетели на кровать. Все! Худое носатое лицо Мишки, до черноты прокопченное внешними ветрами, омывала широкая радостная улыбка. Еще бы! Приговорили к осенним экзаменам, а он взял да и утер всем нос. Прямо-таки штурмом взял грамматику! Семь дней и семь ночей долбил. Да если бы он столько зубрил, сколько эта Дунярка, еще неизвестно, кто был бы первым учеником.

Мишка сорвал с вешалки старую, побелевшую от стирки и носки отцовскую гимнастерку, натянул на себя, затем принялся за сапоги. Сапоги эти с широченными отворотами — в аккурат как у французского мушкетера — Мишкина гордость. Сам смастерил. Отрезал от старых отцовских сапог голенища, примастачил к кожаным башмакам, — вот и сапоги: не надо каждый раз со шнурками возиться, а при случае и в воду забрести можно.

Переодевшись, Мишка не спеша подошел к старенькому, засиженному мухами зеркалу. В отцовской гимнастерке с закатанными рукавами (она висела на нем, как на жерди), с большим охотничьим ножом на ремне, в сапогах необыкновенного покроя, за голенищами которых можно было легко спрятать все его личное имущество, он показался себе достаточно внушительным и взрослым.

Выходя на крыльцо, Мишка принял строгий и серьезный вид.

Внизу на песке, пригретая солнышком, рассыпалась босоногая детва. Лизка с засученными рукавчиками, наклонившись над толстым, узловатым чурбаком, стряпала глиняные колобки. Делала она это с великим старанием: потяпает глину руками, поплюет, снова потяпает, потом пересыплет мелким белым песочком и сунет в «печь» — старую, проржавленную железину, одним концом воткнутую в щель стены.

Петька и Гришка, два молчаливых русоволосых близнеца, до того похожие друг на друга, что их вечно путали соседские ребята, подносили ей в баночках воду, — ее они черпали из лужи, заметно ожившей после дождя. Несколько поодаль от Лизки, на песке, сидел ни на кого не похожий в семье, рыжий, как подсолнух, Федюшка. Он

был явно не в духе и, надув губы, исподлобья, сердито поглядывал на Лизку. У ног его барахталась довольная, вся вывалявшаяся в песке Татьяна. «Ага, Федор Иванович, — улыбнулся Мишка, — это ты сегодня за няньку!» Когда Татьяна слишком отползала в сторону или, наоборот, назойливо лезла к нему, Федюшка, изловчившись так, чтобы не видела Лизка, хлопал ее по голому задку, но Татьяна только смеялась.

«Вот хитрюга...» — с одобрением подумал Мишка, питавший особое расположение к этому рыжему разбойнику.

— Ну что, мелкота, играем? — снисходительно сказал Мишка, спускаясь с крыльца и шурясь от солнца.

— Иди и ты играть, Миша, — несмело предложили Петька и Гришка.

Мишка недовольно нахмурился. Что они, не понимают, с кем имеют дело? Он подошел к Лизке, носком сапога указал на чурбак, заставленный разными черепками и черепушками:

— А ну убери. Дай посидеть человеку.

— Вот еще, — огрызнулась Лизка, но чурбак освободила.

Мишка важно расселся, по-взрослому закинул ногу на ногу.

Лизка и братья с тревогой и любопытством уставились на него, подошел даже Федюшка, — он, видимо, решил, что сейчас свободен от присмотра за Татьянкой.

Мишка не торопясь вытащил нож и, незаметно поглядывая на малышей, стал срезать на руках ногти. Ребятишки с раскрытыми ртами следили за тем, как он ловко и бесстрашно орудует охотничьим ножищем. И ему льстило это восторженное отношение к его особе. Чем бы еще поразить этих сусликов?

Он достал из кармана гимнастерки щепоть завалявшегося самосада, свернул сигарку и, на глазах изумленных малышей, выбил искру. Вышло, однако, совсем не так, как ему хотелось. С первой же затяжки он закашлялся, слезы показались на его глазах.

— Табак худой, — давясь от дыма, проговорил Мишка, как бы оправдываясь.

— Я вот мамушке скажу, — пригрозила Лизка. — Она тебе покажет, курителю.

Мишка, не ожидавший такой реакции, смутился, но сразу же оправился.

— А мне мамка что... — независимо пожал он плечами. — Я самый сильный в школе.

Он помедлил, стараясь подобрать наиболее веские слова, и вдруг, выпрямившись, приказывающим тоном сказал Лизке:

— Бежи в избу, принеси какую-нибудь нитку!

Та переглянулась с братьями, но ослушаться не посмела. Когда нитка была принесена. Мишка еще выше закатал рукав на правой руке, туго перетянул ее суровой ниткой. Ребята вплотную обступили его, вытянув шеи, ловили каждое его движение.

— Ну, смотрите, мелкота, — сказал довольный Мишка. — Такого во всю жизнь не увидите.

Он напрягся так, что черные густые брови у него сошлись над переносицей, и медленно, скрипя зубами для пущего эффекта, стал сгибать в локте сжатую в кулак руку.

— Раз!

Ребятишки ахнули. Впившаяся в бицепс нитка лопнула.

Мишка встал и с видом человека, привыкшего к восторженному отношению к своим поступкам, лениво цыкнул слюну сквозь зубы.

— Видали? А ты еще — мамке скажу! — пренебрежительно бросил он Лизке.

Мальши вслед за ним с осуждением посмотрели на пристыженную сестру.

— Ну, играйте в свои черепки, да чтобы у меня все тихо! Поняли? — И Мишка важно, вразвалку зашагал на задворки.

Но, сделав несколько шагов, он обернулся, поманил к себе Лизку. Братья несмело потянулись за ней.

— Ты вот что, Лизка... — начал он, с пристальным вниманием разглядывая у ног какую-то палку, — ты лучше мамке-то не говори. Я ведь это так... шутейно.

Но тут Мишке стыдно стало, что он снизошел до упрощивания какой-то мелюзги, и, приняв воинственную позу, он погрозил пальцем:

— Чтоб у меня ни гу-гу! Поняли?

— А ты чего за это дашь? — неожиданно спросил не по годам практичный Федюшка.

— За что?

— А за то, что мамке не будем сказывать.

Мишка присвистнул от удивления, рассмеялся:

— Ты? как Федор Кротик, из всего выгоду норовишь сделать. Ну ладно. На сенокос пойду девкам зайка поймаю, а вам, мужичье, кивнул он ребятам, топорик скую. Идет?

Петька и Гришка, никогда не проявлявшие бурно своих чувств, на сей раз загоревшимися глазами посмотрели друг на друга. Лизка живехонько обернулась к Татьянке — та неуверенно, толчками двигалась от крыльца — и, протянув к ней руки, закивала головой:

— Зайко, зайко у нас с Танюшкой будет.

Один Федюшка не поддался соблазну. Сопя себе под нос, он мучительно соображал, какая доля ожидает его в заключаемой сделке, и, видимо, оставшись недоволен ею, поднял на брата глаза:

— А ты еще один топорик сделай — маленький-маленький.

— Это зачем же?

— Мине... Я первый хотел сказать мамке.

— Ну ты, единоличник! Смотри у меня! — повысил голос Мишка и щегольнул недавно услышанной поговоркой: — Ново дело — поп с гармонью.

Решив, что с малышами все улажено, Мишка отправился по своим делам.

А дела у Мишки известны. Прилепился он всем сердцем к кузне, — кажется, дневал и ночевал бы там. А после того как его увидела за мехами сама Анфиса Петровна и пообещала начислить трудодни, Мишка стал сам не свой.

В последние дни они с Николашей важнецкую штуковину придумали: из старья, из двух заброшенных косилок собрать новую машину. Ох, если выгорит это дельце — тогда посмотрим, какие он номера будет загигать на сенокосе!

Старая, наполовину вросшая в землю кузня стояла за колодцами, у самого болота. Мишка еще издали, от задворок, увидел стены, навес, заставленный плугами, боронами и разными машинами.

Ворота, как всегда, раскрыты настежь. В черной глубине клокочет пламя; отсветы его лижут щуплую фигуру Николаши, склонившегося над наковальней.

Мишка мог бы с закрытыми глазами рассказать о каждом уголке прохладных, подернутых вечным сумраком недр кузни. Вот старые мехи, на вершок покрытые пылью, вот колода с застоявшейся,

прокисшей водой (в ней вечно мокнут щипцы), вот верстак у маленького окошечка, заваленный множеством разных инструментов; за верстаком в темном углу куча железного хлама, и над ним седые космы дремучей паутины...

Приближаясь к кузне, Мишка с жадностью потянул единственный в своем роде воздух, какой держится около деревенской кузницы, — удивительную смесь древесного угля, горелого, с кислоткой железа и чуть-чуть прижженного вокруг дерна от постоянно сыплющихся сверху искр.

— Сдал? — обернулся на его шаги Николаша и оголил в улыбке белые зубы на худом, угреватом лице.

— А то нет! Спрашиваешь...

Николаша бросил в колоду вместе со щипцами какое-то железное кольцо, над которым только что трудился, обмыл в колоде руки и, вытерев их о передник, покровительственно похлопал своего подручного по плечу:

— Ну это ты молодец! По-нашенски. Значит, теперь на все лето в кузнечный цех? Так?

После этого он неторопливо, с чувством собственного достоинства прошел к порогу, сел.

«Ох, — вздохнул про себя Мишка, — начнет сейчас воду в ступе толочь». Но делать было нечего, и он тоже присел рядом.

Николаша вытащил из кармана брюк новенький, красного шелка кисет с зеленой лентой, подмигнул:

— Видал?

— Ну?

— Кралечка одна подарила... Раскрасавица! Ну просто аленький цветочек, сладко зажмурился Николаша. — А волосы какие... шелк... густые-густые.

— Хы, — презрительно усмехнулся Мишка. — У кобылы хвост еще гуще.

— Не понимаешь ты красы, — обиделся Николаша. — На, закуривай.

Мишка потряс головой:

— Не хочу.

— Ну как хочешь. Интересу упрашивать не вижу. Этот жадюга Кротик сорок рубликов за стакан содрал. Это же, говорю, Федор

Капитонович, чистая эксплуатация. «Да ведь я, говорит, не за свои интересы, за государственные». Это как же, спрашиваю, за государственные? Обдираешь меня как липку, а выходит, я же радоваться должен! «А так, говорит, что эти денежки у меня в налог пойдут. Грех, говорит, для своего государства жалеть в такое время». Понял? — жиденьким смехом засмеялся Николаша.

Мишка нетерпеливо оборвал:

— Хватит тебе. Давай лучше за дело.

— Нда... — покачал головой Николаша, делая вид, что не расслышал Мишкиных слов. — А нынче знаешь что надумал Кротище? Весь огород под окнами табаком засадил. Куда, говорю, Федор Капитонович, столько? Тут, говорю, всей деревне нюхать не перенюхать. «Экой, говорит, непонятливый ты, Николай. А кто табачком район выручит? Сознательность, говорит, иметь надо».

— Дался тебе этот Кротик! — вскипел Мишка. — Говори лучше, чего принес из «Красного партизана». Дали косу?

Николаша встал и молча, обиженный, повел Мишку в примыкавшую к кузне избушку, где в великой тайне от всех собиралась сенокосилка.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

В вечернем воздухе тишь и благодать. Слышится бойкий перепляс молотков — в черной пасти кузницы бушует пламя.

Варвара, с любопытством посматривая вокруг себя и поигрывая крашеным коромыслицем, любовно отделанным для своей женушки пекашинским кузнецом Терентием — нынешним фронтовиком, не спеша идет к колодцу. Длинная тень пятнит мокрый лужок, тает в тумане, который белой куделью плавает над болотом. На Варваре пестрая сборчатая юбка, выгодно подчеркивающая ее гибкую, не по-бабьи тонкую фигуру, белая кофта с широкими с напуском рукавами до локтей.

Солнце садится на верхушки розового сосняка. Варвара слегка щурит глаза и с наслаждением, мягко, как кошка, опускает босые ноги в нагретый за день песок.

Набрав воды, Варвара повесила жестяной черпак с длинным шестом на деревянную стойку у колоды, из которой поили лошадей, и стала прилаживать коромысло к ведрам. В это время на глаза ей попался Лукашин — он шел к кузнице со стороны навин.

— Водички холодной не желаете?

Лукашин даже не оглянулся.

Варвара разочарованными глазами проводила его до ворот кузницы, презрительно наморщила нос: «Экой губошлеп, как на воде замешен. Сердце-то уж не чувствует, что к чему...»

Но в ту же минуту глаза ее заиграли шаловливым огоньком: «Ну погоди, голубчик. Так-то еще интересней».

Она скинула с плеч коромысло, воровато оглянулась вокруг и вдруг, схватив одно из ведер, опрокинула в колоду. Затем, все так же оглядываясь по сторонам, сняла черпак со стойки, подошла к срубам и с размаху погрузила его в колодец.

Убедившись, что конец шестика торчит на почтительном расстоянии от верхнего венца сруба, Варвара довольно рассмеялась, наскоро заправила кофту в юбку, скользнула мокрыми ладонями по волосам, оглядела себя в колоде с водой и не спеша, улыбаясь, направилась к кузнице.

— Ну как тут мужево хозяйство, Николай? — сказала она, входя в кузницу. Тереша мой в каждом письме интересуется, как кузня поживает. Ох, да тут кто есть-то! — с наигранным изумлением воскликнула Варвара и ласково кивнула Лукашину, стоявшему у густо запыленного окна, возле верстаков, несколько позади Николаши и Мишки Пряслина. — Здравствуйте, здравствуйте.

Варвара слегка приподняла одной рукой юбку и, с подчеркнутым интересом присматриваясь к потолку, к верстакам, наковальне, к жарко раскаленному, потрескивающему горну, медленно обошла кузницу.

В этом царстве сажи и копоти белая кофта ее, на которую изредка падали отблески пламени, проплывала, как сказочный подснежник.

Заметив, что Лукашин не сводит с нее блестящих в темноте глаз, Варвара, довольная, обернулась к Николаше, который следовал за нею по пятам, милостиво сказала:

— Ну, успокою Терешу: подручный кузню не застудил.

— И боевой привет Терентию Павловичу, и чтобы он, значит, не беспокоился инструмент в сохранности, — добавил Николаша.

По тому, каким серьезным тоном он это сказал, и по тому, с каким вниманием и даже подобострастием относился он к этой новоявленной инспекторше, видно было, что Николаша очень дорожил мнением своего бывшего начальника.

— А что тут одна лебедушка перышки свои обронила — тоже отписать? — вкрадчивым голосом заговорила Варвара и подмигнула Лукашину.

Простоватый Николаша не понял сначала намека, а поняв — для вида сконфузился:

— Ну, это как сказать...

— Ох, хитрюга, — погрозила ему пальцем Варвара. — Нет того чтобы за женой начальника поухаживать.

— Дак ведь тут дело такое — любовь... — покрутил головой Николаша.

Варвара с наигранной жалостью вздохнула — что уж сделаешь — раз любовь. Потом вдруг спохватилась:

— А я ведь на выручку пришла звать. Черпак в колодец уронила. Мишка, ты попроворней. Уж я тебя наобнимаю за это...

Мишка, как и предполагала Варвара, густо покраснел и, громыхая железом под ногами, кинул на нее свирепый взгляд:

— Иди ты со своим черпаком!

— Ну-ну, можно и без обнимки, — рассмеялась Варвара.

— Я могу пособить, — предложил свои услуги Николаша.

— Ну уж, — притворно вздохнула Варвара. — Олена узнает, что мы с тобой воду черпали... — Она стыдливо не договорила и выжидающе посмотрела на Лукашина, которого, как крапивой, ожег ее потаенный намек.

— Пойдемте, я помогу, — сказал он глухо.

У колодца Лукашин снял фуражку, подал Варваре:

— Ну-ка, хозяйка, держи...

Затем он поправил повязку на больной руке и заглянул в колодец. Конец шеста торчал метрах в полутора от верхнего сруба. Он нагнулся над срубом, потянулся здоровой рукой. Не достал. Снова потянулся — и снова не достал.

— Рука коротка, — сказал Лукашин, отдуваясь. Варвару нисколешенько не огорчила эта неудача. Вытянув шею, она кокетливо глядела на него из-под козырька фуражки и кончиком языка водила по верхней оттопыренной губе.

— Ну как, идет мне ваша шапочка? — спросила она, выпрямляясь и задорно вскидывая руки на бедра.

Лукашин скользнул по ее фигуре, по мокрой смуглой ноге, несколько выставленной вперед.

— Казак!..

— А может, казачихой мне остаться? — Варвара сощурила плутоватый глаз, сняла фуражку.

— Ну как, достали ведро? — выпянул из кузницы Николаша.

— Достали, достали! — закричала Варвара. — Посолонный дурак, тебя еще не хватало, — добавила она тише и, взглянув на смутившегося Лукашина, рассмеялась. — Держите шапочку. Не то уж мне попробовать. А то он и взаправду прибежит.

Она заглянула в колодец, дурачась крикнула:

— Чертышко, чертышко, отдай мне черпачок!

Не отрывая груди от мокрого сруба, она повернула улыбающееся лицо к Лукашину:

— Нет, даром-то не отдает...

Затем она опять влезла с головой в сруб. Натянувшаяся кофта выехала у нее из юбки, лопнула какая-то тесемка.

— Держите, держите! — с притворным испугом завизжала Варвара, взмахивая смуглыми ногами в воздухе.

Лукашин быстро нагнулся, обхватил ее за талию.

— Крепче! Упаду... — со смехом завопила Варвара. Лукашин еще сильнее обхватил тело Варвары — горячее, извивающееся под его рукой.

— Ну вот, ухватила, — сказала Варвара, вставая на ноги.

Она вытащила черпак с водой, вылила в ведро, потом еще вытащила один черпак и не спеша начала заправлять кофту в юбку.

— А вы ничего... крепко ухватили...

Вытерев тыльной стороной руки напотевшее, покрасневшееся лицо, она плюнула в глаза шумно дышавшему Лукашину.

— Не знаю, как с вами и расплачиваться. Может, в баньку ко мне придете? По-старому сегодня суббота, я баню топлю. Такой, как моя баня, по всему свету поискать. — Варвара лениво потянулась всем телом. — Председательница-то у нас, смотрите-ко, — кивнула она на деревню, — тоже с баней разобралась.

Лукашин поглядел на дым, поднимающийся из косогора.

— Пускай, пускай обмоется, — сказала со смехом Варвара. — А то мы с этим севом — срам, все грязью заросли. Скоро бабы в нас не признаешь.

Она снова облизала кончиком языка губы, с улыбкой, но деловито спросила:

— Дак вы в первый жар али как любите?

— Спасибо, я вчера помылся. А вот так, — тихо добавил Лукашин, — зайду с удовольствием.

— Ну и так... я одна живу. Ноне в избе спать жарко, на сенник перебралась. Дак вы, ежели засну, стукните в ворота сенника...

Варвара, улыбаясь, подхватила ведра на коромысло и, мягко ступая босыми ногами по хорошо утопанному краешку песчаной дороги, враскачку пошла домой. За ней потянулись темные цепочки капель, оставляемые ведрами.

Лукашин жадно потянул в себя теплый вечерний воздух и скорым шагом направился в правление. В вечерней тишине ему еще долго слышалось поскрипыванье Варвариних ведер.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

И день не день и ночь не ночь...

Таинственно, призрачно небо над безмолвной землей. Дремлют в окружии леса — темные, неподвижные. Не потухающая ни на минуту заря золотит их остроконечные пики на востоке.

Сон и явь путаются на глазах. Бредешь по селению — и дома, и деревья будто тают и зыбятся слегка, да и сам вдруг перестаешь ощущать тяжесть собственного тела, и тебе уже кажется, что ты не идешь, а плывешь над притихшей деревней... Тихо, так тихо, что слышно, как, осыпаясь белым цветом, вздыхает под окном черемуха. От деревянного днища ведра, поднятого над колодцем, отделится нехотя капля воды — гулким эхом откликнется земная глубь.

Из приоткрытых хлевов наплывает сладковатый запах молока, горечь солнца излучает избяное дерево, нагретое за день. И еще: заслышав шаги, пошевелится под крышей голубь, воркнув спросонья, и тогда, медленно кружась, пролетит на землю легкое перо, оставляя за собой в воздухе тоненькую струйку гнездового тепла.

Заглохли, притихли крикливые запахи дня. Уже не разит смолищей от сосен, не тянет с луга ядовито-сладкой сивериской, от которой дохнет скотина. Зато все тончайшие запахи разнотравья, которые теряются днем, невидимым парком наплывают с поля. И какая-нибудь маленькая, неприметная, стыдливо спрятавшаяся в лопухах травка, для которой и званья-то не нашлось у людей, вдруг порадует таким непередаваемым ароматом, что томительно и сладко занает сердце.

Белая ночь...

Анфисе не спится. И с чего бы это? Спать бы да спать теперь, за всю весну отоспаться, — нет, сна нету. Но все равно — лежать в чистой постели так приятно. После бани волосы еще не просохли, от подушки немного холодит, и тело легкое-легкое. Приятно, ох, как приятно попариться молодым березовым веничком, И как хорошо, что все позади: и этот холод нестерпимый, и посевная, которой, казалось, не будет конца, и эти вечные страхи за голодную скотину.

По губам Анфисы вдруг пробежала легкая улыбка. Она вспомнила, как вчера на районном совещании похвалил ее секретарь райкома. Председатель колхоза «Луч социализма», толстая сердитая женщина, с завистью толкнула ее в бок: «В гору пошла — удержишься?»

И как только она припомнила это, новые заботы подступили к ее сердцу. Сенокос... Надо хлеба где-то раздобыть... А завтра-то, завтра — заседание правления и ей доклад говорить. Первый раз в жизни! Нет, теперь уж не до сна.

Она приподнялась, потянулась к юбке. В избе светлым-светло, как днем. Сонно постукивают стенные ходики.

Накинув теплый платок на плечи, она под села к открытому окну, задумалась. Но странное дело, мысли у нее никак не вязались одна с другой. Она пыталась еще думать о колхозных делах, о том, кого послать на дальние сенокосы, как перебиться с хлебом до новины, а глаза ее — против воли — смотрели на притихшую дорогу, на лужок у изгороди, выбитый овечьими копытцами и посеребренный крупными каплями росы, на далекую Пинегу, которую поперек полосуют темные отражения зубчатых елей. Возле изгороди, на сухом сучке рябины, распростерши крылышки, немощно уронил голову сонный воробей: сморило молодца. Свежо... Из косогора легкими хмельными волнами наносит запах черемухи, и какая-то непонятная и трепетная радость заливает Анфису.

«Да что это со мной деется?» — растерянно подумала она.

За домом на дороге скрипнул песок. Она прислушалась. Шаги... И опять, к немалому удивлению, необычные воспоминания зашевелились в ее душе. Бывало, еще несмышленной девушкой, заслышав шаги неизвестного человека, она любила загадывать: «Кто идет — тот мой суженый». И сколько было смеху, когда этим суженым оказывался какой-нибудь старик или старуха.

А шаги все ближе, ближе... Вот уже слышно, как человек дышит.

Иван Дмитриевич!

Сердце у Анфисы дрогнуло.

Лукашин шел вялой, ленивой походкой — без фуражки, ворот гимнастерки расстегнут, — словом, у него был вид человека, который вышел среди ночи подышать на крылечко, да и побрел неведомо куда.

Ей показалось, что он очень удивился, увидев ее в окне.

— Оказывается, не я один полуночник.

— Да уж, пожалуй... — и черные глаза Анфисы (она это с удивлением почувствовала) шаловливо блеснули.

Лукашин, с блуждающей улыбкой на губах, подошел к окну, по привычке протянул руку. Шерстяной платок съехал с плеча Анфисы, мелькнула голая рука.

Он отвел глаза в сторону, заговорил приглушенно, с хрипотцой, словно боялся спугнуть ночную тишину.

— Никак не привыкну к этим ночам. Откроешь глаза — день, посмотришь на часы — ночь. Ну и, как говорится, перепутал день и ночь. — Лукашин натянуто рассмеялся, встретился с ней глазами. — А вот вы чего не спите?

— Я-то? — улыбнулась Анфиса и зябко прижала платок к груди. — Да тоже чего-то стала путать.

Она покраснела, и Лукашину показалось, что на щеках ее, у переносья, отчетливо выступили темные крохотные веснушки, которые сразу придали ее лицу какое-то удивительно милое, простодушное выражение. И это было для него так необычно, так ново, что он даже подался вперед, чтобы получше разглядеть ее лицо. Но Анфиса, видимо устыдившись своей шутки, тотчас же поправилась:

— Нет, от забот не спится. — И на него снова глядели знакомые, серьезные и немного печальные глаза.

— Да, вот какие дела... — только и смог протянуть Лукашин.

Странно, он никогда не присматривался к ней как к женщине. А она... Ему вдруг вспомнились слова Варвары: «Она ведь какая? За стол села Фиской, а вышла Анфисой Петровной». И то, что эта вечно озабоченная Анфиса Петровна, такая сдержанная и даже холодная, неожиданно приоткрылась ему Фиской, наполнило его волнующей радостью. И вся эта белая ночь, от которой он изнывал и томился, стала для него еще прекрасней и загадочней.

Где-то далеко, в конце деревни, тявкнула спросонья собака. Лукашин поднял глаза к Анфисе. Лицо ее опять светилось улыбкой.

— Что же это я вас под окном держу? — вдруг спохватилась она. — Заходите в гости. Вы ведь у меня еще не бывали.

— В гости? — Лукашин оглянулся. Откровенно говоря, он шел совсем в другие гости.

Она поняла по-своему: боится бабьих пересудов.

— Ничего, ничего. Заходите, я хоть молоком вас угощу.

И вот шаги Лукашина уже в заулке. Анфиса бросается к кровати, лихорадочно поправляет постель. И чего она, глупая, всполошилась? Экая важность, человек в гости зайдет. А шаги уже на крыльце, в сенях. Анфиса взглянула на себя. Батюшки, она в исподнем...

— Можно?

— Входите, входите! — звонко крикнула Анфиса из другой комнаты. — Я сейчас...

Стоя перед зеркалом, она торопливо натягивала на себя свою любимую кофту распашонку из синей бумазеи с белыми пуговками. Но на этот раз кофта показалась ей какой-то уж чересчур заношенной, неприглядной. Откинув ее в сторону, Анфиса раскрыла сундук и, волнуясь, стала рыться в своих залежалых нарядах. На дне сундука нащупала руками скользкий шелк, вытащила. Чем-то цветастым, далеким и шумным опажнуло ее.

Она почти вбежала в комнату. Лукашин, занятый рассматриванием карточек в застекленных рамках на передней стене, обернулся на шаги и снова, как давеча, когда он увидел Анфису в окне, не смог скрыть изумления. У него было такое ощущение, словно Анфиса сошла с фотокарточки, которую он только что разглядывал.

Она стояла перед ним в голубой кофточке, отливающей веселым блеском, и улыбающееся лицо ее, залитое стыдливым румянцем, сияло какой-то неудержимой молодостью и счастьем. И это было так необычно, так не вязалось с ее всегдашним видом, что он невольно покачал головой.

— Что? Больно переменялась? — кивнула Анфиса на карточку и вдруг еще пуще застыдилась: на ногах у себя она увидела большие серые растоптанные валенки, в которых ходила дома.

Лукашин, смеясь, что-то отвечал ей, но она не поняла ни единого слова. Все еще разглядывая валенки и чувствуя себя страшно неудобно в этой кофтенке, которая так и поджимала под мышками, она со злостью подумала: «Вынарядилась, дуреха. Хоть бы праздник какой. А то среди ночи. Что подумает он?..»

Она заставила себя взглянуть на него и, тут только поняв, что забыла предложить ему сесть, вдруг рассмеялась:

— Хороша хозяйка. Стай, гостенек, а гостях воля не своя.

Она проворно выдвинула приставленный к столу венский стул и, по бабьей привычке обмахнув сиденье рукой, придвинула Лукашину. Потом села сама. Руки ее машинально принялись разглаживать складки скатерти.

Лицо Анфисы, продолговатое, обметанное вешним загаром, — совсем близко от его лица. На висках у корней волос, туго зачесанных назад, в том месте, где припадал к лицу плат, белая полоска. Она, ширясь, уходит за маленькое разалевшееся ухо, молочным разливом охватывает тонкую шею и стекает за ворот шелковой кофточки.

Лукашину вдруг стало жарко. Он сказал:

— Чисто у вас. Хорошо!

— Это на днях убралась? — с готовностью ответила Анфиса, поворачивая к нему разрумившееся лицо, — а то срам — зайти нельзя было.

И опять нечего сказать.

Но тут в окна брызнули первые лучи солнца, и Лукашин сразу же ухватился:

— Вот и солнышко.

Анфиса весело всплеснула рунами:

— Ай-яй-яй! Ну и хозяйка, заморила гостя. Она быстро встала:

— Каким вас молоком угощать? Парным?

Не худо бы... — сказал Лукашин и вдруг, глядя на оживившуюся Анфису, сам почувствовал, как возвращается к нему прежняя непринужденность.

— Ну, тогда посидите — я скоро подою.

— Что вы, что вы! Какая сейчас дойка!

— Ничего, у меня буренка привычная — еще Харитон на военный лад подковал, — рассмеялась Анфиса, сбрасывая у порога валенки.

Она сняла с вешалки передник, подумала, не переодеть ли кофточку, но тут же махнула рукой: а куда ее беречь.

Занятая делом, Анфиса уже не испытывала недавнего смущения, а только, чувствуя на себе взгляд Лукашина, изредка косила в его сторону большим черным глазом и мягко улыбалась.

Он захмелевшими глазами ласкал все ее небольшое, ладное тело, скользил взглядом по рукам, разбрызгивающим воду под рукомошкой, по белой нежной шее, над которой тяжелым, пышным

узлом свисали волосы. Ему хотелось подойти к ней, обнять. И в то же время непонятная робость охватывала его. Нет, это было не то слепое, беспокойное влечение, которое будила в нем смазливая, столь откровенная в своих желаниях Варвара.

Оставшись один, он попытался разобраться в своих чувствах. Но все путалось и туманилось в его голове, и он был снова во власти тех смутных и томительных ощущений, которые волновали его в белую ночь. То ему припоминался властный, обжигающий взгляд Анфисы при первой встрече, то он видел ее бледное, растерянное лицо на собрании, то в глаза ему смотрели ласковые, обезоруживающие своей чистотой и доверчивостью большие черные глаза, когда он стоял под окном. Странно, другая вся на виду, а эта вся запрятана. И эти крохотные веснушки у ее переносья, так внезапно высыпавшие и исчезнувшие.

В раскрытое окно тек густой запах черемухи. Солнце начало пригревать в затылок, но ему лень было пошевелиться. Сбоку от него — наспех прибранная постель, белая подушка с вмятиной посередине... Грешные мысли и желания нахлынули на него, и он опять потерял ощущение времени и пространства...

В комнате запахло парным молоком, привянувшей травой. Он стряхнул с себя сладкую дрему и, стыдясь собственных мыслей, встретился с ней глазами.

— Заждались? — голос у Анфисы глухой, мягкий. И во всей фигуре чувствовалось что-то довольное и умиротворенное.

Лукашин знал: так всегда бывает, когда хозяйка выходит из-под коровы (чиликанье молока, что ли, успокаивает или еще что), но то, что эта перемена произошла с Анфисой, его особенно обрадовало.

Сняв передник у порога, Анфиса медленно, слегка покачивая бедрами и тихо улыбаясь, прошла с эмалированным ведром за занавеску, потом вынесла ему полнехонькую крынку теплого, вспененного молока. Он начал пить прямо из крынки.

— Так вкуснее, — сказал он, на секунду переводя дыхание и глядя на нее счастливыми, посветлевшими глазами.

Провожая, она вышла с ним на крыльцо. От домов и изгороди на дорогу падали длинные тени. На повороте улицы к Лукашину подошел Степан Андреевич и о чем-то, разводя руками, заговорил.

И тут только Анфиса спохватилась: как же это она про доклад забыла, не посоветовалась?

И вся та радость и беспричинное счастье, которые не покидали ее этой ночью, вдруг растаяли бесследно, как утренняя роса на солнце. Она снова была одна со своими заботами в пустой избе.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Июнь выдался на редкость теплый, солнечный. Над Пекашином целыми днями голубело безмятежное небо, дружно поднимались хлеба, росли травы.

В колхозе деятельно готовились к сенокосу. Старики точили и отбивали косы, делали грабли, чинили обувь. У кого водилась мука, сушили сухари. В маленькой кузне у болота с утра до ночи шумел горн, весело вызванивала наковальня.

Мишка Пряслин неожиданно для всех стал незаменимым кузнецом. Золотые руки оказались у парня! Там, где Николаша Семьин, «специалист по тонкой работе», часами потел над какой-нибудь пустяковой гайкой, Мишка управлялся за несколько минут.

После работы, весь измазанный сажей, в кепчонке, сдвинутой на затылок. Мишка не спеша, вразвалку, отправлялся в правление. По дороге он снисходительно кивал своим сверстникам, а если попадался навстречу пожилой человек, с достоинством вступал в беседу.

— Ну и погодка, Христофор Афанасьевич, — говорил Мишка какому-нибудь ветхому деду, принимая позу бывалого хозяина. — Дождей не будет — нароем сена.

Дед, польщенный вниманием, отвечал:

— Худо ли бы с сеном, да работнички-то наши где. Траву погану рвут.

— Ничего, старина! — успокаивал Мишка. — Мы это обмозгуем. Я вот собрал из старья косилку, и еще что-нибудь придумаем.

— Да уж так, парень... — напутствовал Христофор Афанасьевич. — Силенки нету — смекалкой бери.

В правлении колхоза, потолкавшись среди людей и непременно отчитав какого-нибудь бригадира за нерасторопную доставку в кузницу инвентаря. Мишка всякий раз подходил к ведомости трудодней, вывешенной на видном месте, и, не умея скрыть мальчишеской радости, с удовольствием поглядывал на свою фамилию, против которой каждый день прибавлялась новая палочка.

По вечерам в правлении теперь больше чем когда-либо толпился народ, все-таки предсенокосная пора давала людям небольшой

роздых. Лукашин раздобыл в райцентре большую карту Советского Союза, и около нее часами простаивали люди. Не шибко грамотные бабы и старики, замечая, как день ото дня то тут, то там отодвигаются на восток красные флажки, тяжко вздыхали:

— Все прет и прет...

— Страсть куда залез.

— И когда его, окаянного, погонят?

Однажды Трофим Лобанов, уставившись на карту своими выпуклыми немигающими глазами, попросил Лукашина:

— Покажи, где тут Ленинград?

Вот он Ленинград. А что?

— Парень мой, Максимко, там! — тряхнул бородой Трофим.

С тех пор каждый вечер Трофим подходил к карте и, убедившись, что красный флажок у Ленинграда все на том же месте, громко, на всю контору изрекал:

— Во как мой Макс. Стоит, как в землю врос! Трохину породу сразу видно.

Потом сурово кивал Софрону Игнатьевичу и, тыча коротким задубелым пальцем в южную часть карты, басил:

— А у тебя Гришка — того... Всю карту портит.

Для Анфисы июнь начался той памятной белой ночью. По утрам она просыпалась с ощущением какой-то легкой, подмывающей радости. «Что бы это такое?» спрашивала она себя мысленно и улыбалась, оставляя вопрос без ответа. Теперь у нее вдруг появилась разборчивость в одежде. Вместо синей кофты, с которой почти не расставалась последние два года, она все чаще надевала веселую, цветастую.

«Председатель — надо... в район езжу...» — оправдывалась она перед собой.

У нее и походка стала другой — стремительной и легкой, а на смуглых щеках все чаще появлялся жаркий румянец.

Днем, чем бы ни была занята, она постоянно ловила себя на мысли, что с нетерпением ждет вечера, тех радостных и счастливых минут, когда она вдвоем с Лукашиным останется в правлении. Она любила слушать его в вечерней тишине, с глазу на глаз, — так с нею еще никто не разговаривал.

Просто, ничего не скрывая, он рассказывал ей о войне, о фронтовой жизни, о своих товарищах. Вместе с нею он разбирал очередную сводку Информбюро, вскипал, чертыхался, когда надо было опять передвигать флажки на карте, вспоминал города, оставляемые нашими войсками, — и мало-помалу немой лоскут, испещренный тысячами неизвестных доселе названий я извилин, ожил для Анфисы и начал приобретать очертания громадной родной земли, содрогавшейся от грохота сражений.

Ей стыдно, неловко было перед Иваном Дмитриевичем, и она все чаще стала заглядывать в газету.

Иногда в разгар их беседы в дверях конторы неожиданно появлялась Варвара, подозрительно оглядывала их насмешливыми глазами:

— Все газетки читаем? Ну-ну, читайте! — И, беззаботно рассмеявшись, уходила.

Анфиса чувствовала себя после этого как человек, застигнутый на месте преступления, и долго не могла оправиться от смущения.

В другой раз Варвара, повстречав ее на улице, польстила:

— А тебе председательство-то на пользу, Анфисьюшка. Ты как десять годочков сбросила.

Она растерялась, не нашлась, что ответить. Но, оставшись одна, задумалась. Как ни хитрила она с собой все это время, но не могла не признаться, что не одни только душевные разговоры влекут ее в правление. Ее пугали, смущали взгляды Лукашина, которые она порой замечала на себе, и в то же время ей было необычайно радостно и хорошо от этих взглядов.

Нет, нет, говорила она себе, трезвея. Чтобы ей да в такое время глупостями заниматься! Да что о ней люди подумают, как она им в глаза глянет?

И ей уже казалось, что бабы догадываются, шепчутся у нее за спиной, что Варвара неспроста намекнула насчет годочков.

Вечером в тот день Анфиса не пошла в правление. Она нарочно переделась в домашнюю юбку и отправилась полоть картошку на своем огороде.

Осторожно, чтобы не обжечь крапивой босые ноги, ступая по заросшей травой борозде, она прошла к крайней грядке и принялась за

работу. Пальцы ее привычно и быстро начали выдергивать сорняки, совать их в подол передника.

На деревне пахло дымом: многие хозяйки начиная с нынешней весны топили по вечерам, экономили дневное время. От колодца доносились голоса баб, смех.

«И с чего это ты взяла? — думала Анфиса. — Человек как с человеком разговаривает... До тридцати пяти дожила, а тут невесть что в голову взбрело...»

И ей уже казалось теперь, что все те особенные взгляды Лукашина, которые так волновали и смущали ее, она выдумала сама, что Лукашин, наверно, и не думает о ней. Да и с чего ему думать, когда своя семья под немцем? А она-то, она-то — как девчонка глупая. Совсем из ума выжила. И все-таки как ни стыдила, ни отчитывала она себя, на душе у нее было беспокойно. Она все время томилась каким-то неясным ожиданием и постоянно оглядывалась на дорогу.

Пахучая трава дурманила голову, взрыхленная, нагретая за день земля дышала жаром, кровь прилиwała к лицу, — и ей немалых усилий стоило продолжать работу. Бывали минуты, когда она готова была бросить все и бежать в правление, и сделала бы это, если бы в ней тотчас же не возмущалась гордость.

И вдруг, когда она уже ни на что не надеялась, ничего не ждала, в переулке раздалось знакомое покашливание. Она едва не вскрикнула от радости. К ней шел Лукашин с Митенькой Малышней.

Не обращая внимания на крапиву, с полным передником травы, она почти бегом кинулась к воротцам.

— Принимай гостей, Петровна, — издали замахал рукой Митенька Малышня. Иван Дмитриевич конфет раздобыл — чай пить будем.

Анфиса вытряхнула зелень из передника и, вся разогретая, пахнувшая травой и землей, вышла из огорода:

— Милости просим...

Она вспыхнула, встретившись глазами с тревожным, вопрошающим взглядом Лукашина.

Не успели, однако, они подняться на крыльцо, как где-то совсем рядом резануло:

— Убили... о, убили!..

Все трое с тяжелым предчувствием посмотрели друг на друга. Кого еще осиротила война?

В ту же секунду из-за дома показалась раскосмаченная, как ведьма, Марина-стрелеха. Поднимая пыль босыми ногами, она тащила за ворот упировавшегося белоголового ребятенка и дурным голосом причитала:

— Убили... Среди бела дня убили...

— Да говори ты!.. — вне себя крикнула Анфиса.

— Петеньку моего... петушка моего беленького...

— Тьфу ты господи! С ума сводишь... я думала — опять похоронная.

Запыхавшаяся стрелеха гневно сверкнула здоровым глазом:

— Так-то ты меня, старуху беззащитную... — Потом, разглядев Лукашина, снова заголосила: — Родимушко ты мой!.. Ты хоть пожалей.

— Да ты отпусти, Викуловна, отпусти Ванятку-то, — вступился за мальчика Митенька. — Он и так не убежит.

Лукашин молча отвел от ворота мальчика руку Марины, погладил его по голове.

— Ну ладно, говори... Чего еще стряслось? — поморщилась Анфиса.

— Ох, роднуша, не спрашивай... — заломила руки Марина. — Сижу я это дома, родимые, и уж так под грудями щемит, так щемит — места не найду. Дай-ко, думаю, выпляну — уж не горит ли где. Только я открыла ворота, слышу, визжат на задворках: «Бей белого, бей!» У меня так все и оборвалось. Долго ли, думаю, до греха — убьют друг дружку. Ведь все только в войну и играют. Оногдась Фильку у Лапушкиных едва не порешили. Енералом немцем назначили...

Анфиса недовольно оборвала:

— Будет тебе сказки-то рассказывать.

— Нет, нет, почто... — спохватился Митенька, с раскрытым ртом слушавший Марину. Он переводил голубые плазеньки с одного лица на другое, и в них светилось такое неподдельное, чисто детское любопытство, что Анфиса, вдруг смягчившись, подумала: «Как есть Мальшняя...»

— Ну назначили Фильку в енералы... — услужливо напомнил Митенька.

Но Марина, переняв недовольный взгляд Анфисы, вернулась к своей беде:

— Ну бегу я на задворки-то, что есть моченьки бегу. Разбойники, кричу, что делаете-то? А этот щенок-то, — указала она на мальчика, — стоит, плачет: «Мы, говорит, Марина, твоего петуха убили». Взглянула я на побоище-то, а там и впрямь мой петушко. Кругом перо да перо, а он, голубчик, лежит на бочку да эдак одним-то крылышком взмахивает, головушку вытянул да так плазком-то одним бисерным смотрит на меня — жалостливо-жалостливо... Взяла я его, гуленьку, на руки, а он уж и дух спустил.

По морщинистому, как растрескавшаяся земля, лицу старухи катились слезы.

— Ладно, успокойся, — сказала Анфиса и, легонько взяв Ванятку за подбородок, приподняла его голову. — Что же это вы натворили?

Мальчик засопел, надул губы.

Молчание ребенка привело Митеньку в восторг:

— Не скажет, истинный бог — не скажет. Это у них тайна военная, я уж знаю. Верно говорю, Ванятка?

— Верно, — пробормотал мальчик, вот-вот готовый расплакаться.

Анфиса, сдерживая улыбку, напустила на себя строгость.

— Как это не скажет? Ну, мне не скажет, а Ивану-то Дмитриевичу? Знаешь, кто он? — кивнула она на Лукашина. — Командир Красной Армии. Ему все секреты говорить надо.

Ванятка недоверчиво покосился на Лукашина, затем перевел взгляд на Митеньку: так ли, мол, не обманывают ли его?

— Не сомневайся, Ванюшка. Истинно, — всерьез подтвердил Митенька.

— Да как же вы петуха убили? — снова стала допытываться Анфиса.

— А почто он белый...

— Ну и что?

— Ну и Сенька сказал, что белые никогда не побивают красных. А когда белый стал подсаживать красного, Сенька и говорит: надо, говорит, подсобить красному.

— Да какой красный, какой белый?

— Ты по порядку, по порядку, Ванятка, — внушал Митенька.

— Мы на конюшню ходили, а у Марины на задворках петухи дерутся: один белый — Маринин, а другой красный — Василисин. Ну а красный-то слабенький, стал, сдавать. Сенька и говорит: «Белый, говорит, не имеет никакого права. Этого, говорит, и в кине ни в одном нет». А Костя Семьин говорит: «Белые, говорит, как фашисты, всегда народу вредили!» Да немножко и толкнул белого. А белый как рассвирепеет, рассвирепеет... — глазенки у Ванятки засверкали, и весь он теперь походил на боевого петуха, — да как кинется на красного петушка, а тот и с катушек... А Сенька закричал: «Ребята, говорит, бей белого»... Мы маленько побили, а он взял и очоурился... — и Ванятка расплакался.

Лукашин неловко опустился на корточки, притянул мальчика к себе.

Анфиса заметила, как дрожит его рука, обнимающая худенькие ребячьи плечи. Потом он вытащил из кармана пригоршню розовых засахаренных подушечек, начал совать их в грязные ручонки мальчика.

— Вот как, вот как тебе, Ванятка! — говорил Митенька Малышня, искренне радуясь такому исходу дела. — Пойдем со мной, а то ребята еще отнимут у тебя.

Легонько подтолкнув мальчика, он взял его за руку и повел на дорогу. Ванятка крепко сжимал в грязных кулачках конфеты и, постоянно оглядываясь назад, улыбался Лукашину розовым беззубым ртом.

Лукашин, не двигаясь, провожал его прищуренными глазами, и на лице его была такая тоска и боль, что даже Марина-стрелеха, видимо догадавшись, что делается сейчас на душе у ее квартиранта, сочла за нужное потихоньку удалиться.

— Да, — словно очнувшись, произнес Лукашин. — Как мой Родька...

Он устало опустился на крыльцо, взялся рукой за голову.

У Анфисы сердце разрывалось от жалости, но она не находила слов, чтобы утешить его. Наконец она под села к нему сбоку, дотронулась рукой до плеча.

— Хотите взплянуть на моего Родьку?

Часто мигая влажными, необыкновенно потеплевшими глазами, он достал из потайного кармана гимнастерки серую, обтрепанную

по краям карточку, протянул Анфисе, безуспешно пытаясь скрыть свое волнение:

— Вот он, мой разбойник...

На Анфису ласково глянуло умное, лобастенькое, как у отца, лицо мальчика.

— Хорош, хорош Родион Иванович!

— Хорош-то хорош, — мотнул головой Лукашин, — да страшно не повезло. Понимаете... не уберегла бабка, простудила ребенка, и вот ножку скрючило. Такой парнюга славный, а полжизни в больницах провел... Вся надежда на Крым была. В прошлом году летом собирался везти к одному профессору — уж и договоренность была. А тут война... Теперь вот под немцем...

— Да вы не убивайтесь, с матерью ведь; мать в обиду не даст.

Лукашин с горечью усмехнулся:

— Какая мать? С бабкой остался... — И на вопросительный взгляд Анфисы добавил: — У меня жена вскоре после родов умерла. Я его сам и выхаживал... Сначала думал жениться, да захочет ли, думаю, мачеха с больным ребенком возиться? Так и остался вдовцом...

Ночью Анфиса долго не могла заснуть. Ей и жалко было Ивана Дмитриевича, жалко больного ребенка, который где-то в немецкой неволе мается со старухой, и в то же время из головы не выходили слова: «жены нет»...

Но тут подошла вплотную страда — и бесчисленные новые заботы и хлопоты целиком завладели ее умом и сердцем.

Правление колхоза, готовясь к выезду на дальние сенокосы, казалось бы, предусмотрело все: было заготовлено необходимое количество кос и граблей, сколочены не одни сани-волокуши, кое-как схлопотали общее питание (для этого пришлось выпрашивать займы муки в соседнем колхозе), но в последние дни, как всегда, выявились новые затруднения. Травостой на некоторых речках из-за поздней весны оказался так мал, что выезд на них пришлось отложить, — и уже одно это спутало все планы уборочной. Еще хуже было с людьми, — как ни хитрили, ни изворачивались, а заткнуть все дыры не могли. Даже та рабочая сила, которая считалась надежной, зачастую подводила: у одной ребенок заболел накануне, другой за старухой присмотреть надо, у третьей корову подоить некому — кто

за нее молоко платить будет? Да и то сказать, страшно вести разъединственную кормилицу в лесную глушь: а ну как зверь нашкочит? А четвертая и рада бы поехать, да не с чем: в доме с пригоршню муки нет. Даже Варвара Иняхина, которой ничто не вязало руки, и та норов показывала: «Нахотела я на тот свет ехать, ближе к дому хочу».

Наконец десятого июля выезд состоялся. Бывало, до войны, отправлялись на пожню как на долгожданный праздник — с песнями, с весельем. А народ-то какой! Мужики да парни чуть не за крыши головой задевают, разряженные девки, поскрипывая новыми сапогами, млеют от радости, которую сулят им встречи с милыми в короткие бессонные ночи...

А сейчас за санями-волокушами, на которых был уложен скудный нынешний пожиток, плелось несколько стариков. Некоторые из них, страдая одышкой, хрипели с первого шага, другие были столь ветхи, что им только бы домашничать, а не о сенокосе думать. Желторотые мальчишки и девчонки, женщины, еще не оправившиеся после тяжелой весны... За матерями вдогонку, хватаясь за подол, бежали малыши, и те на ходу наклонялись к ним, давали последние наказы. Коровы на вязках упирались, оборачивались назад, к своим дворам, и вопрошающе косили на людей лиловым глазом: «Куда вы нас ведете?»

Анфиса, провожая, смотрела на свое воинство и со страхом думала: «Какое же тут сено? Чем скотину кормить будем?»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Горбатый мыс — самое распроклятое место на Синельге. Не пожня, а сплошные горбыли да муравейники. За день так руки надергает, что вечером ложку ко рту не несут. А уж трава на Горбатом мысу! Гнездоватый мятлик, красноголовая осота — старучина да задубевшая собачья дудка... Коса вызванивает, как о проволоку.

Пять пекашинских домохозяек, проклиная все на свете, маялись на мысу уже второй день. День был жаркий, безветренный. С безоблачной выси нещадно палило солнце. От перегретой травы обдавало, как из печи. Женщины каждый раз, дойдя до Синельги, жадно припадали к воде потрескавшимися губами, споласкивали лицо, мочили засекшиеся, заземлившиеся косы и снова делали заход.

Работали молча, невесело.

Анна шла сзади — вся мокрая, еле держась на ногах. Коса у нее постоянно запарывалась, и она насилу выдирала ее из земли. Молодая, бойкая Лукерья уже трижды обходила ее. Сначала покрикивала: «Убирай пятки!..» — а потом уже просто, не говоря ни слова, выходила вперед. Да что Лукерья! Престарелая Матрена, которая вечно стонала да охала, и та обошла. Ей стыдно и горько было за себя, за свою беспомощность. Что подумают о ней бабы? Как ребят таскать, так первая, а косить — нету... Она низко наклоняла голову, украдкой смахивала слезы, а они все набегали и набегали...

После полудня Лукерья, переглядываясь с женками, сказала:

— Чтой-то, бабы, лягу-то мы забыли. Иди-ко, Анна, выручай.

Ей ли было не знать, что лягу-низинку у залесья — каждый год оставляли напоследок, — для опохмелки, как говорили, чтобы после Горбатого мыса не отбить навсегда охоту к косьбе. Трава там легкая, коская — лопушник да ремза. Но сейчас Анна рада была уйти с людских глаз.

В ляге, отгороженной от мыса кустарником, жара была меньше. Анна потихоньку стала косить. Коса больше не зарывалась в землю. Она без отдыха прошла укос и, оглядываясь назад, с облегчением вздохнула: нет, еще может работать.

Когда спустя некоторое время женки закричали «перекур», она решила отдыхать здесь, в ляге. Да и зачем она пойдет? Бабы, как всегда, начнут говорить о своих мужьях, пересказывать их письма, гадать, когда кончится война и вернутся домой родные. А каково-то ей все это слушать? Ей не от кого больше получать писем, ей некого больше ждать. Был Иван, и нет Ивана — будто и не жил человек на свете.

Выбрав местечко под ветвистой черемухой, куда не доставало солнце, она села в густую влажную траву, в изнеможении прислонилась к стволу дерева.

Едкий соленый пот заливал ей лицо, голову разламывало от зноя, от слез. Надо бы спуститься к речке, умыться, но у нее не было сил. Она сняла с головы плат, вытерла лицо.

Что же это она? Совсем сдавать стала. А ведь ей всего тридцать пятый год. Иная баба к этим годам только в силу входит, а она...

Расправляя на коленях помятый плат, она случайно обратила внимание на свои руки. Какие они худые, черные да жиливатые — как у старухи. И эти хвататы Ваня называл лапушками...

Вокруг нее в траве лихорадочно ковали свое немудреное счастье кузнечики, жалобно звенели комары, загнанные в тень палящим солнцем, высоко в небе заливался жаворонок, которого в Пекашине называют божьим барашком, за кустарником громко переговаривались бабы. Но она ничего не слышала. Перед глазами ее стоял Ваня, высокий, в белой рубашке, с непокрытой головой... Свистит коса... улицей стелется пахучая трава... «Анютка, — кричит он ей улыбаясь, — не надрывайся! Давай лучше песню, а я под твою песню за семерых накошу...»

— Ванюшенька, родимый, — зашептала она вслух, глотая слезы. — Научи ты меня, как мне жить...

Первые дни после получения похоронной она ходила как помешанная, ни о чем не думая, ничего не соображая. Осознание всего ужаса и непоправимости случившейся беды пришло позднее. Как-то ночью она проснулась, села на постели и обмерла. Вокруг нее, как щенята, раскидались, переплелись меж собой посапывающие детишки. Пятеро! Да еще шестой на кровати. Как же она, горемычная, будет жить, поднимать такую ораву? Разве тащить ей воз, который был под силу одному Ивану? Чем их накормить, напоить?

С тех пор эта мысль неотступно преследовала ее. Сядет за стол, взглянет на ребятишек — и сердце упадет. Шестеро! И все тянутся к хлебу, наминают за обе щеки. По куску, так шесть кусков надо! А какие у нее доходы? Ну пускай поднатужится, выработает триста трудодней в год, получит по килограмму. Это хорошо еще — урожайный год. А ведь были годы, когда и сотками получали. Да разве это хлеб на такую семью? Она уже сейчас забирает под новые трудодни. А во что обуть, одеть их?..

За кустами зазвенели косы. Она, охая, поднялась, налопатила косу и поплелась к кошенице. Мало-помалу жара начала спадать, с северной стороны потянуло желанным ветерком. Коса заходила живее.

Через некоторое время впереди, в Волчьем логу, застрекотала сенокосилка. Анна, не прекращая размахивать косой, приподняла голову. Радостная улыбка осветила ее лицо.

По лугу, потряхивая головами, шагали две лошади, а сзади них, сбоку, покачивался на сиденье косильщик в белой рубахе. Мишка! Ее Мишка... Господи, как бы она жила без него! И чего-чего не делает он в свои четырнадцать лет! Днем за мужика работает, а дома — и воды, и дров принесет. Вчера утром стала одеваться, смотрит — на сапогах подметки подбиты. То-то она ночью просыпалась: что да что стучит на крыльце.

— Милый ты мой! Радость ты моя... — прошептала она тихо, не отрывая глаз от сына. — Пропадать бы без тебя мамке.

Завидев мать. Мишка отчаянно замахал руками, потом спрыгнул с сиденья и, что-то крича, прямо некошеной травой побежал к ней.

Коса у Анны вжикнула и уткнулась носком в землю. Неужто еще беда какая? С ребятишками, наверно... Обмирая от страха, она все крепче и крепче сжимала окосье в руках.

— Мамка! При-ня-ли! При-ня-ли!

В глаза ей бросилось счастливое, необыкновенно возбужденное лицо сына. Подбежав к ней, он в изнеможении кинулся на кошеницу и, высоко задрав кверху ноги, как жеребенок, начал кататься по траве.

— Кого приняли? Куда?

— Да в комсомол!

Анна попыталась улыбнуться, но губы ее дрогнули:

— Отец-то бы обрадовался. Бывало, ты еще маленький... Возьмет на руки... И, не договорив, всхлипнула.

Мишка встал, глаза у него потемнели:

— А ты, мамка, опять плачешь. Сколько тебе говорено...

— Плачу, Мишенька. Как жить-то будем?

Мишка насупился:

— Как жить? Проживем. Люди же живут.

— У людей-то не такая семья... Хлеб теперь забираем вперед, а зимой что?

Мишка зачем-то взял из ее рук косу, долго протирал полотно травой и вдруг, воткнув ее косьем в землю, решительно шагнул к матери:

— Видишь, какой я? Во на сколько выше тебя! — Он взмахнул рукой над ее головой. — А ты все — как да как жить...

Черные хмуроватые глаза его вспыхнули:

— А ты думаешь, в комсомол за здорово живешь приняли? Как бы не так! Лукашин знаешь как меня назвал? Товарищ Пряслин, говорит, настоящий гвардеец тыла! Это как? Зазря?

И Мишка, заново переживая недавние события, с жаром начал рассказывать:

— Понимаешь, мамка, все «за»... И сам Лукашин. Я тебе раньше не сказывал. Я еще весной подавал... Ну, в общем, года, русский язык вспомнили... А тут, понимаешь, как получилось? Я и не просил. Лукашин это вчера подходит. Ну, то, се, насчет работы спрашивает, а потом и говорит: «Ты, Михаил, в комсомоле?» Нет, говорю. «Нехорошо, говорит, такой парень, и в хвосте. Пиши заявление». Ну, раз так, я и написал. Понимаешь, мамка, все только и говорили: заслуживает, заслуживает. А Лукашин — вот человек! Такое про меня говорил — я и сам не знал. Всю жизнь расписал...

— Да, да... — она кивала ему головой, улыбалась и в то же время с тоской разглядывала новую прореху у ворота его рубахи.

— А знаешь, мамка, что я сделал? — еще больше загорячился Мишка. — Татьяну Рудакову на соревнованье вызвал! Думаешь, не побью? Дудочки! Я все заприметил, где она время теряет. Жару такого всыплю — будет всю жизнь помнить Пряслина!

Мишка передохнул и вдруг, наклонившись к матери, таинственно зашептал:

— А потом я знаешь что сделаю! В партию вступлю! — И тут от избытка чувств он подхватил мать под мышки и высоко поднял в воздух. От неожиданности и изумления Анна не могла вымолвить ни слова. А когда она опомнилась. Мишки уже не было. Он бежал по лугу широким, качающимся шагом — в белой рубахе, с непокрытой головой.

— Весь в отца... — прошептала она, всматриваясь в удаляющуюся фигуру сына, и впервые за последние недели будто растаяло у нее что-то в груди.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

У Лизки дел да хлопот полные руки. Шутка ли, домашничать в такой семье! Надо и печь истопить, и с коровой управиться, и ребятишек накормить, и в избе прибрать, и бельишко постирать, — и чего-чего не надо...

Конечно, двенадцатилетняя Лизка многое из этого еще не делает: ее ли руками ворочать чугуны в печи, подымать деревянный подойник? И все-таки в страду весь дом держится на ней. Она с раннего утра до позднего вечера с ребятами и уж с ними-то ведет себя как заправская хозяйка.

— Робятища, — то и дело раздается ее сердитый голосок, — не мешайте вы мне, не путайтесь под ногами. У меня корова не доена, печь не топлена. И что за наказание такое? Без матери шагу не ступят...

«Робятища» — это пятилетний Федюшка да белоголовая, как одуванчик, Татьяна, которые, по правде говоря, совсем не мешают ей, — сидят себе в нескольких шагах от нее да роются в свое удовольствие в горячем песке. Но так уж положено: раз дети, то они непременно должны мешать хозяйке и на них непременно надо покрикивать.

Прибрав свое черепушечное хозяйство, расставленное все в том же углу между крыльцом и стеной избы, Лизка берет веник, подметает сор, потом, приставив к зеленым, острым, как у кошки, глазенкам худые, измазанные в земле руки, смотрит на солнышко.

— О, господи! — хлопает она себя по бедрам, приседая. — Солнышко с полудника повернуло, а у меня и конь не валялся. Придут мужики с пожни голодные, сердитее. Чем кормить буду?

Лизка с еще большим усердием начинает хлопотать вокруг черепков и баночек, время от времени поглядывая на своих «мужиков» — послушных, неразговорчивых мальчуганов Петьку и Гришку; они за дорогой, возле изгороди, ползая на коленях, рвут мокрицу, сооружают игрушечные стога.

Вскоре «мужики» и в самом деле возвращаются домой.

Лизка усаживает их на низенькие чурочки, заменяющие стулья, заводит хозяйственный разговор:

— Как ноне сена-то? Прокормим коровенку?

Потом она достает из «печи» два глиняных колобка, «обжигаясь», сует «мужикам»:

— Съешьте пока по горяченькой, заморите червяка. Харчи-то ноне — сами знаете...

«Мужики», хмурясь, несмело отпихивают глиняные колобки:

— Не-е... Мы по-всамделишному хотим. Дай хлеба.

При слове «хлеб» рыжеватого, веснушчатого Федюшку как ветром поднимает с земли. Он подбегает к Лизке и, шмыгая носом, настороженно и подозрительно смотрит на сестру и братьев: не обошли ли его, не скрыли ли чего-нибудь? Он может есть в любое время суток: разбуди среди ночи — не откажется.

Лизка хорошо знает, что от обеда у них осталась всего-навсего одна постная шаньга. А когда еще вернется с пожни мамка и подоит корову? Солнышко вон где — даже до угла избы Семеновны не дотянуло, а надо, чтобы солнышко в аккурат за крышу двора село. И, как всегда, Лизка оттягивает время еды.

— Ах вы лодыри! — вдруг начинает она кричать на братьев. — Да нешто это страда? Люди днюют и ночуют на пожне, а у нас горе — не мужики. Сиднем сидят дома.

Тут Лизка хватает с чурбака две щербатые крынки, сует их Петьке и Гришке:

— Сбегайте хоть за водой, чем баклуши-то бить.

Те переглядываются, как бы говоря: «Ничего, брат, не поделаешь. Она у нас такая», — и нехотя, опустив головы, идут за водой к грязной кадке соседнего дома.

— А ты чего стоишь как пень? Не знаешь своего дела?

Федюшка, что-то угрюмо лопоча себе под нос, возвращается к Татьянке.

Проходит еще полчаса или час. А дальше терпеть не может и сама Лизка: у нее уже давно урчит в животе.

И вот наступает долгожданная минута. Ребятишки во главе с Лизкой идут в избу. Лизка снимает с пояса ключик, открывает шкаф, в котором хранится последняя шаньга. Делит она, как всегда, на четыре части: самой младшей, Татьянке, еда оставляется на день особо.

Братья с затаенным дыханием, боясь моргнуть, следят за руками Лизки — не обделит ли кого-нибудь? Но глаз у Лизки наметан. И все-таки для большей справедливости она говорит Гришке:

— Ну, сегодня твоя очередь, отворачивайся. Гришка поворачивается спиной к столу.

— Кому? — спрашивает Лизка, указывая ножом на одну из четвертинок.

— Федюшке, — отвечает тот.

Федюшка жадно хватает кусок, загребает крошки.

После еды повеселевшие дети снова играют: сеют лен, ловят шпиона-фашиста, рвут траву в огороде для коровы.

Но проходит час-другой, и Федюшка начинает хныкать:

— Исть хочу. Лизка, дай хлеба...

— Ты опять за свое? Давно ли лопал? Постыдился бы хоть людей, — кивает она на Петьку и Гришку.

Но те, отвернувшись от нее, присоединяются к Федюшке:

— Исть хотим...

— Да нешто вы полоумные? — разводит руками Лизка. — Где хлеб-то видели? Сказывают, в каком-то городе люди всю зиму не ели, с Гитлером воевали, а вы и часу прожить не можете.

Но разве проймешь чем-нибудь этих обжор? Пасти широкие раскрыли да знай горланят одно и то же: хлеба!..

— Ну погодите у меня, — прибегает Лизка к последнему средству, — вот придет Мишка. Он вам покажет. Он вам бока-то прочешет.

В это время где-то совсем близко раздается короткий мык. Все разом смолкают, настороженно прислушиваются. Секунды томительного выжидания. И вдруг вечерний воздух оглашается знакомым раскатистым мычанием.

— Звездоня, Звездоня пришла! — не помня себя, кричит, подпрыгивая, Лизка.

Она хватает из кузова, стоящего у крыльца, клочок свежей травы, сломя голову бежит на дорогу. За ней, тоже с травой в руках, — Петька, Гришка, Федюшка. Даже Татьянка и та приподнимается с земли, начинает неуверенно переставлять свои кривые ножонки.

Черно-пестрая Звездоня только что показалась из-за угла соседнего дома. Она идет медленно и важно, лениво помахивая

длинным хвостом. Весело блестит плянцевитая шерсть на боках.

Навстречу ей тянутся детские ручонки с пучками травы. Из маленьких, трепетно бьющихся сердечек льются самые ласковые и нежные слова, какие скопились там за недолгую жизнь:

— Кормилица ты наша, пришла...

— Голубушка...

— Иди скорейча... Молочка принесла...

— Роднулюшка желанная...

Звездоня, довольная, прибавляет шагу, опять трубит на всю улицу, потом, подойдя к детям, жарко обдаёт их своим утробным дыханием, привычно вытягивает мокрую, молочную морду. Смачно хрустит трава. Лизка и старшие братья, самозабвенно лаская кормилицу, чешут ей возле рогов и за ушами. Маленькая Татьянка, нагнувшись к земле, пытается собирать оброненные травинки. Травинки не захватываются, забавно выпадают из непослушных пальчиков, и она весело смеется.

Растроганная Лизка нараспев поощряет ее:

— Ох ты моя хорошая! Травушку она собирает для Звездони. Собирай, собирай, моя пригожая... Звездонюшка молочка даст...

Но не таков Федюшка, чтобы заниматься этими глупостями. Он жадно, как волчонок, принюхивается к молочному запаху и даже, присев на корточки, засматривает на вымя.

Но вот и Звездоня во дворе. Длинные тени пересекают улицу, а мамки все нет и нет. Ребята уныло и неприкаянно бродят возле избы, с тоской посматривают на солнышко, которое никак не хочет сесть за крышу двора Семеновны.

Потом, не сговариваясь, один за другим присаживаются на ступеньки крыльца.

— Молока хочу, — первым подает голос Федюшка.

— Погоди уже, — слабо возражает Лизка, — придет мамка, подоит...

— А ты позови Семеновну. Она тоже умеет доить, — несмело советуют ей Петька и Гришка.

— А где она, Семеновна-то? Разве кто страдой сидит дома?

— Ну тогда дай хлеба, — снова бормочет Федюшка.

— Да нешто ты не видел? Крошки не осталось.

— А не дашь — скажу мамке, что ты больше нашего съела.

— Я? — Пораженная такой несправедливостью, Лизка едва выговорила: — Когда это?

— Давеча... — не моргнув глазом, отвечает Федюшка.

— Не ври, вруша!.. А хоть бы и больше — что из того? Я тебя на семь годов старше, а руки-то у меня, смотри, какие. А у тебя вон, как у мясника.

Лизка глядит на свои худые грязные ручонки, и вдруг чувство горькой обиды и острой жалости к себе охватывает ее. Худенькие, костлявые плечики ее дрогнули, и она, уткнувшись головой в колени, беспомощно заплакала.

— Я ведь сама еще маленькая... Не останусь больше с вами — ни в жизнь... Что хочет, то пускай делает мамонька. А я скажу: нет уж, родимая мамонька, нажилась я с ними досыта. Лучше пошли ты меня на самую тяжелую работу...

Плача, к Лизке потянулась Татьяна. За ней навзрыд, в один голос, заревели Петька, Гришка и Федюшка.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Надежда Михайловна, а лучше сказать — Наденька, потому что в свои девятнадцать лет — худенькая, смуглая, по-мальчишески стриженная — она больше походила на школьницу, чем на учительницу, медленно поднялась в пекашинскую гору, с тоской поглядела на пустынную песчаную улицу, на немые, будто вымершие дома.

У нее ныли ноги, ломило от жары голову, чуть прикрытую пестрой косынкой, горели опаленные солнцем голые руки, лицо, шея. Морщась от боли, она добралась до бревна, лежавшего у изгороди, села в холодок и начала растирать босые запыленные ноги.

— ...Нет, это ужасно! Опять отказ! И до чего же противный этот предрика! Наорал, как унтер Пришибеев: «Нечего шляться, барышня! Раз уж ты такая охочая до войны, взяла бы грабли да воевала на поже...»

Да и она хороша! Вместо того чтобы все объяснить логично, разревелась, как девчонка: у меня мама у немца...

И в райкоме такие же пришибеевы: «Кто детишек учить будет? Немецких гувернеров выписывать?..» Поговори с такими!..

Наденька Рябинина за год до войны окончила педагогический техникум на Орловщине. Она росла в то время, когда советские люди победоносно наступали на Арктику. Что ни год — новый подвиг изумлял мир. Поход ледокола «Сибиряков», челюскинская эпопея, чкаловский перелет через Северный полюс, дрейфующая льдина папанинцев!..

Дух захватывало у молодежи. По вечерам, сбившись у репродукторов, она жадно вслушивалась в эфир. Тысячи и тысячи мальчишек и девчонок мысленно сопутствовали храбрецам, вступали в поединок с суровой стихией. Географические карты школьников в те годы были исчерчены диковинно смелыми маршрутами новых походов и полетов. В половодье с проплывающих льдин приходилось снимать не одного обмерзшего мальчишку, вообразившего себя папанинцем или челюскинцем.

У Наденьки Рябининой были особые счеты со страной белого безмолвия. С детства в ее душу запали рассказы матери о молодом смельчаке дяде, который трагически погиб, участвуя в экспедиции Седова. И все-таки для всех было полной неожиданностью, когда эта тихоня, как называли ее в техникуме, на распределении упрямо заявила: «Направьте на Новую Землю».

Скромный педтехникум на Орловщине не был уполномочен подбирать кадры для Арктики, и все, что он мог сделать, — предоставить Наденьку самой себе.

Мать, старая учительница из маленького городка, привыкшая все оценивать в философическом свете, решила: «Это в ней кровь заговорила», — погоревала, поплакала — и стала собирать свою «черноглазую Арктику» в дальнюю дорогу. И вот в августе того же года семнадцатилетняя девушка с Орловщины на свой страх и риск отправилась в Архангельск.

Свирепое дыхание Севера она ощутила, едва переступила порог облоно. «Романтика», — сказали там. К тому же, как выяснилось, рейса на Новую Землю не предвиделось до лета следующего года. Что было делать? Возвращаться домой, чтобы ребята на смех подняли? Наденька взяла направление в Верхнепинежье один из самых глухих районов области.

В облоно, где всегда ощущали нехватку учителей, не поскупились на краски, расписывая тамошние края. Выходило так, что там и медведи запросто по деревне ходят, и люди передвигаются не иначе как на оленях и собаках.

На деле все оказалось куда как проще. Пекашино, в которое попала Наденька, было самым обыкновенным селом, мало чем отличавшимся от сел средней полосы. Медведи по улицам не ходили, оленей и в помине не было, а низкорослая северная кляча, на которой Наденька тряслась в Пекашино из райцентра, едва ли заслуживала предпочтения перед орловским рысаком. Впрочем, Наденька мужественно выдержала и этот удар. По крайней мере все ближе к Новой Земле! А через год — она в этом не сомневалась — добьется своего. Если надо, весь Архангельск на ноги поднимет, до самого ЦК дойдет.

Зимними вечерами, когда от мороза потрескивали бревенчатые стены школьного здания, она выбегала на улицу и сквозь

заиндевевшие ресницы подолгу смотрела на северное сияние. Там, за полыхающими серебряными столбами, чудился ей сказочный остров — Новая Земля.

В воскресное июньское утро все рухнуло. А вскоре от матери перестали приходить письма, и ко всем горестям, которые принесла война, прибавилась еще одна — страх за мать.

Зимой сорок второго года, когда стали собирать теплые вещи для бойцов, она, в последний раз оплакав свои несбывшиеся мечты, сдала меховые рукавицы. Потом, прочитав в газете о подвиге юной партизанки Тани, решила: место ее на фронте. Кем угодно — только на фронт! И вот пять раз ходила она в райцентр, обращалась в райисполком, райком комсомола, райком партии — и все напрасно...

Сидя в холодке, Наденька припоминала сегодняшний разговор в райисполкоме и райкоме, мысленно не соглашалась, спорила. Неужели нельзя понять? Ведь не куда-нибудь — на фронт просится!

На дороге показались две колхозницы с граблями на плечах. Высокую, полную старуху она не знала, а эту, помоложе, светлолицую, в сером сарафане с нашивками, где-то видела. Ну да, вспомнила: сын ее, Сеня Яковлев, беленький мальчик, за первой партой сидел.

Поравнявшись с Наденькой, колхозницы молча, кивком головы, поздоровались. Она проводила их глазами. Далеко под горой в знойном мареве июльского дня серебром вспыхивали металлические зубья конных граблей, медленно двигались по лугу белые платки.

— Учительница-то наша на войну собирается, — услышала она голос Сениной матери.

Наденька насторожилась.

— Как же, — ответила старуха, — девка в самом соку — к парням норовит...

— Поворочала бы сена с нами, прыти-то небось поубавилось бы, — захохотала Сенина мать.

Кровь бросилась ей в лицо. Наденька резко вскочила, пошла, прихрамывая, по деревенской улице. У школы она опять присела. Одна мысль, что она сейчас войдет в свою пустую комнату, — одна эта мысль привела ее в ужас...

Жара все еще не спадала. Кругом тишина и безлюдье — хоть вешайся.

..И почему, почему ее никто не хочет понять? «К парням норовит»! Как не стыдно так выражаться, а еще старая женщина! А эта — Сенина мать? Зимой проходу не давала: «Уж вытяни ты моего-то, Надежда Михайловна. Отец на войне, ради отца прошу...» А теперь вот какие слова! А что она сделала председательнице? Смотрит на нее как на блаженненькую... И Настя — подружка, нечего сказать. Завела про белого бычка: работай в колхозе. А вот если у тебя мать у немцев?

Невыносимая тоска и отчаянье сдавили ее сердце. Она поднялась, посмотрела на песчаную, зноем пышущую улицу и бесцельно, опустив голову, побрела по деревне.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Наденька еще издали услышала плач, а когда она, перепуганная, подбежала к крыльцу Пряслиных, увидела там целый выводок ребятишек. Грязные, со взъерошенными разномастными головами, они, как в непогоду, по-воробыному жались друг к другу и горько и безутешно плакали.

— Что же вы плачете? Вас кто-нибудь обидел? Лиза, где мама?

— На по-ожне... — захлебываясь слезами, отвечала Лизка.

— Так чего вы плачете?

— Федюшка говорит, я хлеб съела... А я ни капельки не съела...

И корова не доена... А они еще глупые... — кивнула Лизка на ребят, — не понимают, что война на свете и мамка на работе... — И Лизка еще пуще разрыдалась.

Наденька беспомощно присела на корточки.

Молча, расширенными глазами она смотрела на этого худенького, вздрагивающего от рыданий ребенка, который рассуждал, как взрослый человек, немало повидавший на своем веку. И, может быть, только сейчас, в эту самую минуту, когда война плянула на нее вот этими скорбными, страдающими глазами ребенка, Наденька почувствовала весь ужас и безмерность страданий и горя, которые принесла война.

— Ну не надо, не надо, хорошие, — спохватившись, заговорила она. — Скоро мама придет...

Но дети не унимались.

Наденька в отчаянии оглянулась по сторонам и вдруг выпрямилась, топнула ногой:

— А ну, перестать плакать!

Ребятишки, всхлипывая, изумленно уставились на нее.

— И чего вы разревелись? Ты-то, Лиза, ай-яй-яй! Пионерка еще! И не стыдно тебе? Это ведь этакой коротыге да этому сердитому рыжику, — она потрепала по голове Татьянку и Федюшку, — разрешается немножко поплакать, и то не каждый день.

— И вовсе я не рыжик, уклоняясь от ласки, проворчал Федюшка, — на рыжих-то воду возят.

Наденька, настраиваясь на обычный разговор взрослого с ребенком, заулыбалась:

— Ну хорошо, хорошо — не рыжик. А что же мы с тобой делать будем?

— А ты принеси нам хлеба, — выпалил Федюшка.

— Замолчи ты, попрошайка! — прикрикнула на него Лизка — Я вот тебе, скажу мамке... Вы не слушайте его. Надежда Михайловна. Он у нас такой надоедливый никого не слушает.

Хлеба!. Да, чего бы проще — принести этим голодным детишкам по куску хлеба, по куску обыкновенного хлеба. Но где взять этот хлеб? У нее самой забрано на целую неделю вперед.

Она сделала вид, будто, задумавшись, не слышала ни Федюшкиных, ни Лизкиных слов.

— А ты бы позвала какую старуху, Лиза. Подоила бы...

— Да ведь старухи-то еще на пожне, — не без раздражения ответила Лизка. Вздохнув, она добавила. — Я бы и сама подоила, не хитро дело — тяни да тяни за титьку. Да у меня ноги маленькие, подойник не захватить.

Наденька задумалась, — ей так хотелось что-нибудь сделать для этих детей!

— А знаешь что, Лиза? Давай доить вместе... а? Вдвоем.

Лизка скептически покачала головой:

— Что вы, Надежда Михайловна... в грязи да в навозе вымажетесь.

— Ничего, ничего!.. Ты только мне рассказывай, что и как...

То ли передалось Лизке возбуждение учительницы, которой она привыкла во всем безраздельно верить и подчиняться, то ли подхлестнули косые, недовольные взгляды братьев, только Лизка начала сдаваться.

— Звездонюшка-то у нас бы смирнехонька... да уж не знаю как...

— Да идем же, идем! — торопила ее Наденька.

И вот уже в хозяйкином переднике, платке (его посоветовала надеть Лизка. «Мамка завсегда в платке»), подол подоткнут за пояс, в руках деревянный подойник. Впереди мелькают голые Лизкины пятки, сзади, табунком, — ребята. Из распахнутых ворот двора резко ударяет запахом навоза, где-то в темноте натруженно пыхтит корова.

— Уже погодьте немножко, — тихо говорит Лизка. — Я подгоню ее к свету.

Она, как ящерица, юркает в темноту двора, и через минуту Звездоня, тяжело переставляя ноги, окруженная тучей навозных мух, подходит к воротам, принюхиваясь, пучит на незнакомку огромный лиловый глаз.

Наденька невольно жметса к косяку ворот.

— Да вы не бойтесь, Надежда Михайловна. Она у нас — не смотрите, что рога, — как овечушка, смирная.

Лизка подносит траву в кошелке, подставляет к задним ногам коровы низенькую скамеечку:

— Ну вот, теперь вы сядьте на скамеечку-то, а я буду чесать ей за ушами. Она у нас любит, когда чешут.

Наденька, подавляя в себе робость и неуверенность, шагнула вперед. Под босыми ногами хлюпнула навозная жижа. Корова, опустив голову в кузов, аппетитно жует траву; качаются рога — крутые, темные. А вдруг она пырнет этими рожищами? Сзади, в простенке ворот, сгрудились выжидающие дети. И, словно подталкиваемая их угрюмыми, недовольными взглядами, она опять шагнула вперед. Вот и скамеечка. Корова по-прежнему стоит как вкопанная.

— Забыла я... надо вымя протереть.

В ту же минуту Лизка ныряет с тряпичей под вымя коровы, потом снова идет нежить свою Звездоню.

Наденька оробело садится на скамеечку, ставит меж колен подойник. Это она запомнила. А дальше что?..

У самого ее лица — огромный, то вздымающийся, то опускающийся коровий живот. В утробе что-то ворочается, урчит, как в кипящем котле. Жарко. Наденька легонько дотрагивается руками до вымени, гладит. Ничего, Звездоня стоит.

— Сели? — спрашивает Лизка.

— Ага...

— Ну теперь только дергайте за титьки. Эдака хитрость!

Жуткая тишина. Наденька слышит, как учащенно дышат у порога детишки, замерла Лизка, даже Звездоня как-то притихла, — все ждут веселого звона первой струи.

Она осторожно нащупывает соски. Прохладные, скользкие. Но пальцы вдруг стали непослушными, никак не могут захватить сосок.

— Ну-ко, я вам помогу. А ты, Звездоня, смотри у меня — не рыпайся, стой на месте.

Наденька чувствует, как шершавые пальцы девочки проворно забегали по вымени. Вот они ухватились за ее пальцы, уверенно зажимают их вокруг соска.

— Тяните, тяните вниз, — шепчет Лизка.

В ту же секунду теплая, тугая струя со звоном брызнула в подойник. Запахло молоком.

И пошло, и пошло.

«Дзынь, дзынь...» — весело выговаривает в подойнике.

И ничего страшного! Чудачка она — еще боялась. С чего это станет бодаться корова? Ей же, наоборот, приятно. Естественный процесс!

Вкусно обдаёт парным молоком, лицо разгорелось, а пальцам — тепло-тепло... Ах, как славно, как хорошо!

Корова дернулась, повела рогами... Наденька съежилась.

— Чего ты, плупая, стой! — вразумляет Звездоню Лизка.

Через минуту, когда все опять наладилось, Наденьке хотелось крикнуть: «Не косись, не боюсь — вот нисколечко не боюсь!..» Белая шапка в подойнике растёт, как дрожжи. Вот она уже приближается к рожку. «Хорошая коровушка», — думает Наденька.

— Скоро ле? — сердитый голос с порога.

Это, конечно, тот — рыжик. Измучился, бедняжка.

— Скоро, скоро, любеюшко, — отвечает за нее Лизка.

Какая она добрая, эта Лиза! Давно ли еще плакала из-за этого самого «любеюшка»... Наденька как бы заново видела сейчас эту худенькую, в изношенном, полинялом платье девочку. Ей бы в куклы играть, а она стоит где-то в темном навозном углу, безропотно и терпеливо обхаживает корову... Да, да, вот что она сделает... Серую кофточку ей отдаст, и то голубое платье тоже отдаст, и пояс можно с бантом. Вот обрадуется!

Мягко шипит, пенится под руками молоко. И вместе с ним какая-то тихая, убаюкивающая радость поднялась в душе Наденьки. Она любила сейчас и этих ребятишек, которым она даст молока, и самое себя, такую добрую и отзывчивую, и эту корову, которая понимает, как

надо вести себя с незнакомым человеком. В эти минуты Наденька готова была забыть все обиды, причиненные ей в райцентре, и даже те постыдные, жестокие слова, которые она подслушала давеча в разговоре двух колхозниц.

— Теперича труднее будет... — откуда-то издалека доносится глухой Лизкин голосок. — Дак вы тяните, не бойтесь... А то можно и не продаивать. Мамка продоит.

— Знаю, знаю... — самоуверенно говорит Наденька.

Вот только бы левую ногу подвинуть. Совсем занемела — подойник давит. Немножко бы поправить, приподнять его... Она приподнимает за край подойник, тянет на себя... Руки скользнули... И Наденька с ужасом почувствовала, что опрокидывается. Голова ударилась о что-то мягкое, теплое... Крик от порога... Не помня себя, она вскочила на ноги. В глазах закачалось огромное деревянное днище... Белая лужа... Она рванула подойник на себя, заглянула в него. Пусто...

Где-то слева звонкое хлопанье:

— Вот тебе, вот тебе, окаянная...

Она поднялась было на корточки, но опять села.

— Она не ударила вас. Надежда Михайловна? — и вдруг голос Лизкин замер.

— Молоко-то наше... — охнула Лизка.

Наденьке страшно было взглянуть в лицо девочки.

— Ничего, ничего, Лиза, — заговорила она шепотом. — Я сейчас вот... сейчас достану...

Она встала, схватила подойник и, отвернув лицо от рыдающих, прижавшихся к косяку ворот малышей, выбежала со двора. У калитки, срывая трясущимися руками крючок, она увидела свои грязные, перепачканные навозом руки. Она поставила подойник на землю, стала вытирать их о передник. Ноги, подол платья — тоже в навозе... Надо воротиться, вымыться. Но детский плач словно кнутом стегнул ее. Она опять схватила подойник и побежала к соседнему дому. Заперто. Кинулась ко второму — заперто. У третьего, возле крыльца, на завалинке, она увидела худущую старуху, гревшуюся на вечернем солнышке.

— Бабушка, милая, — взмолилась Наденька, — выручи, продай молока.

Старуха удивленно вскинула на нее подслеповатые глаза:

— Что ты, родимушка, какое у бабушки молочко! Не удержали буренушку зимусь продали. Сам-то бывало, в лесу подкашивал, а сам со двора — и буренка со двора... Да ты чья будешь? Ничего не вижу, а по говоре будто незнакомая...

— Учительница здешняя.

— О, вишь ты... — понимающе кивнула старуха. — Нашего Митьку-сорванца учишь. А что, казенного-то не хватает, прикупаешь?

— Да я не себе, бабушка... А у кого тут можно купить?

— Да уж не знаю, голубушка, — вздохнула старуха — Матрена да Марфа с коровами у сена... А тут бы в тех домах, — указала она черной, костлявой рукой, — есть коровушка, да они сами вприглядку едят: тремя домами одну держат...

Наденька медленно вышла на дорогу, повернула обратно. Но, пройдя несколько шагов, она остановилась. Что же скажет она голодным ребятишкам? Как взглянет им в глаза? А вдруг пришла мать? Нет, нет! Всю деревню обойти, а найти! На общий двор сходить!

И она, спотыкаясь, снова побежала от дома к дому.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Анфиса, прочитав сводку, пытливо взглянула в распухшее от комариных укусов лицо Парасковьи:

— Что-то немного наставили.

— При нашем-то совете не больно разойдешься.

— Чего опять не поделили? Траву?

— А вот как есть траву. Что же это такое, Анфиса Петровна? Мы с утра на общем убиваемся, а он — в кусты... — Парасковья опасливо оглянулась кругом, вплотную придвинулась к председательскому столу. — Бригадир из веры вышел. Первые два дня покосил с нами, — ничего, а потом, говорит, ревматизма скрутила. Ну скрутила и скрутила. С кем не бывает? Отлеживайся в избе. Только у него ревматизма-то не как у других. Позавчера это я утром брусок забыла пришлось вернуться с пожни. По дороге еще куст смородины красной сорвала. Думаю, старику хоть утеха. Какое там! Прибежала к избе, смотрю, а его шляпа промеж кустов качается, и коса на плече. На, господи, куда он с косой?.. А он лесок прошел — знаешь, за избой ручьевина, Степана Андреяновича раньше была, да ну махать косой. Смотрю, а там уже и стожок стоит. Вот какая у него ревматизма!

На другой день Анфиса верхом на смирной кобылке отправилась в Росохи. Дорога туда — не приведи бог: суземная, тяжелая. В Пекашине так и говорят: «Кто в Росохах не бывал — тот и ада не видал». Летом в Росохи можно проехать только верхом да на легких еловых санях-волокушах, которые специально делают для завоза хлеба и харчей. Лошадь всю дорогу бредет по колено в грязи, натужно и с громким хлопанием переставляя ноги, жалит лесной гнус. Это в сухую страду. А в дождливое лето — прямо беда. Болотная дорога раскисает, как кисель. Лошадь постоянно проваливается в невидимые колодцы, всплывает на водянистых радах, которые разливаются в целые озера. А если еще пройдет бурелом — перекрестит, закидает дорогу валежником, — хоть помирай: ни прямо проехать, ни в сторону свернуть.

В этом году погода стояла сухая, сенокосная. Местами даже — особенно по старым, годами не кошенным травникам — ехать было

приятно. Но на душе у Анфисы было тягостно. Этот Кротик вымотал ей душу. Давно ли она председателем, а недели не проходит, чтобы не скрестилась с ним... Чужало у нее сердце неспроста просится на пожню... А вести, вести с фронта! — как только людям сказать...

Председатель сельсовета, недавно вернувшийся с войны инвалид, пришел в ярость, когда она спросила, какая нынче сводка:

— Все сводку да сводку! Выдумаю я ее, что ли?.. Потом, немного успокоившись, махнул рукой:

— Прет проклятый...

На Росохи она выехала к вечеру.

Вид избушки, мелькнувшей вдаль на косогоре меж кустов, взволновал ее до слез. Сколько лет она здесь не бывала? Лет двадцать, наверное. Ну да, последний раз тут была еще девушкой.

Измученная, заляпанная грязью кобыла, почувствовав близость жилья, встряхнулась, замотала головой. Анфиса ехала некошеной пожней, — трава билась ей в колени. Она поглядывала по сторонам, присматривалась к знакомым местам и с трудом узнавала их. Куста-то, куста-то сколько — все пожни затянуло. А избушка — осела, скособочилась. У Калинкина родничка она призадержала лошадь, вздохнула. Бывало, сюда в жару за ключевой водой бегали. А теперь ни тропочки, ни самого родничка. Ольшаник да ивняк в небо упираются.

У избы, на варнице, меж двух плотно приваленных друг к другу сушин, тлел дымок, — за недостатком спичек огонь поддерживали круглые сутки. На деревянных крюках — черные, продымленные котелки, чайники; на столе, сколоченном из толстых плах, — посуда, ложки, берестяные туески.

С трудом расправляя занемевшие ноги, Анфиса разнуздала кобылу, вытерла ее травой и, стреножив, пустила на волю. Потом постояла, поглядела еще вокруг и пошла к людям.

Тропинка от избы сразу же спускается к речонке, наглухо заросшей кустарником, затем, часто пересекая ее, петляет мысами да иссадами — низкой заливной бережиной. Анфиса шла свежевыкошенными пожнями, подсчитывала стожки, еще не успевшие почернеть снаружи, часто запускала в них руку, проверяла сено на нюх. И по мере того как она продвигалась вперед по душистым пожням, все отчетливее и отчетливее становилось

вжиканье и перезвон кос. Скоро, перейдя вброд речку и раздвинув кусты, она увидела и самих косцов.

Впереди, отваливая покосище, без шапки, без пояса, с выпущенной рубахой, спокойно и деловито вышагивал Софрон Игнатьевич, за ним со всего плеча рубила Марфа Репишная, за ней, играючи, вприпляску, шла Варвара в белом переднике, за Варварой Дарья, Аграфена.

Захваченная зрелищем дружной работы, Анфиса не выдержала, вся подалась вперед:

— Э-гей!..

И только тут, заново окидывая пожню радостными, широко разбежавшимися глазами, она заметила Федора Капитоновича. Предусмотрительно облачившись в белый холстяной накомарник, Федор Капитонович мелкими шажками семенил по краю пожни возле кустов, замерял двухметровкой скошенную площадь.

У Анфисы неприятно кольнуло в сердце, но женщины, завидев ее, уже подняли крик на всю пожню:

— Женки, кто приехал-то!

— Да ведь это Анфиса! Анфиса наша!.. — и, побросав косы, побежали ей навстречу.

Марфа на ходу, не здороваясь, забасила:

— Что на фронте деется?

У Анфисы сразу пропала всякая радость от встречи.

— Воют...

— Знаем, что не овец пасут. Как воют?

— Все по-старому...

— Отступают? Куда же дальше? Ведь и у России край есть! — И Марфа круто повернула назад.

— Ты хоть бы о доме своем спросила! — крикнула вдогонку ей Анфиса.

Марфа обернулась, свирепо сдвинула брови:

— Небось стоит? Не улетел? — Она схватила косу и, поплевав на руки, с ожесточением, с шумом врезалась в траву.

— Экая сумасшедшая, — укоризненно покачала головой Варвара. — Вот завсегда так: наорет, накричит. Нет чтобы ладком, как люди... Разве Анфисы вина, что немец наступает?.. Ничего! —

подмигнула она, усмехаясь. — Это она по первости так, а злость сорвет — хоть гужи из нее тyani.

Анфиса стала раздавать письма.

Варвара, принимая письмо, вся обомлела от радости, начала вытирать руки о передник, потом, развернув письмо и прочитав первые строчки, поглядела на всех влажными счастливыми глазами:

— Бабоньки, Тереша-то мой... Опять наградили... Ну Терентий Васильевич приедет — не узнать, возгордится, куда и посадить...

— Нету нам нынче ни от которого? — крепясь, спросила Дарья.

А в сторонке худая, бледная Павла, не спрашивая, горько и безнадежно заплакала:

— Господи, с ума сойду. Как ушел — ни слуху ни духу. Да что же это такое?..

Меж тем подошли Софрон Игнатьевич, Федор Капитонович и сзади всех, тяжело дыша, — Марфа.

Присели тут же на подсыхающую кошеницу.

— Ну что там на белом свете? Рассказывай, — не глядя ни на кого, но уже примиряюще буркнула Марфа.

— Да, да... все расскажи, Анфисьюшка. Как есть расскажи, без утайки, взмолилась Аграфена. — Мы ведь здесь что в тюрьме. Кругом лес да лес, света белого не видим. Я ночью-то не один раз встану, выйду из избы, в домашнюю-то сторону гляну, прислушаюсь. Думаю, уж не стреляет ли где. Может, думаю, немец и к нам припер... Вот ведь до чего дошла.

— Не плети чего не надо! — оборвала ее Анфиса. — С ума сходишь! На краю земли живем — какой у нас немец?

Некрасивое, угловатое лицо Аграфены просияло:

— Наругай меня, Анфиса! Пуще, пуще наругай! Блажь хоть в голову не полезет.

Анфиса, как умела, рассказала про фронтовые и домашние новости, потом, окинув всех строгим взглядом, сказала:

— Ну теперь сказывайте вы, работнички дорогие.

Никто не говорил. Сидели понутив головы, молчали.

— Что же, так и будем в молчанку играть? — снова спросила Анфиса.

— Ты его спрашивай, — кивнула Марфа в сторону бригадира. — Чего к нам пристала?

Федор Капитонович, давно уже искоса присматриваясь к председателю, решил: «Знает», — и пошел напролом:

— Беда с нашим братом. Ладу нету, кусок изо рта рвем...

Ему не дали договорить:

— Это у тебя-то кусок изо рта рвем?

— Вырвешь, как бы не так, зубы сперва обломаешь!

— Двенадцатый год колхоз потрошишь, — видим, не слепые!

— Да что же это, Анфиса: мы тут убиваемся, а он об корове своей...

— Да уж так: для кого война, а для кого мошна! Кричали, препирались еще долго, а потом женки в один голос: замену давай!

— Ну, раз так... — сказала Анфиса, — снимать будем.

Федор Капитонович приготовился было ко всему, но этого все же не ожидал. С секунду он сидел как громом пораженный, потом вскочил на ноги, заметался, замахал руками:

— Это меня-то снимать? Ты меня ставила? С первого дня колхозной жизни... Про меня в газетах печатали... премии давали... Да за такое дело... Ты с весны на меня зуб держишь — союзки забыть не можешь...

Анфиса, бледнея, оглядела его снизу доверху.

— Да русский ли ты человек? — еле слышно прошептала она.

— Я в район поеду, я покажу, как над стариком измываться...

И Федор Капитонович, с неожиданной для него резвостью, побежал к избе.

После ужина Софрон Игнатьевич, уловив удобную минуту, подал Анфисе знак: отойдем в сторону.

Росистой тропинкой прошли к речке, присели на сухую валежину. Софрон Игнатьевич отломил ветку, подал Анфисе: отмахивайся, мол, от мошкары. Затем, нагнувшись, стал свертывать сигарку, потом долго выбивал кресалом огонь.

— Ты это зря, Петровна, — заговорил он наконец глухо, — зря все затеяла.

Анфиса ждала.

Софрон Игнатьевич жадно затянулся несколько раз подряд, резко отбросил сигарку, рассыпавшуюся искрами:

— Зря, говорю, в бригадиры назначила... — Подумав, он круто повернулся к ней лицом: — Знаешь, кто я?

— Ты что-то сегодня загадками. Слава богу, век живем...

— Я не про то... В общем, так... в белых год служил... слыхала?

С заросшего седой колючей щетиной лица на нее в упор, не мигая, смотрели усталые, измученные глаза.

— Смотри, чтоб худа не было... пока не поздно. — Софрон Игнатьевич отвернулся. — Так-то один раз в лесу назначили меня групповодом... Знаешь, что было? Секретаря ячейки чуть из партии не вышибли... А сейчас, сама знаешь, война...

Долго молчали. Над потемневшим лесом всходил бледный месяц, в кустах за рекой отфыркивалась лошадь.

— Мало ли чего когда было, — сказала Анфиса.

— А все-таки ты подумай... худа не хочу...

— Ладно, я в ответе буду, — сказала, вставая, Анфиса.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Пока ставили сено по дальним речкам, под горой, на домашнем хлопотали Степан Андреянович да Настя.

Сначала было руки опускались: нет народа. Во всем наволоке с утра до вечера топтались несколько женчонок. А тут, как на грех, еще поломалась косилка. Пришлось вызвать с Синельги Мишку Пряслина, — тот за несколько дней на своей машине исколесил целые версты.

На гребь вывели всех поголовно — старых и малых. Древнюю старуху Еремеевну, которая уже и счет годам потеряла, привезли на телеге далеко ходить она не могла, а грабли в руках еще держались.

В двадцатых числах июля Степану Андреяновичу и Насте подкатило неожиданное счастье. Ночью из Росох выехала группа Софрона Игнатьевича и на следующее утро, не ожидая распоряжений правления, вся целиком вышла на домашнее.

Под горой сталолюдно, как до войны. Правда, иного работничка надо под ногами разглядывать, — того и гляди, загребешь вместе с сеном, но зато было весело и шумно. Женщины — кто помоложе — принарядились: так уж истари повелось, что, когда убирали домашнее, одевались как о празднике.

Работали без «перекура» — торопились. С самого утра начало молодить-перекрывать тучками, в воздухе стояла духота, парило. Над головами низко носились стрижи, и ребятишки с криком, постоянно вскидывая кверху грабли, пытались их подшибить. Женщины, мокрые, потные, подхлестываемые угрозой дождя, бегали от сеновала к сеновалу, на ходу подхватывали охапки, укладывали в копны. Матери, если под руку попадался зазевавшийся малец, между делом давали подзатыльника, назидательно приговаривая: «Не считай ворон, не маленький».

И все таки убрать всю луговину не удалось. Из накатившейся тучки хлобыстнуло, как градом.

Стребальщики — и малый и старый — сыпанули кто куда: кто забрался под копну, кто нашел пристанище под кустами. Марфа Репишная, моложавая Дарья, Варвара и еще несколько женок,

прикрывая головы платами, кинулись к ближайшему зароду — высокому стогу длинной кладки. Запыхавшаяся Марфа, добежав до развороченной копны, придвинутой к самому зароду, свалилась замертво. Остальные, вытирая мокрые лица, отряхиваясь, выгребая труху из-за ворота, стали пристраиваться возле нее. Старая Василиса, перед тем как сесть, перекрестилась, умиленно сказала:

— Дождик грибной. Может, хоть гриба бог даст. Одна Варвара не спешила забиться в сенную духоту. Она стояла под дождем, закинув кверху мокрое, по-детски счастливое лицо, и блаженно потягивалась разгоряченным телом.

— Женки, женки! Любо-то как... — взвизгивала она от удовольствия. — Я как росой умоюсь... Смотрите-ко, смотрите! — вдруг с изумлением зашептала она, приседая и шлепая себя по мокрым бедрам. — Бригадир-то наш... Не наробился...

Возле соседнего зарода, саженьх в ста от женщин, дометывая копну, орудовал вилами Степан Андреянович — без шапки, рубаха без пояса. Огромные, раскосмаченные охапки сена то и дело взлетали кверху. Мишка Пряслин, Настя и Наденька, которая уже неделю не расставалась с граблями, вьюном кружились вокруг него, загребали остатки.

— Эй, бригадир, на перекур! — закричала Варвара.

— Захотела чего, Степана не знаешь! — проворчала, приподнявшись, Марфа и снова завалилась в сено.

— Знамо, Степонька, — с уважением сказала Василиса. — О прошлом годе попросила берестяной коробки — на крыльце висит. Дай, говорю, Макаровна, по ягоды сходить. «Нет, говорит, не дам этой коробки». Жалко, говорю? «Нет, говорит, я в этой коробке сына родила». Как, говорю, в коробке? «А так, говорит, с пожни шла да на болоте за домами и родила. В этой самой коробке и домой принесла».

— Беда какая! — удивилась Дарья. — Сам до упаду робил и жену хотел в гроб вколотить.

— Дак ведь, Дарьюшка, — живо вступилась за Степана Андреяновича Василиса, — слыхала, с чего житье-то его начиналось? Не с родителей капиталов пошел.

Варвара, краем уха прислушиваясь к разговору, поморщилась: ну, теперь разведут скучищу... Выгибаясь, она расправила плечи, так что косточки хрустнули, и, игриво притопывая ногой, запела:

Мужичка бы нам подали
Вот тогда б мы зажили...

— Варуха, бес, — сонно заворчала Марфа, — опять тебя затрясло...

Благочестивая Василиса встала, строго поджала постные губы:

— Срамница... пятница сегодня — нет того, чтобы о божественном... — И, тяжело переставляя свои старые ноги, на ходу крестясь, пошла на другой конец зарода.

Варвара с пресерьезным видом поклонилась ей, как послушница игуменье, и первая прыснула со смеху. Женки заворочались, заулыбались. Марфа, сердитая, злая (не дала, змея, соснуть), резко поднялась, села:

— Ох, Варуха, Варуха... И чего в тебе мужики нашли — всю жизнь липнут. Баба как баба. Только что на месте усидеть не можешь — тебя как чирей всю жизнь точит.

— Хлеб один, да вкус не один, Марфинька, — под одобрительный смешок ответила Варвара.

— Иди ты со своим хлебом...

— Я, Марфинька, знаешь какая? — не уступала Варвара. — Захочу — сам леший захохочет. Не веришь?

Она шагнула к Марфе и вдруг со смехом, дурачась, набросилась на нее, опрокинула навзничь.

— Куча, куча мала!.. — заголосили женки. Марфа, барахтаясь в сене, скинула с себя Варвару, села на нее верхом и, тяжело дыша, побагровевшая, пристыженная, начала отвешивать ей по мягкому месту.

Варвара придушенно визжала, извиваясь под Марфой, сучила ногами.

— Варка, Варка, бесстыдница... — упрашивала, трясась от смеха, Дарья. — Не заголяй ноги — старика моего перепугаешь.

Наконец Марфа, отведав свою душеньку, отпустила ее. Та легко встала, начала ощупывать бока.

— Ну как, довольна? — ухмыльнулась Марфа.

— Еще как довольна-то, Марфа Павловна! Меня так-то ни один мужик не обнимывал. Марфушка! — воскликнула Варвара, снова

подступая к ней: — И почто бог из тебя мужика не сделал?

Марфа с неподдельным ужасом замахала руками:

— Бог надо мной сжалился. Не то бы ты с шеи с моей не слезала.

— А я и так не слезу.

И Варвара ухватила Марфу за шею, прижалась к ней мокрым телом. Та лениво и нехотя оттолкнула ее и, брезгливо скривив губы, с усталостью сказала:

— Отстань, смола... Я весь век об этом не думала, а теперь поздно.

Она задумалась, мрачно сдвинула брови:

— Мне бы конца войны дожидаться да с белым хлебом чаю напиться... Досыта! — добавила она с ожесточением.

В наступившей тишине кто-то вздохнул:

— Хоть бы со ржаным...

— Нет, с белым! — упрямо повторила Марфа и таким взглядом поглядела на женок, точно готова была разорвать каждого, кто осмелился бы лишить ее этой надежды.

И те согласно закивали:

— С белым, с белым, Марфинька...

— Варка, Варка, — дернула Варвару за подол Дарья. — О мужике горевала идет...

Женки с любопытством начали вытягивать шеи: какой еще подвох придумала Дарья. А когда слева от своего зарода увидели идущего по лугу Николашу Семьина, добродушно заусмехались:

— Вот как, вот как вышагивает!

— Головушку-то как петух несет.

— Еще бы экой кусок урвал.

— Что она и нашла-то в нем? Всю жизнь в кузнице, а кроме замка да ведра...

Николаша с полным пренебрежением к дождю, который давно уже потерял свою первоначальную ярость, шел неторопливо, — прямо напоказ, — голова склонена набок, мокрые хромовые сапоги блестят за версту, а из-под короткого пиджака, небрежно накинутого на тощие плечи, щегольски выпущена длинная белая рубаха, пестро расшитая по подолу. Он, конечно, знал, что на него смотрят, и старался, что называется, не ударить лицом в грязь.

— Женишок! Приворачивай на перепутье! — дружно, на разные голоса закричали женки.

Николаша развел руками, показал на кожаную сумку: некогда, мол, по машинной части спешу, но когда женки снова закричали, снизошел — повернул к зароду.

Дарья, едва он приблизился, скаля белые зубы, выпалила:

— Про тебя, Миколай, говорим. Дивимся, как ты эдаку девку улестил.

Николаша, пытаясь скрыть довольную улыбку, тоном опытного человека ответил:

— Любовь — дело известное...

— Верно, верно, Колька, — подмигнула ему Варвара, — любовь не картошка.

— А у тебя, Миколай, губа не дура: знаешь, чье поле топтать. Небось на наш картофельник не позарился, на служащую потянуло.

— Да и он не у пня стоит — мастеровой. Видишь, сумочку какую завел.

— Портфель это, глупая, — не знаешь.

Николаша стоял, переминаясь с ноги на ногу, повертывал то туда, то сюда мокрою, в жидких косицах голову и был рад-радешенек. Он все принимал за чистую монету.

— Свадьбу играть будете але как? — допытывались женки.

— Свадьбу? Они свадьбу-то который месяц играют. Верно, Миколай?

— Ну народ, попадешь на ваши зубы... — покрутил головой Николаша, сдерживая довольную улыбку, и хотя он мог бы пробыть на таких зубах сколько угодно, он все же решил не терять своего достоинства; перекинул на другое плечо сумку с брякнувшим инструментом и, выпрямившись, зашагал по назначению.

Женки, провожая его глазами, снова принялись перемывать косточки.

— Выбрала Олена муженька. А нос-то задирала, форсу то сколько было...

— А чего? За эдаким еще лучше. Под башмаком держать будет.

— Да ведь он супротив ее...

— Ничего, — трезво рассудила тощая чернявая бабенка, — пойдут робятища соки-то повысосут. Я, бывало, в кожу не

помещалась, а сейчас, вишь, шкилет один.

— И что это за наказание такое нашему брату? — разжалобилась ее соседка. В муках рожает, день и ночь трясешься над ними, а вырастишь — сердцем изойдешь. А на войну угонят — о, горюшко! Как подумаешь иной раз — зверю последнему позавидуешь.

— Не ты первая позавидовала, — живо перебила ее моложавая Дарья. Слыхала, как бабы справедливости искали? — Она насмешливо, но с опаской покосила глаз на Марфу.

— Ну? — заерзала Варвара.

— Как же! — усмехнулась Дарья. — Было делов. По всей земле взбунтовались: «Рожать не будем! За что такую несправедливость терпим?» Ну а кому пожалуешься? Разве что богу. А пойдя попробуй доберись до него. Сидит за облаками — молитвы-то наши не больно доходят. Думали, думали — надумали: вышку строить надо. Высоченная вышка получилась, в самое небо упирается. Долго ли такой оравой. Ну а кто полезет? Все гамузом? Какая же вышка выдержит? Спорили, ругались — выбрали председателем Дуньку. Отчаянная была бабенка, такая же, как ты, Варка. Полезла наша Авдотьюшка, добралась до самого господа бога...

— Василиса! — закричала Варвара, приподнимаясь. — Иди скорее: о божественном зачали...

Чернявая женчонка, еще недавно жаловавшаяся на бабью участь, улыбаясь ткнула Варвару в бок. Остальные зашикали:

— Уже ты, бес, не перебивай!

— Ну, дак добралась, говорю, Дунька до самого бога. — Дарья опять повела насмешливым глазом в сторону Марфы. — Тот обрадовался: первый живой человек на небе, — не знает, чем и угощать — райские яблочки, яства всякие... О земле начал выпрашивать. А Дунька, злющая-презлющая, отдышаться не может. Нет, думает, ты мне зубы-то не заговаривай, не за тем на такую высь подымалась, да прямо к делу: «Что же ты, говорит, господи, такую несправедливость развел? Как зверей — дак холишь, от всякого воспитанья детей освободил, а на нас эго взвалил — света божьего не видим». А бог-то — на то он и бог — знал, к чему клонит Дунька. «Дак ведь, голубушка, говорит, звери-то знаешь как... раз в году нюхаются. А вы на дню, бесстыдницы, сколько раз грешите. Ну-ко, говорит, вспомни про себя». Дуньке и крыть нечем. «Хочешь, говорит,

сделаю, как у зверей? Заведу меж вас такие порядки. Это в моей власти». У Дуньки голова кругом. «Уже, говорит, господи, подожди — я с бабами посоветуюсь...» Ну, нагнулась к дыре, через которую влезла. «Бабы, кричит, слышали, что бог-то предлагает? Соглашаться ли?» А те в один голос: «Дунька, не соглашайся! Условия неподходящи...»

Последние слова Дарьи потонули в хохоте. Из-под ближайших копен приподнялись любопытные головы.

Марфа сурово на всех посмотрела.

— Взбесились, кобылы! У тебя язык поворачивается, — накинулась она на Дарью, — в бабки годишься!..

Дождь меж тем перестал, опять стало припекать. Степан Андреевич уже снова суетился возле своего стога.

Через некоторое время, когда женки немного успокоились, Варвара с пресерьезным видом заметила:

— А ведь она, бабы, права...

— То-то! Я всегда права! — уверенно сказала Марфа.

Варвара с лукавым смирением опустила голову:

— Я говорю, Дунька-то, председательница, права...

— Охо-хо-хо-о-о!.. — опять впокатушку покатались женки.

Марфа, гневная, распаленная, схватила длинную хворостину:

— Сдурели! Хоть бы ее-то постыдились... — По лугу, ярко освещенному солнцем, бежала к ним Настя.

И женщины, завидев ее, разом смолкли. Даже Варвара и та постаралась принять благопристойный вид, начала закручивать волосы.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Вечером после работы Степан Андреевич отвел Настю в сторону:

— Ты бы, Настасья, присматривала за своими, а то срам...

Настя удивленно вскинула на него свои ясные, открытые глаза.

— Как же! Давеча кричу Олене-счетоводше — на траву матаефскую залезла: таскай, говорю, для своей коровы из навин. А она; «Я декретная, мне по закону по близости положено».

— Декретная? Какая декретная?

— Ну... с Миколашкой, говорят, спуталась.

Настя, не разбирая дороги, напрямик зашагала к деревне. Она шла быстро, почти бежала. Густая, уже мокрая от росы трава хлестала ее по коленям. Лицо у нее пылало, как от пощечины. Срамота какая!

Олена была дома одна, мыла пол.

— А, подруженька старая пришла...

Она разогнулась, отбросила в сторону мокрый вехоть и, тяжело дыша, стала вытирать рукавом потное лицо.

Глаза Насти уперлись во вздувшийся живот, выпиравший из-под загнутого, замоченного водой подола.

— Ты это... как ты докатилась? — со злостью и омерзением выкрикнула она.

Олена нахмурилась, облизала свои полные, сочные губы. В зеленых глазах ее заиграла нехорошая усмешка.

— Брюхо-то? — и, явно наслаждаясь смущением Насти, пояснила: — Как брюхо получается, не знаешь? С мужиком спала!

Настя готова была провалиться сквозь землю. Но она взяла себя в руки, холодно посмотрела Олене в лицо:

— А как же он?

Полные, налитые плечи Олены дрогнули, но она опять усмехнулась:

— Это Петька-то? Выходит, побоку...

— Побоку? Это Петра-то побоку? Да как ты... Он за тебя... за такую, кровь проливает, а ты... Комсомолка!

— А что комсомолка? — тем же вызывающим тоном, вскинув руки на бедра, продолжала Олена. — Комсомолке с мужиком спать заказано? Где это такой закон писан? А ты подумала, сколько мне? Тот и оно... Двадцать пять годочков стукнуло. А война — когда она кончится? Да и вернется ли? А вернется, думаешь, так вот и кинется — помоложе не найти? Нет, голубушка, что-то я охотников до старых грибов не видала. Всякий норовит молоденький сорвать. А девка в тридцать лет мухомора хуже. Это такой, как Дунярка, ждать — ей не к спеху, а мне уж поздновато...

— Да ведь ты, бесстыжая, слово давала?

— Ну и что, что давала. Давала, а теперь, выходит, взяла. Это ты втемяшила себе в голову неизвестно кого... На груди картиночку носишь.

— Ну знаешь!.. Да я бы с таким, как... — Настя хотела назвать Николашку, но вместо этого топнула ногой, — ни в жизнь! Никогда!

— Скажи, какая королева!.. Чем журавль в небе... слыхала? А это еще слыхала: хоть из глинки, да мужчинка? А чем он не парень?

Настя уже хваталась рукой за скобу двери, думая только о том, чтобы поскорее выбраться на воздух, как вдруг Олена тяжело упала на колени, разразилась рыданиями:

— Ох, что я наделала, что я наделала...

Это было так неожиданно, что Настя, наверно с минуту не двигаясь, смотрела на ее грузное, вздрагивающее от рыданий тело, на ее белые, забрызганные грязной водой ноги и вдруг все поняла и кинулась к Олене.

— Ох, не утешай... Не терзай ты меня, Настя... Уйди ты от меня, бога ради!

Олена подняла к ней мокрое, опухшее лицо и, захлебываясь слезами, заговорила:

— Вчера письмо прислал... «Жди, Оленушка, береги нашу любовь...» А того не знает, что я брюхатая... Гадина! Сука! — закричала она вне себя. — Утоплюсь, петлю надену!

И Настя, с трудом узнавая себя, примирительно сказала:

— Чего уж теперь... О ребенке думать надо...

— И на кого променяла? — голосила Олена. — Ох, что я наделала, что я наделала!

— Да будет тебе! — прикрикнула Настя. Она не могла видеть чужой беды и, против своей совести, стала утешать. — Николаша — он добрый, мастеровой...

Олена покачала головой:

— Не говори ты, Настенька. Сама вижу — не слепая. Бывало, пуще всех насмехалась... А тут... Ну, как ум отшибло. Сама в кузницу бегала. Испугалась — думаю, в девках останусь... Да хоть бы всю жизнь в девках!..

Олена обхватила Настины ноги и, давясь слезами, с глухим стоном зашептала:

— Научи ты, Настенька. Что мне делать? Что делать с собой?..

Скрипнули ворота. В сенях раздались шаги.

Настя, подхватив Олену под мышки, помогла ей подняться на ноги.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Все случилось нежданно-негаданно. Вчера ее приняли в сельсовете, а сегодня на вечер вызвали в райком. Думано ли, гадано когда было, что она в партию поступать будет? Да если бы ей еще неделю назад сказали, она бы того сумасшедшим назвала. А сейчас вот едет... Ну какая она партийная, ежели начистоту говорить? Три зимы в школу ходила, разве это грамота? В артель, бывало, и то сбивают людей одинаковых, а тут — партия! Слово-то какое! Ох, что бы ей сказала покойница мать? А у женок-то разговору будет... Да и верно: жила-жила баба да вдруг на старости лет рехнулась...

Бледная, растерянная, она сидела, покачиваясь на телеге, и незаметно для себя выехала из леса на Марьины луга. Налетевшим ветром едва не сдуло с головы платок. Поправляя его, натянула вожжи, обвела глазами луга.

Ширь-то, ширь-то какая! На целые версты переливается пестрая трава, березы полощутся на ветру; у подножия лесистой горы сереют две-три избенки — старые, замшелые, знакомые чуть ли не с самых пеленок. Боже мой, как она любила страду на этих Марьиных лугах! Краше-то праздника для нее не было. Бывало, еще девчушкой с великого поста высчитывает дни — сколько до покосов осталось. Коса висит у хлева под крышей, так она раз пять на дню выбежит посмотреть босиком, в одном сарафанишке.

Вытянув шею, она оглядывала пожни, искала людей. Далеко у подножия горы она увидела синий дымок (там ветром не хватало), потом и белые платки разглядела.

Издали нельзя было различить отдельных людей, но ей казалось, что она угадывает и могучую, рослую Марфу Репишную, которая вот сейчас взметнула целый воз сухого сена на свои плечища, и беззаботную, развеселую Варвару Иняхину, без усталости воркующую о мужиках, и худенькую, маленькую, придавленную страшным горем Анку-куколку. И ей захотелось хоть на минутку заехать к своим людям, перекинуться словечком, взглянуть на их работу.

Взбодренная лошадка потрусилась мелкой рысцой, под колесами запели мостовины, внизу мелькнула Синельга, вся, как шубой,

укутанная седым ивняком.

Но тут она подумала, какие расспросы начнутся у женок (куда да зачем поехала) и как бы ей пришлось краснеть, отвечая.

«Нет уж, видно, в другой раз», — вздохнула она и, когда впереди показалась развилка дорог, свернула к берегу.

В бережине затишье, покой. По левую реку кустарник, плотно отгораживающий Пинегу от луга, с пологого ската тянутся, заглядывают в глаза белоголовые ромашки куда ты, куда ты? Молчите, не тревожьте вы душу, глупые, — без вас не разберусь. Она и в самом деле с трудом понимала, что происходит с нею. Она только чувствовала, что происходит что-то огромное, небывалое и что теперь все, все будет не так, как раньше...

Шуршит трава под ногами — тихо, успокаивающе. Лошадь, обмахиваясь хвостом, на ходу хватая траву, отфыркивается, когда на губы попадает пропыленная былка. А перед глазами все плывут и плывут белоголовые ромашки, и вместе с ними медленно выплывает из памяти далекая молодость, прожитая жизнь.

Вот она видит себя молоденькой девушкой — первый раз вышла на гулянье со взрослыми девками. На ней новый сарафан, ботинки поскрипывают — тоже новые. И уж так она счастлива, так счастлива — ног под собой не чувствует. А тут еще — не успела оглядеться — Григорий подошел. В черной паре, при часах, волосы хмелем вьются. Про него только и разговору в деревне: приехал из города, один у отца, кого-то осчастливит?

Она идет с ним под руку, не знает, как и ступить. От него духами пахнет, по спине скребут завистливые взгляды подруг, по сторонам бабы шепчутся: «Голодранке такое житье достанется...»

А он легонько пожимает ей руку — не то что деревенщина, не лапает принародно, и слова всё непривычные — голова кругом: «Вы личиком-то, Анфиса Петровна, почище городских будете...»

За один месяц она перешила все сарафаны на платья — хоть тем-то угодить милому. А потом... потом осенний вечер — и жизнь чернее омота...

У крыльца родного дома, когда она, расслабленная, разморенная, возвращалась из бани, на нее налетел пьяный Григорий, сбил с ног и уволок в сарай...

Ох, что потом она выстрадала, одному богу известно. Тошнило — не садилась за стол с матерью, пояс затягивала до боли, отраву всякую пила... А побои матери? Замертво лежала. А сколько она-то, старая, унижений приняла — на коленях ползала перед ним, ноги обнимала: прикрой грех дочери. И кто знает, чем бы все это кончилось, если бы Григория не припугнул председатель Лапушкин, — одному ему доверила свое горе старуха.

И вот стала Анфиса честной мужней женой, никто не вымазал дегтем ворот у вдовы, а счастья не было. Тяжелая, незатихающая обида камнем легла на сердце, а когда она разродилась мертвым ребенком, порвалась последняя нить, связывавшая с мужем. Потом умер свекор. Григорий запил, закрутил на стороне. По ночам, возвращаясь с гулянки и не получая ласки от жены, мял, щипал ее, бил чем попало.

Однажды она вырвалась, схватила топор: «Шаг ступишь — зарублю!»

И муж, сразу протрезвев, понял — не шутит.

А сколько раз она собиралась уходить от него, — и ушла бы, дня не жила бы, да как уйдешь, если мать-старуха каждый день упрашивала: «Не срами ты мои седые волосы. Дай умереть во спокойе...»

Пятнадцать годочков умирала родная. Оглянулась Анфиса — а у ровесниц уж девки в невесты просятся. Нет, она не плакала, провожая мужа на войну.

«Коль уж ты на сердце крепка, Анфиса», — дивились бабы.

А сейчас, когда от Григория полгода нет писем, каждая лезет со своим утешением, и с каждой надо притворяться, вздыхать...

«Да неужто обо всем этом рассказывать в райкоме?» — со страхом подумала Анфиса, неожиданно припомнив сказанные Лукашиным слова: «Перед партией как на духу — без утайки надо...»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Двухэтажное деревянное здание райкома партии, построенное незадолго до войны, — самое высокое в селе.

Архитектора этого сооружения и по сей день ругают в райцентре: вид испортил. И в самом деле, райкомовское здание, явно нарушая ровную линию домов приречной стороны, слишком уж выпирает на правую улицу, так что, если бы не оградка вокруг него, каждый пеший и конный задевал бы за угол. А окна? Зачем надо было выводить фасад на шумную пыльную улицу, когда исстари принято обращать дома лицом к светлой Пинеге с зелеными берегами? Что за причуда?

Однако когда внимательно приглядишься да хорошенько подумаешь, кое-что начинаешь понимать. Местный архитектор, человек, несомненно, искушенный в политике, должно быть, рассуждал так: негоже райкому стоять спиной к жизни, и, пренебрегая с незапамятных времен установившейся планировкой, взял да и повернул его лицом на главную улицу, а для пущей наглядности особого назначения этого здания смело выдвинул его вперед из общего ряда.

И действительно, из больших, плазастых окон райкома, как с капитанского мостика, просматривался весь райцентр.

Анфиса не в первый раз поднималась на второй этаж, но раньше она как-то не замечала лестницы. А сегодня два раза останавливалась, чтобы перевести дыхание. Сверху, с дверей, на нее в упор смотрел красноармеец и, тыча пальцем ей в грудь, сурово спрашивал: «А что ты сделала для фронта?»

В приемной, встретившись со знакомой секретаршей, Анфиса почувствовала себя немного уверенней.

— Подождите минутку. Там сейчас другие вопросы, — указала секретарша на кабинет Новожилова и, подведя ее к кучке людей, расположившихся на стульях у окна, полушутя-полусерьезно сказала:

— Принимайте в компанию. Анфиса Петровна Минина.

— Слыхали, слыхали, как же — радушно заговорил, протягивая руку, чернявый старик с крепкой, прокаленной солнцем лысиной во всю голову.

Рядом с ним сидели еще три человека: смуглая, улыбающаяся молодуха, которая то ли своими насмешливыми и ласковыми глазами, то ли еще чем-то напоминала Варвару, пожилая женщина в бумазейной кофте, со строгим лицом и молоденькая, розовощекая, необыкновенно серьезная девушка с рыжей челкой на лбу.

Несколько поодаль от них, вся в черном — величественная старуха. Она сидела прямо, с неподвижным бледным лицом и такими же бледными руками, сложенными крест-накрест на коленях.

Пожав руку старику, Анфиса раскланялась с остальными, села на свободный стул рядом со стариком.

— Ну как «Новый путь»? По сводкам, шибко шагаете... — лукаво улыбнулся старик, показывая на удивленье белые целехонькие зубы.

— Овец по осени считают, — уклончиво ответила Анфиса.

— Это так...

— А как с хлебом? — деловито спросила пожилая женщина со строгим лицом.

— Неважно, а тянем...

— Раньше вы ведь исправно жили, — заметил старик.

— Жили, а теперь не знаем, как до новины дотянуть.

— Это вас Харитоша подковал, — посочувствовала молодуха с ласковыми, насмешливыми глазами. — Нам его тоже навязывали, да мы ни в какую. Нет, говорим, такой хомут из района не выписывают.

— А как Софрон Игнатьевич, все за семерых ломит? — спросил улыбаясь старик.

— Ломит. Бригадир нынче.

— Это вот да! — искренне обрадовался старик. — Маханул на старости! — И, словно извиняясь за свою неуместную восторженность, пояснил: — Дружок мой. Бывало, в лесу на пару робили. Вот уж работничек! Сказывай привет от Демьяна, беспременно сказывай. Да скажи, что Демьян Заварзин на старости в партию надумал и тебе, мол, велит не отставать.

— Так вы по тому же самому делу? — Анфисе вдруг стало легко.

— По тому самому.

— И ты, красавица?

— Смешно! — высокомерно тряхнула рыжей челкой девушка, которой, видно, уже не раз приходилось отвечать на подобные вопросы. — Как работать — про молодость не спрашивают, а тут

года... В партию не за возраст принимают! — назидательно закончила она и приняла еще более серьезный вид.

«Надо бы и Насте нашей поступать», — мелькнуло в голове Анфисы.

— Ей что, она ученая, — не без зависти сказала женщина в бумажейной кофте. — Сколько зим в школу-то ходила?

— Семь.

— Вот видишь, а я и зимы не ходила. Только и знаю, что парторг рассказывал...

— А у вас и парторг есть? — спросила Анфиса.

— Как не быть. Есть.

— А я до войны и на собрание-то не бывала, — простодушно призналась молодуха и поглядела на все своими ласковыми глазами. — Муж, бывало: «Пойдем да пойдем, Катерина. Вдвоем хоть сидеть веселее». — Она вся так и просияла, когда заговорила о муже.

У Анфисы что-то вроде зависти шевельнулось в груди.

— А я ему говорю: незачем, — продолжала Катерина. — Ты штаны просиживаешь, да я начну сарафаны тереть — какое житье будет?... А тут вот повадилась... А и с чего и началось-то? Украл у нас бригадир мешок жита. Ну пришла я на собрание, отвела душеньку. Честила на чем свет стоит. Да с тех пор — как болезнь пристала, ни одного собрания не пропускаю. А тут как-то слышу, бабы говорят: «Катерина у нас актив»... А я-то, дура, и не заметила, как активом стала.

— У меня со старухой тоже прения вышла, — заулыбался Демьян, поглаживая черную как смоль бороду. — Бедовая у меня старуха! Чего, говорит, людей-то сметишь, старый черт? Портфельщиком захотел? Аль на старости лет хвосты у кобыл крутить разучился? Конюхом я с тридцатого... — пояснил Демьян и как-то виновато улыбнулся, словно извиняясь за неприличное поведение своей жены. — Не в том, говорю, гвоздь, ученый-неученый. Я, говорю, историю-то партии, знаешь, всю пешком прошагал. А сейчас, говорю, другую тропу топтать совесть не позволяет. Видала, говорю, что в лесу в бурю делается? Какой лес редкий страшно взглянуть: лом один остается. А в котором дерево к дереву прижато, тому никакая буря не страшна. А что, спрошу вас, — обратился Демьян к своим товарищам, и взгляд его стал серьезен, — все красавцы в том лесу? Да нет! Иное

дерево под свет попало, вымахало — куда там. А иное дерево всю жизнь в сырости, в тени, так — сук на суку, и вся цена-то ему, что на дрова. А ведь дело свое делает. Без него всему лесу беда. Вот как я понимаю!

— Все это правильно, — неожиданно заговорила старая женщина в черном. — У меня три сына на войне погибли. И все три — коммунисты. А чьим молоком вскормлены? Я хоть и не замена им, а все-таки и мои старые руки помехой не будут.

Стало тихо. Все чувствовали себя так, словно наговорили лишнего. С улицы в раскрытое настежь окно донесся захлебывающийся от радости мальчишеский голос: «Ванька! Сегодня военное кино. Пойдешь?»

Из дверей кабинета Новожилова вышла секретарша:

— Товарищ Пименова, пожалуйста. Старая женщина в черном встала и прямой, твердой походкой направилась к кабинету секретаря.

— Кто это? — шепотом спросила Анфиса у Демьяна.

— Учительница здешняя.

Вышла она минут через десять. Всем хотелось узнать, о чем там спрашивают. Но никто не решился обратиться к ней, А она все той же прямой, твердой походкой, высоко неся седую голову, прошла к выходу.

Потом вызывали остальных. Рыжая с челкой девушка не вышла, а выбежала из кабинета. Круглое, и без того румяное, лицо ее полыхало. Она прислонилась спиной к дверям кабинета, прижала руки к груди, но, встретившись глазами с Анфисой, нахмурилась, выпрямилась и важной, будто сразу повзрослевшей походкой двинулась к двери.

Анфиса еще долго слышала, как бойко выстукивали ее каблучки по лестнице, а затем по деревянной мостовой.

Ее принимали последней. В светлом, просторном кабинете секретаря, за длинным столом, покрытым красным сукном, сидело человек пять мужчин.

Новожилов, широко улыбаясь всем своим полным, нездоровым лицом, встал из-за стола и пошел ей навстречу:

— Вот еще одна именинница! Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Минина.

Он крепко пожал ей руку своей большой мягкой рукой, усадил в кожаное кресло и, садясь за стол, сказал:

— Редкая вы у нас гостья. Иной председатель не одни сапоги в райком стопчет, а вы нет, не жалуете.

— Да и вы у нас не частый гость, — в тон, шутливо ответила Анфиса.

Члены бюро весело переглянулись:

— Ого! Сразу с критики! Знай наших!

— Еще неизвестно, кто кому прием устроит. Видал, Федулов?

Федулов, занятый просмотром бумаг, приподнял лысеющую, гладко зализанную голову, кольнул Анфису подслеповатыми глазами из-под пенсне, пожевал бескровными губами и снова с озабоченным видом уткнулся в бумаги.

Доброжелательность членов бюро ободрила Анфису.

— Так вот, товарищи, — заговорил Новожилов, — принимаем в кандидаты партии Минину Анфису Петровну. Документы в порядке. Биографию заслушаем?

Начальник милиции, тучный мужчина с остриженной ежиком седой головой, со скрипом расправляя перекрещенные желтыми ремнями плечи, добродушно сказал:

— Надо познакомиться.

«Вот оно, началось», — внутренне содрогнулась Анфиса и невольно опустила голову.

— Одну минуточку, товарищи... — Федулов встал, снял пенсне, осторожно подул на стекляшки. — У меня тут факты... Не успел вас предупредить. Судом пахнет...

— Что такое? — жестко спросил Новожилов.

Анфиса, бледная как полотно, с трудом подняла голову, растерянно посмотрела на Новожилова, на членов бюро: что он говорит, не ослышалась ли она?

Федулов не спеша протер носовым платком стекляшки и так же не спеша водрузил их на своем костлявом носу:

— Дело знакомое. Разбазаривание колхозных земель.

— Земель? Какие земли? — глухо пробормотала Анфиса.

— У товарищ Мининой, — снисходительно усмехнулся Федулов, — видно, память коротка. Позвольте напомнить? — услужливо обратился он к Новожилову.

— Говори.

Подслеповатые глазки Федулова отвердели:

— Товарищи, я располагаю проверенными данными. Товарищ Минина без ведома района — да что там района, хоть бы с правлением согласовала, — отвалила Фролову ни много ни мало тридцать пять гектаров. На-ка, дорогой соседка, покушай. Недурной подарочек, а? За что мы критиковали Лихачева, Минина? Помнишь? За это самое, за самоуправство, за партизанщину! А ты прямехонько по его следочкам... Не годится!

Федулов откашлялся, обвел присутствующих своим строгим, взыскующим взглядом.

— Мы должны, товарищи, решительно осудить эту порочную практику разбазаривания колхозных земель. На печальном примере товарищ Мининой мы должны показать...

— Постой, постой, Федулов, — поморщился Новожилов. — Ты вот всегда взвиваешься... Было это, Минина?

— Члены бюро могут не сомневаться. Я звонил Фролову — подтвердил.

— Дай ты ей сказать! — с раздражением выкрикнул председатель райпотребсоюза. — Здесь не суд, а бюро райкома.

— Вот именно, — поддержал его начальник милиции.

— Было это, Минина? — снова спросил Новожилов.

Анфиса, оглушенная этим неожиданным страшным обвинением, сидела, не смея поднять глаз, растерянно кусая побелевшие губы. Как она тогда радовалась, бог ты мой. Думала — выкрутилась. А тут, выходит, она же еще и виновата. Ну что она такого сделала? С дальними сенокосами чистое мучение и до войны было. Разбросаны по всем речонкам и ручейкам. Из-за какого-нибудь десятка возов приходится тащиться за тридцать верст от дома. Косили до самого снега, и все равно где-нибудь да оставалось. Ну а теперь, во время войны, — хоть караул кричи. Народу нет, как тут успеть? И вот подал ей Степан Андреевич мысль: а что бы поменяться пожнями с «Красным партизаном»? Им отдать наш участок в Росохах, а они нам — свои сена на Верхней Синельге. Анфиса ухватилась за эту мысль: обоим выгодно. У «Красного партизана» основные сенокосы по Росохам, у «Нового пути» — по Синельге. К тому же и участки-то почти одинаковы. Фролов, тот обрадовался, да еще сказал: «Давно бы так, дуракам, надо, а то меряем без толку дороги». А может, и нельзя было это делать? Не по закону? — подумала вдруг Анфиса.

И когда Новожилов третий раз повторил свои вопрос, она односложно ответила:

— Было... — Потом, помедлив, добавила: — Только это не для себя... И Лукашин знает.

— При чем тут Лукашин, товарищ Минина? — болезненно скривился Федулов. Чего же от фронтовика, да еще инвалида, требовать? Помогает, и на том спасибо.

— Ну хорошо, — твердо сказал Новожилов — С этим мы разберемся. У тебя все, Федулов?

— Нет, не все. За товарищ Мининой и другие художества водятся. Начальник милиции недовольтно крякнул.

— Тихо, товарищи, — поднял руку Новожилов. — Говори, Федулов.

— Товарищи, наша славная Коммунистическая партия и лично товарищ Сталин постоянно учат нас крепить советский тыл. В условиях военного времени этот вопрос, товарищи...

— Что ты лекцию читаешь? К делу! — оборвал начальник милиции.

— Хорошо, товарищи. Можно и к делу. Так вот у Мининой в колхозе с тылом, как говорится, не все благополучно. Для вас не секрет, товарищи, этой весной кормовая база, как говорится, оказалась не на высоте. Председателям колхоза работенки хватало. Ну а как, вы думаете, товарищ Минина данный вопрос решила? Очень даже просто! Собрала доярок, позапрягла лошадей да во главе этого доблестного отряда и давай прочесывать дворы колхозников... Я, товарищи, сам не был, но мне рассказывали, на плазок этак прикинет товарищ Минина, и все солому, сено — под метлу... Форменный военный коммунизм!

Начальник милиции громко рассмеялся:

— Здорово, черт побери! Это мне нравится!

— А вот у колхозников, например, это не вызвало энтузиазма. В результате мы имеем сигналы. Но это еще полбеда, — Федулов поднял палец. — Тут еще, как говорится, свои люди — сочтемся. А вот что коров общественных Минина резала, мясо колхозникам раздавала... Это уже, товарищи, безобразие, а лучше сказать, преступление!

Анфиса, окончательно сбита с толку, беспомощно развела руками:

— Да ведь коровы-то были при смерти.

— Где акты? Где документация? — повысил голос Федулов.

— Когда же с актами? Коровы подышали... И бабы видели...

Федулов презрительно скривил свои тонкие бесцветные губы:

— Ну, знаете, полагаться на «агентство ОБС» — что одна баба сказала... Нам нужна документация, товарищ Минина, понимаете, документация, скрепленная подписью специалиста, ветфельдшера. А чем вы можете оправдать хищническое истребление пятнадцати голов скота?

— У меня вопрос к Федулову, — вмешался председатель райпотребсоюза. — А чем ты, заврайзо, помог молодому председателю?

— Вот именно! — пристукнув ладонью по кромке стола, сказал начальник милиции.

— Я, товарищи, предлагал обсудить этот вопрос на правлении колхоза, взвесить, изыскивать корма организованным путем.

Начальник милиция резко откинулся на спинку стула:

— Да черт ли в твоих предложениях? Скотина с голоду подышает, а ты взвесить!

— Ну, дорогие товарищи, я тоже не кормовая база... Дело в конце концов в принципе. В других колхозах тоже падеж был, и на каждую единицу выбывшего поголовья мы имеем акт. Пожалуйста, любая ревизия...

— Эк тебе бумажки дались!

— Социализм, товарищ Зажигин, это прежде всего учет, — наставительно произнес Федулов, обращаясь к начальнику милиции. — И жаль, что вы не усвоили этого основополагающего положения на наших занятиях.

Федулов, конечно, имел в виду занятия райпартактива, на которых он, Федулов, как человек, наиболее подготовленный в теоретическом отношении, читал самые трудные лекции по политэкономии социализма.

— Ты эти шутки брось! — побагровел начальник милиции. — Учет!.. С твоим учетом, знаешь, какой социализм будет?..

Новожилов опять поднял руку:

— Спокойно, товарищи.

Федулов уверенным жестом поправил пенсне:

— Итак, товарищи, я привел ряд фактов, в свете которых лицо данного председателя явно не блещет. Но это еще, как говорится, цветки, а вот вам ягодки. Товарищ Минина страдает политической слепотой. Знаете ли вы, что она бывшего белогвардейца бригадиром поставила? И вместо кого? Вместо всеми уважаемого Федора Капитоновича Клевакина, можно сказать, славы и гордости районной...

Анфису как ударило. Так вот откуда ветер дует! Опять Федор Капитонович... И тут она вспомнила, как Федор Капитонович угрожал в Росохах: «Пожалеешь!» Припомнилось и другое. Вскоре после избрания ее председателем Федулов говорил ей: «Обопрись на Клевакина. Советуйся с ним почаще. Старый конь не подведет».

А Федулов между тем продолжал:

— Я, товарищи, должен со всей объективностью сказать: Федор Капитонович небезгрешен. Старик, будучи на сенокосе, поставил в какой-то ручьевине воз для себя. Это, конечно, срыв в работе Клевакина, как говорится, явный пережиток в сознании. Но, товарищи. Алексей Иванович, Федулов кивнул в сторону Новожилова, — новый человек в нашем районе. А вот мы, старожилы, знаем, кто такой Клевакин. Один из пионеров колхозного движения в районе, бессменный бригадир опытник, смело продвигающий южные культуры на наш суровый север. Как говорится, самородок, поднятый революцией к творчеству. Вот кто такой Клевакин! Мы еще не забыли, товарищи, как до войны Федор Капитонович занимал первые места на областных выставках. Об этом в газетах писали. И мы не позволим, товарищ Минина, так наплевательски относиться к проверенным старым кадрам. Да, не позволим! Я понимаю, товарищ Минина не кончала университетов. Но, товарищи, должно же быть у руководителя колхоза элементарное чувство бдительности, классовый нюх. Надо же разбираться, кто чуждый элемент, а кто наша опора...

Непонятное, но такое оскорбительное слово «элемент» обожгло Анфису. Она рывком встала и, не сводя с Федулова черных разгневанных глаз, заговорила прерывистым, срывающимся на шепот голосом:

— Алимент?.. Это Софрон-то Игнатьевич алимент?.. Вот как, алимент!.. А знаешь ли ты, что у этого алимента два сына на войне? А что этот алимент кажинную страду гектарник? Это как? Тоже не в зачет? А когда нехватка семян вышла, кто колхозу помог? Может, товарищ Клевакин, как тут высказывались? Ведерко жита вполовину с мусором — вот что отвалил товарищ Клевакин, да еще сказал: «Дареному коню в зубы не смотрят». А вот чужой-то алимент, тот не так... Тот мешок семян без слова принес...

Анфиса обвела глазами членов бюро, упавшим голосом сказала:

— Вы люди партийные... разберитесь: кто тут товарищ, а кто тут чужой алимент... Меня и так с толку сбить легко, а не то что всякими словами... Только я, — она подняла голову и посмотрела на всех прямо и твердо, — только я с открытой душой к вам пришла... Худо наделала — судите...

Она наморщила лоб, собираясь с мыслями, и вдруг голос ее дрогнул обидой:

— Тут крутишься, вертишься, думаешь, как лучше, а ты же и виновата... Да кабы я для себя, а то нако — «соседушке отвалила...». С тремя-то стариками да старухами будешь изворачиваться. Да где же тут правленье собирать? Один на Верхней Синельге, другой в Росохах, третий еще где... Одно заседание в десять возов сена встанет! А что солому у людей отбирала — верно. Ну не так чтобы насилу — с согласия, а отбирала, не таюсь. И коров, которые при смерти были, резала. Не ждать же, когда они поколеют, чтобы собакам выбросить. Людей тоже пожалеть надо. Ну а что бумаг нету, актов нету — моя вина, недодумала...

Анфиса на мгновенье замолчала, силясь припомнить, что еще надо сказать.

— Да, вот еще, — спохватилась она. — Софрона Игнатьевича не трогайте. Понапраслина все это. Никакой он не алимент. Кого хошь спроси в Пекашине, всякий скажет, правильный он человек!.. Ведь я-то помню, как вы меня наставляли, — повернула она лицо к Федулову. — «Старый конь не подведет». Это ты о Клевакине говорил, помнишь? А вот подвел... Да не я его и снимала — у людей терпенье лопнуло. И еще я тебе скажу, товарищ Федулов. Хоть и партийный ты человек, в райкоме заседаешь, а душа-то у тебя не очень партийная. Это чего ради ты меня здесь в грязь втоптывал? Ну-ко, скажи? Я-то

сначала до смерти испугалась, а вот как ты о Федоре-то Капитоновиче заговорил — сообразила. Это ведь ты, что же, из-за своей коровенки стараешься?

— Клевета! — крикнул срывающимся голосом Федулов.

— Нет, не клевета. Люди соврать не дадут. Мы-то помним, откуда ты сено добывал в прошлые годы. От его самого, от Федора Капитоновича. А вот в этом году сорвалось, наступили на хвост твоему дружку-приятелю, ты и кричишь: «Слава районная!» Да от этой «славы районной» сколько лет колхоз плачет! Нет, не выйдет! Мне рот заткнешь, а народу рот не запечатаешь!

В наступившей тишине неестественно громко прозвучал бой стенных часов. На мгновение слышно стало, как тяжело дышит страдающий одышкой начальник милиции. Федулов, вытирая выступавший градом на лице пот, беспокойно взглянул на Новожилова. Тот смотрел на него в упор тяжелым взглядом немигающих глаз. Федулов завертел гладко зализанной головой:

— Позвольте, товарищи...

— Нет, не позволю! — Новожилов ударил кулаком по столу и, большой, громоздкий выпрямился. — Это что ж ты надумал? Честных людей обливать грязью? Вот ты тут словами сыпал... Социализм... партией клялся... Речисто получается! А на деле? Да как ты смеешь поганить эти слова? За них сегодня кровь проливают, жизни свои отдают! Ну, Федулов, мы с тебя спросим, спросим по всей партийной строгости. — Да сейчас не о тебе...

Новожилов перевел дух и, поймав растерянный взгляд Анфисы, вдруг как-то по-детски, виновато заморгал глазами:

— Ты уж извини, товарищ Минина, не совсем складно получилось. А в общем, ничего. Сразу боевое крещение приняла. Партия — это тебе... не по головке гладят. Иногда и против шерсти. А вот что ты не растерялась, за дело общее постояла, себя в грязь втоптать не дала, это хорошо! Так и впредь держи линию. Это и есть самая партийная линия! Я бы мог много хорошего сказать об Анфисе Петровне, — обратился Новожилов к членам бюро. — Ну да ясно... А с людьми, подмигнул Новожилов Анфисе, — советоваться почаще надо. Это верно, Анфиса Петровна. Да и бумажками пренебрегать тоже не след. Верно? Ну а мы, райком, должны больше помогать молодому председателю. Это тоже верно! Я предлагаю утвердить

решение первичной организации — принять товарища Минину в кандидаты партии. Есть желающие выступить?

— Все ясно.

— Товарищи... — торопливо, эаикаясь, пробормотал Федулов, — два слова для справки. Собственно говоря... Я же, как говорится, в порядке пожеланий... Разве не предупреждает нас партия против парадных приемов? Может быть, я резко говорил, не отрицаю, но, товарищи, когда же большевики боялись критики? Вы не поняли меня, товарищи.

— Поняли, Федулов, — мрачно сказа председатель райпотребсоюза.

Начальник милиции вскочил, с грохотом отбросил стул:

— Критика? Призывал под суд отдать! Это критика?

Выждав тишины, Новожилов сказал:

— Будем голосовать. Кто за то, чтобы принять Минину Анфису Петровну в кандидаты партии?

Федулов первым поднял руку,

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Было уже за полночь, а Федор Капитонович все еще не ложился: несколько раз выходил на крыльцо, беспокойно посматривал на большак, прислушивался.

Наконец за деревней, там, где легким паром курится болото, загремели под колесами мостовины, и вскоре из леска показался знакомый риковский конь.

Минут через пять дрожки стояли в заулке Федора Капитоновича, а сам он, помогая крупной женщине с сытым, заспанным лицом спуститься на землю, умильно говорил:

— Вот уж гостинька дак гостинька. Забыли вы нас, забыли, Раиса Ниловна.

— Ох, всю растрясло, — пожаловалась гостья, тяжело переступая с ноги на ногу.

— Как уж не растрясло. Мыслимо дело...

Наскоро обрядив коня, Федор Капитонович провел гостью в кухню. Подавая ей умыться, выговаривал:

— А что же ты, Раиса Ниловна, детушек не захватила? Скоро вот и малинка поспевать будет. То-то бы им раздолье тут.

— Просились. Малый и большой ревмя ревели: к дяде Федору хотим. Да у Петьки насморк, побоялась.

— Вишь вот, не забыли, помнят старика... А дедушко Федор их тоже помнит. Рыбка, маслице на холоду стоят, опять же огурчиков ранних...

Дети Федулова были слабостью Федора Капитоновича. Бывало, еще в первое время знакомства, Федулов, принимая дары, начнет разбираться с бумажником, Федор Капитонович посмотрит на него этак строго и неподкупно и непременно добавит: «Для детушек это. Они цвет жизни нашей...»

Свежая, намытая гостья прошла в горницу.

Крашенный пол с пестрыми домашними половиками, белые кружевные занавески, фикусы; в раскрытое окно тянет ночными запахами огорода. На столе до блеска начищенный, тихонько

воркующий самовар, всякая еда: свежая рыба, грибки, маслице, зелень, ягоды — все так и просится в рот.

Раиса Ниловна опустила на заскрипевший венский стул, расчувствовалась:

— Благодать у вас. А я мученица... Вот возьму да брошу все и останусь.

— И беспрерменно! — суетился Федор Капитонович, не зная, как и угодить дорогой гостье. — Я уж и горенку приготовил. Раньше недели не отпущу, и думать не смей, Раисьюшка. Пусть казнит меня Петр Созонтович.

— И когда эта война кончится? Немчура проклятая! Второй год на леченье не бывала. Это при моем-то здоровье, — жаловалась Раиса Ниловна, налегая на свежую рыбу.

— И что ты, не говори. Без отпуска... Мыслимо дело... Это баба наша понятия не имеет... А культурный человек, он ведь как? Вот у растеньев тоже: репа — она тварь бестолковая, растет, куда ни воткни, а огурчик, помидорка им тепло, солнышко подавай. Нехорошо это Петр Созонтович делает, — осуждающе сказал Федор Капитонович. — О районе печется, а у себя под носом не видит.

— То-то и оно, жена хоть пропади. А нынче еще корова на мою голову.

— Ай-яй-яй! — сокрушался Федор Капитонович. — А Паладья-то на что?

— Польшка-то? Сбежала.

— Это как сбежала?

— А так, сбежала, и все. Пришла из ихней деревни баба, соседка, и ну ругать «Что ты, говорит, бесстыжая. Мы надрываемся, а ты тут, как барыня, прохлаждаешься!» Ну и ушла. Отплатила за хлеб и соль.

— Несознательность ихня... А сам-то что уж, порядка навести не мог?

— Сам-то? — Раиса Ниловна вытерла полные, румяные губы. — Тряпка сам-то! Пришел давеча со службы — краше в гроб кладут. Не пимши, не емши свалился на диван — слова не добьешься.

— Что так? — с тревогой спросил Федор Капитонович.

— Разве скажет. Всю жизнь умнее себя хочет быть. Только и знай — подавай мокрое полотенце на голову. А потом вот к тебе послал. На-ко, женушка, трясись на телеге, пересчитывай ребрышки... Вот

останусь здесь на неделю. Пусть-ко он, дорогуля, под корову полазает... Забыла, письмо тебе прислал.

Раиса Ниловна порылась в сумке, подала письмо.

Федор Капитонович подсел к окну и, надев очки, вздрагивающими руками распечатал конверт.

«Федор Капитонович, дело повернулось не так. Я остался в меньшинстве. Под тебя тоже ключи подбирают. Срочно присылай письменное заявление с указанием тех фактов, о которых ты мне рассказывал. А то я не располагаю никакой документацией. Еще советую, съезди лично в район. Ты сумеешь сказать, что надо. Выручай, а за Федуловым не пропадет. Записку уничтожь».

Федор Капитонович легонько побарабанил пальцами по подоконнику.

— Нда, — проговорил он вслух, — вот как дела обернулись...

— Что там еще? Хотела дорогой почитать, да сморило.

— Так, приветы передает.

— Из-за приветов-то мог бы не гонять.

Федор Капитонович аккуратно свернул записку, положил в пухлый бумажник, набитый разными квитанциями. Потом, посидев еще немного, вышел из горницы.

Когда он вернулся обратно, Раиса Ниловна уже клевала носом. Она смачно зевнула, поднялась и устало расправила полные, налитые плечи:

— Спать пора... Да баньку бы к обеду истопить велел.

Федор Капитонович замялся:

— Худо ли баньку... Только уж в другой раз, видно. Петра-то Созонтовича обидеть — тоже рука не подымается.

— Чего? — зевнула Раиса Ниловна.

— Петр-то Созонтович домой наказывал... Чтобы беспрременно, значит...

— Подождет.

— Не порядок это, Ниловна, — строго сказал Федор Капитонович. — Большой муж... Детки тоже...

— Гонишь?

— Ох, Раиса Ниловна, язык-то как повернется! Федор Капитонович шагнул к ней и, хотя в комнате никого не было, зашептал:

— Неприятности у Петра Созонтовича. Враги-то его, завистники...

Раиса Ниловна махнула рукой:

— Выкрутится. Не впервой ему.

— Опять же, страда... — торопливо говорил Федор Капитонович. — Люди что скажут. Жена заврайзо... Как хошь, не годится.

— Жена заврайзо? А того, что эта жена как проклятая из колхоза в колхоз мотается?.. Ходишь, едешь, собираешь с бору по сосенке. Эта война полжизни у меня унесет.

— Грех тебе, Раисьюшка, сетовать, — рассудительно заметил Федор Капитонович. — Ох, посмотришь, у нас как живут, слезой обольешься...

— То-то я обливаюсь, гляючи на твоё житье.

— Нехорошо, Раиса Ниловна, — продолжал Федор Капитонович. — Нехорошо это при живом-то муже судьбу пытаться. Война — понимать надо.

Спустя несколько минут, когда усовещенная наконец гостья снова восседала на дроздах, Федор Капитонович вынес из дома маленький, с рукавицу, мешочек:

— На-ко это деткам. Сухая малинка, полезительна от простуды. Да и сам пусть попользует.

Белое, сытое лицо Раисы Ниловны налилось кровью:

— Убери. Не нищие. Для своей ревматизмы оставь.

— Обижает, Раиса Ниловна...

Но Раиса Ниловна, не слушая, натянула вожжи, Федор Капитонович, опережая коня, побежал открывать калитку.

— Благодать-то какая, — говорил он, умильно поглядывая на только что выкатившееся из-за леса солнышко. — Счастливица вы, ехать-то сейчас — ни мухи, ни овода. А малинку, Ниловна, возьми. Не обижай старика. Как можно! От дяди Федора — и без гостинца...

Федор Капитонович проводил глазами гостью до поворота дороги, покачал головой и, прикрыв воротца, вошел в дом.

В сенях, растолкав жену, приказал:

— Убери со стола да прибири заулоч... Шляется, прорва ненасытная.

Потом в кухне еще раз перечитал записку.

— Вишь ты, друг любезный. «Выручай...» — промолвил он вслух и задумался.

Федор Капитонович вернулся из германского плена в двадцатом году. Другие приезжали — в чем душа держится: желтые, худущие, в рваных шинелишках мышинового цвета. Федор Капитонович приехал как с заработка в черной фетровой шляпе с загнутыми кверху полями, с большим кожаным чемоданом заграничной работы. О содержимом этого чемодана ходили самые невероятные слухи, но тайна приоткрылась лишь к весне. В начале весны, когда стали готовиться к выезду в поле, Федор Капитонович вдруг начал непонятную возню на своем огородишке. Пекашинцы с удивлением наблюдали, как он сооружает какие-то деревянные срубы с застекленными рамами, кутает их на ночь соломой и ветошью. Потом стали говорить, что в этих срубках растут какие-то заморские диковинки. Всем хотелось взглянуть на них. Особенно донимали своим глупым любопытством бабы да девки, которые часами торчали у огорода. Федор Капитонович оторвется от работы, подойдет к ним с ведром и, указав на колодезный журавль, скажет:

— Растение у меня такое. Без водицы к себе не пускает.

Осенью Федор Капитонович отвез огурцы и помидоры в район и, к великому удивлению земляков, вернулся оттуда с деньгами, да еще с почетной грамотой рика.

— Хитростью не изойди, Федя, — сказала набожная мать — старуха, не одобрявшая затей сына.

— Ничего, мамаша. Мне бы только руки наставить.

И он таки наставил. В соседней деревне взял за себя здоровенную девку, которая была чуть ли не на голову выше его самого.

Пекашинский зубоскал Пека Векшин в первый же день, пораженный внушительным ростом новобрачной, посочувствовал:

— Не по себе сук загнул, Федя. К эдакой колокольне без лестницы не подступишься.

— Пустобрех непутевый, — сплюнул Федор Капитонович. — Мне не об утехах думать. Семя-то в худую почву бросишь, знаешь, какой урожай?

Урожай Федор Капитонович снимал действительно завидный. Что ни год, то девка — одна здоровей другой. Иной бы мужик от такой беды волосы на себе рвал, а Федор Капитонович ничего, на

судьбу не жаловался. Бывало, понаделает маленькие коски, выведет своих дочушек на пожню, — смотришь, каждая тюкает себе да тюкает, а Федор Капитонович в своей неизменной черной шляпе деловито расхаживает, от одной к другой, поправляет бруском коски да наставляет:

— Чище, чище коси, доченька.

Пекашинские мужики только руками разводили:

— Умственный ты человек, Федя! Из дерьма сапоги шьешь. Начальством бы тебе каким...

Ну и конечно, когда в деревне организовался колхоз, Федора Капитоновича сразу же назначали бригадиром по огородничеству.

Размахнуться решили широко, спрос на овощи был огромный, в районе одних леспромхозов было несколько, да и самим колхозникам охота была иметь соленый огурец к столу. К маленькому огородику Федора Капитоновича прирезали целые гектары лучшей земли, возвели новые, с широкими рамами, парники. Летом было любо смотреть, как лопушится в них ядреная зелень, уверенно набирают силу огурцы и помидоры.

Но вот подошла осень — и от обильного урожая собрали одни пустяки, так что и делить на трудодни было нечего.

Федор Капитонович оправдывался: ребяташки растаскали, червь поел...

В следующие годы набеги ребяташек не прекратились, а червь — тот совсем обнаглел... Зато колхоз прославился на всю область. Каждый год Федор Капитонович произведет какую-нибудь штучковину: то помидор с голову ребенка, то турнепс с колодезное ведро, — и непременно отошлет в район и область, а оттуда — грамоты.

Председатель колхоза Лапушкин терпел-терпел такую славу да однажды и рубанул:

— Хватит огурцов да помидоров! Капусту сажать будем.

Что тут было! В районной и областной газете появились заметки: «Дорогу опытнику-мичуринцу!», «В Пекашине глушат творческую инициативу снизу». Лапушкина вызвали в райком, вlepили выговор да еще указали на политическую близорукость.

А Федор Капитонович меж тем и домик выстроил, да еще какой — пятистенок, и не в чашу рубленный, как у других, а в лапу, с

теплыми сенями, с подвалом, просторными комнатами да горницами!

И вот уже корреспондент областной газеты, побывав у мичуринца-самородка и тщательно вникнув в его экономику, разразился статьей: «Сделаем всех колхозников зажиточными и культурными! Пример Федора Капитоновича Клевакина».

Другое светило области — архитектор, который много лет трудился над разработкой проекта новой деревни, поместил в газете снимок усадьбы Федора Капитоновича с выразительной надписью: «Типовой дом социалистического села на Севере».

После финской кампании Федор Капитонович пристрастился еще к одной культуре — табаку. Дело в том, что в районе тогда начались перебои с куревом, ну и, конечно же, Федор Капитонович поспешил на выручку. Выращенный им самосад вперемешку с какой-то травкой пришелся по вкусу курителям, а во время войны пошел нарасхват...

И опять почет и уважение.

После завтрака, когда жена с двумя девками, такими же рослыми, как и она сама, стала собираться на болото, чтобы потюкать травы для коровы, Федор Капитонович зло прошипел:

— Куда?

Жена, обмирая от страха и не смея взглянуть на хозяина, пробормотала:

— Куда приказывал...

— «Куда приказывал!»! Коровы бессовестные! Марш на колхозное!..

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Иной раз собьешься в лесу с нахоженной тропы. Бредешь час, бредешь два, бредешь целый день. Кругом сузем — дремучий ельник, замшелый от седого лишайника, вековые буреломы да непролазные топи, затянутые коварной осокой резуньей. Солнце не может пробиться сквозь толщу хвои, и внизу темно, как в сумерках. Все живое покинуло сузем. Даже медведь, любитель чащоб, и тот предпочитает держаться в стороне от этих гибельных мест. Разве только иногда глухо ухнет филин да неслышно пролетит подслеповатая сова, укрывшаяся здесь от дневного света.

Иссеченный лесным гнусом, насквозь промокший, ты насилу переставляешь вязнущие в водянистом мху ноги, и кажется, еще немного — упадешь и не встанешь...

И вдруг — расступится душный мрак, ослепительным сполохом сверкнет впереди. Это — березовая роща. И тебя словно подхватили крылья, понесли навстречу белым, залитым солнцем деревьям. Под ногами уже сухая, желанная земля, ласковый ветерок треплет потные волосы, и, приветствуемый разноголосым звоном веселых птиц, ты с благодарностью обнимаешь первую березку, прижимаешься к ней горячей щекой...

С тех пор как Анфиса стала председателем, как будто ничего не изменилось в ее жизни. Она по-прежнему моталась с утра до ночи: разговаривала с людьми, не соглашалась, спорила с одними, усовещивала и бранила других, потом, спохватившись, бежала туда, где возникла заминка, и наравне с другими пахала и сеяла, косила и гребла.

По вечерам она подолгу засиживалась в правлении колхоза. Надо было всех выслушать, каждому помочь и советом, и делом. Приходила какая-нибудь престарелая Степанида с письмом от сына, от которого не было вестей больше полугода. И как же было не порадоваться старухиной радости, не вспомнить добрым словом ее несравненного Пашу — первого работника на деревне! А как удержать слезы, замкнуть сердце от чужой беды, когда перед тобой обезумевшая от горя соседка, только что получившая похоронную...

Поздно вечером, когда деревня уже сдала, Анфиса, усталая, голодная (днем не всегда удавалось перехватить даже кусок хлеба), до краев переполненная людскими печалью и заботами, возвращалась в свою пустую избу и, не раздеваясь, падала на постель, да так и засыпала. А утром, едва из-за леса покажется солнце, она уже на ногах — с подойником бежит во двор и, перебирая соски у коровы, со страхом думает, что в колхозной кладовой кончается хлеб.

Так жила Анфиса изо дня в день.

И за всем тем шибче бежала по жилам кровь, голова кружилась от новизны. Порой даже совестно, у всех война, горе неслыханное, а у нее — наперекор всему — через край хлещет жизнь, и старей, с годами потускневший мир сияет перед ней, как в первой молодости.

Вот и сейчас, проезжая лесом, она влюбленными глазами смотрит на желтеющий в поле хлеб, вдыхает всей грудью смолистый воздух и с удивлением отмечает про себя запах невидимой в лесу земляники.

Кобылка идет нога в ногу с конем Лукашина. Иногда колено Лукашина коснется ее колена. Она наклоняет голову, краснеет и, не в силах совладать со своей растерянностью, посылает лошадь вперед...

Тогда, после приема в партию, приехав домой, Анфиса без утайки выложила Лукашину всю свою нескладную жизнь. И ничего как будто не было сказано между ними, но с того дня — она это чувствовала, не решаясь признаться себе, что-то новое, непонятное и волнующее пролегло между ними.

— А Федулов-то? Каков сукин сын? В каждый колхоз лапу запускать!

Засмотревшись на маленькую белогрудую птаху, пристроившуюся на водопой у ручьевины, Анфиса и слышит и не слышит, что говорит Лукашин. Но когда до нее наконец дошел истинный смысл его слов, она нахмурилась. Однако в следующую минуту улыбка уже играла на ее лице: по сосенкам, возле дороги, перемахивая с верхушки на верхушку, прошла рыжая белка.

И после того как зверек скрылся в чаще, Анфисе казалось, что она все еще слышит легкий шорох сучков и падающих на землю сухих шишек.

Когда они стали спускаться под горку к Синельге, Лукашин, прислушиваясь, заметил:

— Кто это воет?

— Какое воеет, это Марфа наша поет, — рассмеялась Анфиса и наотмашь хлестнула кобылу, направляя ее в воду.

Миновав заросли прибрежного ивняка, они выехали на луг, который походил на огромное днище чана, втиснутое меж крутых лесистых гор. В голубом мареве белели платки, рубахи косарей. Косили парами: виднее работа. В ближайшей паре Лукашин без труда узнал величественную Марфу, с непокрытой головой вышагивающую под палящим солнцем, и щеголеватую, нарядную Варвару, бойко приплясывающую сзади нее.

— Что это они? Ругаются, а работают вместе? — спросил он, придерживая коня.

— Всегда так. Ругаются, а водой не разольешь.

Под двумя большими кустами ивы они спешили, связали лошадей и пошли навстречу Марфе и Варваре.

Свежескошенная трава вянула на глазах, хрустела стеблями под ногами и могуче источала в голубой воздух душистые запахи. Ветра не было, и этот волнующий аромат разнотравья плотной пеленой держался над лугом.

Возле прокоса, в ожидании, когда подойдут косцы, Лукашин и Анфиса остановились.

Марфа, кончив раскидывать косьем кошеницу, расправила напотевшие плечи, не то в шутку, не то всерьез бросила Анфисе:

— Чего выстала? Не икона! Взяла бы да помахала.

— А вот и возьму, — задорно вскинула голову Анфиса.

— Возьми, возьми, Анфисьюшка, поубавь у ней спеси-то.

Марфа недобрым взглядом смерила Варвару:

— Ну, ты! Не родилось еще в Пекашине такой бабы, чтобы супротив меня... Давай! — обернулась она к Анфисе.

Варвара, улыбаясь одними глазами из-под белого платка, наглухо кутавшего ей лицо (она и на работе не забывала оберегать свою красу), с готовностью протянула Анфисе косу, закивала Лукашину, — ей, видно, страсть как хотелось сравнить председателя с Марфой.

Анфиса, ни слова не говоря, деловито и с внешним спокойствием (но Лукашин видел, как у нее бледнеет лицо) проверила насадку косы, провела несколько раз брусом по полотну, затем стала снимать кофту.

— Снимай и ты, Марфушка, — посоветовала Варвара.

Угловатое, шелушившееся от загара лицо Марфы расплылось в широченной улыбке:

— Простудить хочешь? Она и косу-то забыла, как держать. Вишь ведь, ручушки-то от карандашика высохли.

Марфа шагнула к траве и, выпрямившись во весь свой богатырский рост, коротко бросила:

— Становись.

Рядом с ней Анфиса показалась Лукашину подростком.

Какую-то секунду все стояли в ожидании, не дыша. И вдруг в воздухе со свистом сверкнуло лезвие Марфиной косы. Сухая, перестоявшаяся на корню трава целой копной вылетела из-под ее ног. Потом еще взмах, еще...

Анфиса вся подобралась, отвела в сторону косу и, приседая, сделала первый взмах.

Некоторое время они шли вплотную. Потом Марфа обернулась, смерила Анфису презрительным взглядом — и пошла, и пошла отмерять сажени...

— Нет, с Марфой земной бабе не тягаться, — убежденно сказала Варвара. Она идет — земля колыбается, а трава, чего уж, сама со страху клонится.

Тело Анфисы выгибалось дугой. Лукашин, волнуясь, заметил, как темными кругами стала мокнуть рубаха на ее спине. На минуту ей опять удалось приблизиться к Марфе. И опять Марфа, как палашом, взметнув косою, ушла вперед.

Анфиса нагнулась, начала лопатить косу. Лукашин перевел дух: ему показалось сначала, что она, не выдержав, падает.

— Что, голубушка? — обернулась Марфа, ухмыляясь. — На себя не надеешься, за брусок взялась.

После правки косы Анфиса опять стала догонять. Марфу Лукашин влюбленными глазами смотрел на белые, как челнок ходившие из стороны в сторону, руки Анфисы и, сам не замечая того, покачивал головой вслед за ними. Еще ближе, еще ближе... И вот уже Анфиса кричит:

— Пятки! Пятки убирай!

Марфа рванулась вперед, но Анфиса уже наступала на подол.

— Пятки! Пятки, говорю, убирай! — опять закричала она.

И тут случилось невероятное: Марфа посторонилась и пропустила Анфису вперед. Варвара и Лукашин, путаясь ногами в кошенице, побежали к косцам. Марфа, вся багровая от стыда и гнева, рвала с себя кофту.

— Что я тебе говорила! Сними кофту. А теперь небось приспичило...

К Марфе нельзя было подступиться. Зажав косье меж колен, она с яростью била брусом по полотну — искры сыпались вокруг, как в кузнице. Потом рывком выпрямилась, отбросила в сторону брусок и кинулась догонять Анфису.

Гул и ветер пошел по пожне. Под розовой рубахой, как жернова, заходили полукружья лопаток.

— Стопчу! — загремела она, с каждой секундой приближаясь к Анфисе.

— И стопчет, вот те бог стопчет, — замахала от удовольствия руками Варвара.

Анфису словно хлестнули кнутом. Она снова рванулась вперед и снова оторвалась от Марфы.

Варвара заволновалась.

— Марфушка, — закричала она, — телом-то, телом пособилай! На что тебе бог тело дал? Вот глупая!.. Вишь ведь, вишь ведь та хитрюга — всем телом водит, а эта медведица прет — хоть золото рассыпь — не наклонится.

И в самом деле, Анфиса ходила как маятник. Взмахивая косой, она отводила назад все свое небольшое тело, потом, приседая, как бы падала вперед и снова приподнималась.

Марфа, напротив, шагала прямо, как бык. Она орудовала одними руками, и огромное тело ее почти не участвовало в работе.

— Марфушка, Марфушка, не стой истуканом! — опять закричала Варвара. — Кому говорят, проклятая!.. Телом, телом води! Коса у тебя, а не топор.

Лукашин, совершенно забывшись, дернул ее за рукав:

— Да замолчи ты к черту!

Варвара, вдруг озаренная какой-то догадкой, с нескрываемым удивлением посмотрела на него. Но Лукашину было не до Варвары. Кусая пересохшие губы, он вытягивал шею, сжимал кулаки, всматривался в каждое движение Анфисы. Она выбивалась из

последних сил. Теперь она уже не шла, а просто стлалась над травой. Белый платок сполз с ее головы и, зацепившись, видно, за лямки сарафана, развевался сзади, как флаг. Разъяренная Марфа грозной тучей нависала над нею. Еще секунда — и Марфа отшвырнет ее в сторону вместе с травой. Но тут прокос кончился...

Лукашин, задыхаясь, побежал вперед.

Варвара, чуть не плача от обиды, пыталась оправдать свою напарницу:

— Счастье Анфисы, что прокос кончился, а то бы плакать ей.

Анфиса шла навстречу Лукашину, еле переставляя ноги, но ее бледное, мокрое от пота лицо улыбалось. Марфа дышала, как запаленная лошадь. От нее несло жаром.

— Ух, уморила, окаянная.

Вытирая лицо рукавом рубахи, она села вместе с другими в тень от кустов, вздохнула:

— Харчи не те, а то бы я страху на тебя нагнала.

— Да и годы, Марфинька, не те, — посочувствовала Варвара.

— Хо, годы! В нашем роду годы не помеха. Матенка-покойная чуть не в шестьдесят рожала, а мне пятидесяти нету...

И, словно оправдываясь перед Лукашиным за свое поражение, Марфа разговорилась:

— Я на своем веку столько перекосила, за год не обойти... Мужичонко мне попался худой, слабосильный — званье одно. Бывало, вышли первый год на пожню глаза бы не глядели. Тюк-тюк, а все в землю. А я сзади, мужнину честь берегу, перед народом срамить не хотела. А потом раздумье взяло: честь-то я мужнину сберегу, а чем скотину кормить буду? Плюнула да давай махать во всю моченьку. А как зарод-то смечет — смех и горе, без ветра качает. Ну, ночью встану, выйду, спихну его рукоделье да, пока люди спят, заново смечу. Вот как я работала.

— Как ты и пошла-то за такого? — удивилась Варвара.

— Пойдешь, воля не своя. Я ведь не ты, хвостом не вертела. Матенка-покойница все уши прожужжала: иди да иди, в доме женского нету красоваться будешь. А батюшко да братья, те на соль позарились. Считаю, за коробку соли и просватали.

Лукашин изумленно вскинул брови.

— Чему дивья? — запросто отмахнулась Марфа. В двадцатом годе, сам знаешь, соли ни за какие деньги не купишь. Землю да кислое молоко в похлебку клали. Ну а мой-то муженек продавцом служил... Еду как-то от реки на телеге, догоняю его, а он с коробкой берестяной на плече — идет, пополам сгибается. «Подвези, говорит, хваленка, до горы». Хваленка, думаю? Я на тебя, сморчка, плядеть-то не хочу. Ну, а не откажешь. Садись, говорю, пустого места не жалко. Ну, едем, молчим, а сама шеей-то вожу: что у него за тяжести такие в коробке. Глянула, а там полнехонько соли. Крупная, ядреная, белая, как сейчас вижу. Я и глаз отвести не могу. Еду да всю дорогу думаю: как бы да как выпросить. У деревни, дале, насмелилась. Дай, говорю, Митрий, соли немножко. А он слез с телеги, посмотрел на меня, усмехнулся. «Дам, говорит, только не сейчас». Да в тот же вечер со сватами да с той же самой берестяной коробкой. Батюшко как увидел такое богатство, ума лишился. К сену надо ехать, а в доме соли ни щепотки. Поплядела я на братьев — хоть бы слово который сказал: сидят, глаза от меня воротят. Ладно, говорю, пойду, не маленькая, понимаю — без соли вам не страда... Да у меня из-за этой проклятущей соли вся жизнь кувырком пошла!.. После стола отвели нас в горницу. На полу постель приготовлена. А у меня сердце разрывается: утром письмо от старого жениха получила. Пишет: уйди от Митрия, возьму. Пала я на постель, реву. А муженек-то стоит у порога, подойти не смеет. «Может, уйти, говорит, мне, Марфа? Хочешь, говорит, перед всем народом признаю, что девка ты... Нынче времена не те — посудачат, посудачат да отступятся». Ладно, говорю, справляй свое дело, чего уж людей смешить...

— Это ты, Марфинька, перед мужским видом не устояла, — пробовала съязвить Варвара.

Но Марфа даже бровью не повела.

— А через год, — продолжала она, — муженек просиделся да я все начисто продала, в последней рубахе осталась — только бы от решетки его спасти. Да еще пять лет потом долги у людей отработывала. Вот тебе и покрасовалась за продавцом...

Она так же неожиданно, как завела разговор, встала, отряхнулась:

— Пойдем, Варка. Сидим, языком треплем, кто за нас страдать будет?

Лукашин сидел, не двигаясь. Марфа шагала по лугу спокойным, размеренным шагом, и, глядя на ее необъятно широкие плечи, на какое-то мгновение заслонившие от него солнце, вдруг подумал: вот сейчас в этой женщине, такой суровой и непокладистой с виду, ему приоткрылось что-то столь большое и важное, без чего невозможно понять ни русского человека, ни того, что было и будет еще на русской земле...

В этот день он думал не только о Марфе, нескладная жизнь которой разбередила ему душу. У него было достаточно времени, чтобы подумать и о себе.

Лежа на подсыхающей кошенице и изредка отмахиваясь веткой от вялого, разморенного жарой комарья, он смотрел на работающих женщин, стариков и подростков и, кажется, впервые за все время пребывания в Пекашине почувствовал свою ненужность и бесполезность здесь. И дело было не в том, что он не мог, как они, в поте лица махать косой. Нет, дело было совсем в другом. Раньше он был твердо убежден, что, выбитый из строя на фронте, он делает здесь большое и нужное дело, — и временами даже гордился своими заслугами. Но вот уже месяц, как он почти ничего не делает, — ведь не считать же за работу его прогулки по бригадам да короткие беседы в минуту роздыха. А люди работали, да еще как работали!..

И вот сейчас, размышляя об этом, он вдруг остро почувствовал, что, в сущности, в Пекашине ничего бы не изменилось, даже если бы и вовсе не было его.

Другая, великая, неведомого доселе размаху сила двигала людьми. Она, эта сила, поднимала с лежанок дряхлых стариков и старух, заставляла женщин от зари до зари надрываться на лугу. Она, эта сила, делала подростков мужчинами, заглушала голодный крик ребенка, и она же, эта сила, привела Анфису в партию...

И самое большое счастье сейчас было в том, чтобы безраздельно, целиком подчинить себя этой силе, ибо она беспощадно отбрасывала, карала все то, что пыталось выбиться из общего русла, зажить своей, обособленной жизнью... И может быть, потому так было беспокойно у него на душе, что по мере того, как тело его наливалось соками, в нем все сильнее заявляли о себе личные желания. Они обособляли, выталкивали его из единого потока, с каждым днем все больше и больше разрушали ту гармонию полной слитности с общим, которой

он жил на фронте и первые недели в Пекашине. И даже теперь, когда он мучился угрызениями совести, глаза его жадно и неотрывно следили за Анфисой, косившей вместе с женщинами на лугу. Он припоминал, как они ехали сюда лесом, как время от времени он прижимал своего коня к ее кобылке, чтобы коснуться ее колена...

Но еще больше мучило его открытие, которое он сделал сегодня. Оказывается, ему по-прежнему небезразлична и Варвара, ибо каждый раз, как она, улыбаясь, махала ему рукой, горячая сушь перехватывала его горло.

«Скотина! Скотина! — нещадно ругал он себя. — Мужики на фронте, а ты...»

На какое-то мгновение ему удавалось обрести душевное равновесие, но вскоре он снова нечистыми глазами присматривался к Анфисе, и ему бесконечно жаль было того светлого, радостного чувства, которое он испытывал к ней в ту белую ночь.

Весь измученный этой борьбой, Лукашин едва дождался, когда солнце село над лесом и люди потянулись к избе. Старики шли медленно, с трудом волоча ноги. Зато женщины бежали как настеганные, им надо было еще управиться с коровами. И точно, когда Лукашин стал подходить к избе, ближайšie пожни огласились криками. Это хозяйки ищут своих коров, забравшихся в кусты от дневного гнуса. Потом, выгнав их на чистое место, ставили на вязку и, наскоро обмыв подойник в Синельге, тут же, на выкошенном лугу, прилаживались на корточках под вымя коров. Вокруг избы запахло парным молочком. Коровы от гнуса не стояли, бились, иной раз хвостом или копытом угадывали в подойник. Тут и там слышались раздраженные голоса, ругань, сопровождаемая звучным шлепаньем.

Метрах в десяти от избушки, у самого леса (здесь не так жарко), стояла наспех срубленная из мелких лесин клетка, покрытая свежим еловым лапником. Там хранили и квасили молоко.

Старики и женщины, у которых не было коров, разводили костер, готовили немудреный ужин.

И от всего окружающего — от старой, замшелой избы с продымленными стенами, к которым с севера вплотную подступал лес, от лоснящихся коров, которых доили под открытым небом, от жаркого костра с подвешенными на крюках черными котелками и чайниками, возле которых возились бородатые старики, — от всего

этого веяло такой первобытностью, что казалось, время веками не заглядывало сюда. Но здесь, в лесной глухомани, где по вечерам все живое изнывало и стонало от комара, это были наиболее разумные, столетиями проверенные формы бытия. Так по крайней мере думал Лукашин.

— Что, комарики кусают? — посочувствовала Варвара, первой возвращаясь к избе от коровы. — Свеженького они любят. Известно дело, здесь не на руси.

— Не на руси?

Варвара удивилась: чего тут непонятного?

— У нас русью-то домашнее называют. А здесь, в суземе, какая уж Русь...

«Да, — размышлял Лукашин, вдумываясь в смысл Варвариных слов. — Вот она, жизнь северного мужика! Какой же ценой дались ему эти сторонние сенокосы, если у него язык не повернулся, чтобы назвать их дорогим именем Русь? А ведь отсюда до деревни километров десять — не больше...»

Ужинали на открытом воздухе, за длинным узким столом, сколоченным из двух толстых еловых плах. Солнце уже зашло. Стало свежо. По скошенному лугу от речки пополз легкий туман. От мошки не было спасенья. Она висела тучами над людьми, залезала под одежду, слепила глаза. Старики сидели в холстяных куклях-накомарниках, женщины так обмотались платками, что видны были только глаза да рот. Варвара надела даже легкие рукавицы. Только одна Марфа восседала без платка, с открытым лицом и шеей, точно она была заговорена от гнуса.

Стало легче, когда Трофим догадался прикрыть огонь еловой лапой и на людей потянуло дымом.

Ели молча. В притихшем на заре воздухе звонко выговаривали ложки о посуду, всхрапывал, обжигаясь, Трофим. Варвара, зачерпнув похлебки с нападавшей туда мошкой, брезгливо передернула плечами. Марфа сдвинула брови:

— Ешь. Чего нос воротишь? Мяса хотела, а как упало, отворачиваешься.

Лукашин сидел с краю, рядом с Анфисой. Она только что вернулась с пожни ходила с Софроном Игнатьевичем смотреть стога. Ей, видно, пришлось пробираться кустами и некошенными

травниками, — к намочшему платью на плечах и на спине пристали травяные семена, какой-то белый пух.

Она заботливо подкладывала ему свой хлеб и изредка, украдкой, из-под белого платка, надвинутого на самые брови, косила в его сторону черным улыбающимся глазом.

Лукашин вдыхал аромат разнотравья и росяной свежести, идущий от Анфисы, хмурился, когда встречался с лукавым, подстерегающим взглядом Варвары.

Разговорились, когда немного утолили голод. Опять те же вопросы: что на фронте?

Софрон Игнатьевич, свернув сигарку, полюбопытствовал:

— А как насчет второго фронта? Слышно чего? Ложки в мисках замерли, но после ответа Лукашина — яростная стукотня, возмущенные голоса:

— О чем думают?

— Союзнички...

— Мы этих союзничков отведали — в какой деревне могилы не оставили...

— Да уж так, Иван Дмитриевич, может, и неладно теперь говорить, вздохнула Василиса, — а только у нас от этих американ да англичан с двадцатого слезы не высохли. И что они вытворяли здесь, на Пинеге, — страх вспомнить... У моей сестры был сынок Ваня — весь-то мальчишечко тринадцати годков. Ну, послала сестра Ваню к тетке, в соседнюю деревню... А ребенок что? Попались на дороге патроны стреляные — идет, играет этими патронами. А тут американы, англичаны, — увидели, схватили ребенка. Тетка прибежала вечером ни жива ни мертва: «Выручайте Ваню». Мы с сестрой к американам, добрались до ихнего начальника, в ноги падаем: «Отпустите ребенка». А начальник, рыжий, здоровенный такой, ногами топает, лопочет по-своему: «Партизан, партизан...» да сестре тычет крестик на белом шнурке — а это Ванин нательный крестик... Сестра как увидела крестик-то — умом пошатнулась. Так и доживала, бедная... Ну а Ваню, — всхлипнула Василиса, — весной у берега нашли... всю зиму в проруби пролежал...

После тягостного молчания Варвара, присмирив, вздохнула:

— Мы вот, бабоньки, тут сидим; разговариваем... А там-то как? Может, кто из наших мужиков сейчас с жизнью прощается...

Марфа с грохотом поднялась из-за стола:

— Чирьище тебе на язык!

За ней, хмурые, подавленные, начали вставать остальные.

Перед тем как идти спать, хозяйки раза по два, по три прокричали — пугали зверя. С ближайших пожен в ответ раздалось разноголосое мычанье.

Варвара, посмеиваясь, толкнула Марфу, которая разобралась с починкой рубахи:

— Ты чего молчишь? Ну-ко своим ангельским... Понадежнее будет.

Марфа без всякой обиды, будто так и надо, отложила шитье, встала и, сложив трубкой руки, рыкнула — словно выстрел прокатился по лесу.

— Ну теперь никакой зверь не страшен, — улыбнулась Варвара и, подмигнув Лукашину, легкой, виляющей походкой пошла к Синельге умываться на ночь.

Обувь снимали на улице; скоро запахло портянками, развешанными для просушки на жердочках и деревянных крюках, вбитых в стены избушки.

Лукашин первый раз в жизни ночевал в сенной избушке.

Четыре замшелых продымленных стены, рубленных в чашу, низкий потолок, черный от сажи, каменка — очаг в левом углу от входа, занимавшая добрую треть помещения, над ней в стене дымник — небольшой проруб для выхода дыма, по бокам стен нары для спанья, заваленные сухим сеном, — вот и все устройство сенной избушки. В старое время обходились без окошек, разве что прорубали какую-нибудь дыру в головах над нарами для веселья ребятишек, которых оставляли спать до завтрака, да для курителей. А так — зачем окна? Лишняя щель для комара да расход на стекло.

Лукашину как гостю уступили одиночные нары напротив каменки у двери. Остальные, в том числе и Анфиса, вповалку разместились на передних нарах. Трофиму и Софрону Игнатьевичу пришлось лечь на полу, — на нарах не было места. Неуемная Варвара завела было разговор, но на нее прикрикнули, и минуты через две в избушке уж стоял храп.

Лукашину не спалось. Лежа в темноте, он посматривал на мерцающие в каменке два уголька, вяло покусывал сенную былку. На

передних нарах кто-то заворочался, вздохнул. Не Анфиса ли? Может, она тоже не спит? Сердце у него учащенно забилося. Ему вдруг стало душно и жарко. Тело, накусанное комарами да мошкаррой, горело. Под рубаху набилась сенная труха. Чертовски раздражал храп Трофима и Марфы, будто затеявших соревнование между собой.

Немного погодя он встал и, осторожно скрипнув дверцей, вышел на волю.

Тишина... Туман над лугом. Лохматые стога великаны выплывают вдаль. На варнице чадит дымок, синей лентой тянется к небу, которое так бледно, что народившийся призрачный месяц чуть заметен на фоне зубчатого неподвижного ельника. Внизу на Синельге что-то раз и два хлопнуло. Это, должно быть, прожорливая шука бросилась на зазевавшуюся рыбешку. И опять все тихо. Опять неподвижный лес по сторонам, туман над лугом, и в нем, как сказочные богатыри, стерегущие покой усталых людей, — стога...

Лукашин вдыхал полной грудью ночной пропахший сеном и молоком воздух, вслушивался в благодатную тишину окружающего мира — и не хотелось верить, что где-то, на той же земле и под тем же небом, рушатся громады городов, в муках и корчах умирают невинные люди...

В избушке Лукашин осветился спичкой, чтобы не наткнуться на спящих колхозников. На секунду мелькнули руки и ноги неподвижных, словно распятых тяжелым сном людей. Духота, храп... А он-то, стоя у тлеющего костра, прислушивался, не скрипнет ли дверь, не выйдет ли к нему Анфиса. Да разве до этого ей, когда она до упаду наработалась за день?

И снова в нем заговорила потревоженная совесть...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Сенокос был в разгаре, а к людям зывали уже поля. Впрочем, в Пекашине жатва началась, как только забелели хлеба. Поздно вечером придет с покоса хозяйка, нажнет сноп жита^[2] на своем участке, высушит за ночь на печи, а утром встанет, обколотит, размелет на домашних жерновах, слепит какой-нибудь хлебец, да с тем и на пожню. И как ни тягостны были вести с фронта, а люди немножко приободрились — дождались-таки новости.

Но скоро и эта радость выгорела в суховее, который принес с собою август. В Пекашине началась жара. По утрам не схватывались белым дымком росы, ручьи и речонки пересохли, и к полудню листья вянули на деревьях. В знойном, добела раскаленном поднебесье целыми днями метался пепельно-серый канюк, плакал пронзительно и тоскливо: «Пи-ить!.. Пи-ить!..»

Леса затянуло дымом, пахло гарью — казалось, сама война вплотную придвинулась к Пекашину.

Суеверный страх стал закрадываться в души людей. А ну как сгорит картошка — единственная надежда каждого? Что тогда, живым в землю ложиться?..

Надеялись на ильин день — редко бывало, чтобы Илья не отбил гребь. Но в этом году погромело по краям, попала вхолостую молния — и все. Только на третий день пролилась небольшая тучка, да зато так дружно, что с домашнего бежали бегом. Но когда поднялись в гору, опять сверкало солнце, а в деревне даже пыль не прибило. Темная синь, прорезаемая вспышками молний, уходила в навины.

И все-таки в этот день Лукашин был по-настоящему счастлив. Сегодня он первый раз попробовал взять в руки грабли. Дома, пошатываясь от усталости, он стащил с себя намокшую гимнастерку и замертво свалился в кровать...

Его разбудил отчаянный стук в окошко:

— Горим? Горим!..

Не помня себя, он выскочил на крыльцо. В заспанные глаза больно ударило солнце. Надсадный перезвон железной плиты: бум!

бум!.. Мимо по дороге с воплем и стоном пробежала растрепанная баба:

— Пожар!.. Пожа-а-р! О, тошнехонько...

Лукашин кинулся на дорогу.

С севера, над лесом — рукой подать — огромными тяжелыми клубами выметывал густой белый дым.

«Да ведь это у Сухого болота! Гектары победы...» — с ужасом подумал он и в то же мгновение представил себе масштабы надвигающегося бедствия. Хлеб, хлеб в опасности!

На задворках, где-то возле конюшни, заржала лошадь. Лукашин машинально, не думая, выхватил из изгороди кол и напрямик, улицами и переулками, побежал туда. У конюшни несколько женщин, конюх Ефим и Анфиса запрягали Партизана. Лукашин едва успел вскочить на задок телеги — жеребец с места взял в карьер.

По мосту отчаянно затрясло, загрохотало, вдогонку плеснулся тонкий, пронзительный плач: «Ма-ма-а...»

Пыль, сосны, запах гари... При въезде в навины телегу закидало из стороны в сторону: там, что ни сажень, — поворот. Лукашин, вцепившись рукой в дроговину, подпрыгивал, как мячик, бился спиной о чье-то горячее тело.

«Бум, бум, бум!» — несло из деревни.

По дорогам, тропинкам бежали люди, что-то кричали. Топоры и лопаты ослепительно вспыхивали на солнце...

Потом вдруг треск, крики, стоны, и Лукашин, больно ударившись плечом, свалился в канаву.

Когда он вскочил на ноги, женщины и старичонка Ефим, повиснув на оглоблях, удерживали жеребца. Тот, весь мокрый, храпя и пятясь назад, дико задирает косматую голову, вздымал огромные передние ноги, подогнутые в коленях. Затрещали оглобли...

— Гужи, гужи рубите! — закричала Анфиса.

Лукашин бросился на помощь. Но тут произошло невероятное. В воздухе мелькнули голые колени, и в ту же секунду он увидел Анфису на жеребце.

Женщины шарахнулись в стороны.

Тяжелый грохот, пыль... Меж кустов взвился белый платок Анфисы.

Ошеломленный, тяжело дыша, Лукашин оглядел место катастрофы: накренившаяся набок телега, разбитое колесо...

Потом, плотая пыль и обливаясь потом, он бежал по дороге, кого-то обгонял, кто-то обгонял его...

Шум и гул стояли в ушах, в горле першило. Черная дымовая завеса, обложив полнеба, закрыла солнце. Стало темно. И только отблески невидимого, скрытого за перелесками пожарища, трепетно пробегавшие по верхушкам деревьев, разрывали эту темень, да по сторонам вдруг вспыхивали в багровых отсветах полоски хлебов с поникшими колосьями. И всю дорогу сквозь нарастающий шум и гул пожара ему чудился жалобный, умоляющий звон колосьев: спасите, спасите... Где, где он видел такое? В памяти встало лето прошлого года, осиротелые деревни, пожарища, неубранные поля... Ужас охватил Лукашина: а ну как не задержать огня? Все погибнет: и хлеб, и люди, и деревня.

Совершенно изнемогая, весь мокрый, он пересек ручьевину и взбежал на пригорок. Душная, знойная волна дохнула ему в лицо. В то же мгновенье ослепительный свет резанул по глазам.

Но то, что он увидел затем, привело его в отчаяние.

Из глубины леса с шумом и ревом шла стена огня. И перед ней — несколько маленьких черных фигурок, первыми прибежавших на пожар. Они металась между стволами деревьев, размахивая елками, отступали, осыпаясь тучами искр, и снова кидались на огонь.

— Назад! Назад! — закричал что есть мочи Лукашин. — Лес, лес рубить надо!

Задыхаясь, давясь от дыма, он прямо по ячменному полю бросился в самое пекло.

Через несколько минут по всей опушке леса яростно застучали топоры, лопаты. Валили деревья, оттаскивали сучья, сдирали дерн, мох, багульник. Треск и грохот стояли кругом. Дико ржали привязанные к ручьевине кони. Старые, могучие ели вспыхивали, как факелы, и на людей, задыхающихся от жары, от дыма, сыпались мириады искр, летели раскаленные хлопья, головни, кора.

Лукашин вместе с какими-то женщинами и подростками оттаскивал сучья, кустарник, хватался за кряжи — делал все, что можно было делать одной рукой. Мало-помалу в нем стал просыпаться командир. А как на флангах? Не забыли в суматохе?

Прикрывая лицо рукой, он выбежал на окраину поля и, путаясь ногами в ячмене, побежал на левый край. Но там уже вовсю орудовали Степан Андреянович и Трофим — розовая щепка летела из-под их топоров. Мишка Пряслин как черт вертелся вокруг них, отгонял елкой напиравший огонь.

Лукашин побежал к Сухому болоту. Ни неба, ни леса в той стороне. Все дым и дым... Огонь теперь подступил уже к самой опушке леса. Неимоверный грохот и стон стояли в воздухе. Падали ели, трещал кустарник, диковинно вспыхивали розовым светом свежие пни. И горсточка женщин, стариков и подростков в беспамятстве билась с разъяренной стихией.

Потом он увидел Марфу. Она стояла одна на самом краю опушки — там где лес переходит в Сухое болото. Как уж она оказалась именно здесь — случайно ли, поставил ли кто ее, но Лукашин сразу понял: тут самое опасное место. Ведь если только огонь перекинется на Сухое болото, тогда ничем не удержать его. В одно мгновение вспыхнут десятки гектаров. И огонь, словно понимая это, с диким остервенением рвался на простор, прыгал с одного дерева на другое.

Вокруг Марфы ухало и гудело, смола закипала на деревьях, обгоревшие листья сыпались на нее с кустарника. А она, огромная, вся багрово-красная, с черными, выбившимися из-под съехавшего платка волосами, вздымала над головой жердину и со стоном, уханьем крушила вокруг себя все, что попадалось под руку. Одна высокая тонкая сосна никак не поддавалась — жердь не доставала до макушки. Тогда Марфа, отбросив жердь, ухватилась обеими руками за ее гладкий ствол. Сосна заскрипела, выгнулась дугой, но не треснула.

— Чего рот разинул? — прохрипела она.

Лукашин, опомнившись, бросился к пню, вырвал топор и, подбежав, ударил по стволу. Резкая, режущая боль опалила его больную руку, но он удержал в руках топор. Потом он валил сосны и ели, рубил кустарник, оттаскивал сваленные деревья, пятился, отступая, теснимый огнем...

Прошла, наверно, целая вечность, прежде чем он разогнул спину. Люди все еще бились с огнем. Но вдоль поля, белея свежими пнями, уже из конца в конец пролегла вырубка. Огонь, натолкнувшись на преграду, глухо и злобно догрызал остатки веток и багульника. И тогда он вдруг понял: выстояли! Ему хотелось крикнуть, обрадовать

изнемогающих людей, но он едва смог пошевелить губами. В тяжелом удушливом чаду медленно, как призраки, начали подыматься люди. Блестели топоры, лопаты...

Вскоре все собрались на окраине Сухого болота, где еще недавно дрались с огнем Марфа и Лукашин, Тут было легче дышать — с болота немножко подувало, и дым относило на поле.

Женщины, стряхивая пепел и копоть, осматривали обувь и одежду, вытирали грязь и сажу с лица, говорили, охали, дивились по-бабьи, и каждая заново переживала то, что случилось с нею:

— Я с одуру-то с граблями прибежала — как память отшибло.

— А мы бежим с Василисой — плачем слезы наши горят. Весной по зернышку собирали.

— А у меня живот спучило — не могу бежать...

— А у нас-то, у нас, женки! Как Анфиса-то на коня вскочила — я обмерла. Эдакой леший! Убьет, думаю. Как ты уж и вскочила-то, Анфисьюшка?

— А мы по мосту едем — душеньку вытряхивает. Я за Ивана Дмитриевича руками ухватилась. Чул ли?

— Ты уж, Варка, промаху не дашь. Знаешь, за кого ухватиться.

— Плат-то, плат-то у меня, бабы... О, тошнехонько! Весь выгорел.

— Молчи ты со своим платом. Хоть сама не сгорела...

— Да как же? Плат-то этот брателко даривал, когда еще замуж выдавали. Все время в амбаре берегла — зачем же вот было вчера вынимать?..

— Где — не видно — Федор Капитонович? Добро стережет?

— Хорошо, народ в деревне привелся, а кабы не было...

Лукашин, еле держась на ногах, присматривался, прислушивался к охающим и ахающим женщинам. Они были грязные, оборванные, обгорелые. По их бледным, перемазанным сажей лицам текли слезы. Черные, запекшиеся губы распухли. Он смотрел на них, вслушивался в их простые, наивные слова, и сердце его изнемогало от любви и ласки к этим измученным, не знающим себе цены людям...

— Эй, у кого горло не в порядке?

Все обернулись на крик.

Из ручьевины, меж кустов, показался Мишка Пряслин. Мокрое, блестящее лицо его блаженно улыбалось, с грязного подбородка

капала вода.

Трофим Лобанов, черный, как обгорелый пень, облизал пересохшие губы и, не говоря ни слова, тяжело заколесил к ручьевине. За ним, обгоняя друг друга, кинулись остальные.

Возле Мишкиной ямки, вырытой в мшистом травнике, сбились в кучу. Счастливы, подоспевшие первыми, пригоршнями черпали черную, замшелую жижу, жадно пили. Сзади на них напирали, теснили...

Трофим, растолкав женщин, плюхнулся на брюхо, заехал в колодец всей головой.

— Одичал — на чужчину-то! — полетела злая ругань. — Бабы, тащите его...

Варвара со смехом ухватила сзади за Трофимовы штаны, потянула на себя. Тот упирался, отбивался ногами, урчал нутряным голосом:

— Отстань, кобыла!

— Экое дурачье, — усмехнулся Мишка, наблюдавший эту толчею со стороны. Сбились как бараны. Мало тут воды?

Стали руками и ногами разрывать, расковыривать мох, делать новые лунки.

Когда утолили жажду, страшная усталость овладела людьми, Из ручьевины на вырубку шли еле волоча ноги. Хотелось тут же пасть на моховину и не вставать.

Меж тем огонь не унимался. Обглодав хвою и листья, он теперь принялся за обугленные, просохшие стволы деревьев, которые не сумели оттащить с вырубki. На людей опять полетели сажа, искры, головни. Дымная, непроглядная хмарь по-прежнему крыла солнце. На левом краю все еще стонало и ухало. Там, должно быть, огонь прорвался через просеку. Но это было не страшно: мокрая ручьевина — надежная преграда. Справа огонь подбирался к Сухому болоту. Резко запахло горелым торфом.

Лукашин беспокойно взглянул на Степана Андреяновича:

— Болото не загорится?

— Не должно бы. Оно хоть и Сухим называется, а северный край мокрый.

Неторопливо начали разбирать топоры, лопаты — пора было отправляться домой.

— И чего она летает, окаянная... — вдруг недовольно проворчала Марфа.

— Кто, где? — заоглядывались женщины.

— Гляньте-ко, женки, — с изумлением сказала Варвара, — птица...

Действительно, метрах в ста от людей над вершиной высокой и тонкой, как мачта, сосны, росшей на краю болота, кружилась какая-то большая серая птица. Она то круто припадала к вершине, то, широко распластав крылья, взмывала над нею.

— Чего-то там есть, зря летать не будет.

— Ну-ко, Мишка, у тебя глаза повострее, — толкнула Варвара Мишку.

Но Мишка и без ее просьбы, вытянув шею, напряженно всматривался в макушку сосны.

— Чего-то чернеет... — неопределенно сказал он.

— Да ведь это, бабы, гнездо у ей на дереве! — всплеснула руками Дарья. Вот глупая, нашла место...

Сердобольная Василиса поднесла к глазам конец платя:

— Вишь вот, тварь бессловесная... Слова сказать не может, а мать — деток своих в беде не бросила...

Недалеко от сосны в воздухе взлетела и с треском рассыпалась горящая головня. Серая птица еще беспокойнее заметалась вокруг сосны. Вдруг она бросилась к людям, пролетела над их головами, да так низко, что Лукашин почувствовал на своих губах запах птичьего пера.

— Это она людей на помощь зовет, — вздохнула Дарья. — Ей-богу, бабы...

— Ну-ко, люди... жалко ведь... сгорят, — засуетилась Варвара.

— Срубить надо! — тряхнул головой Трофим и стал вынимать из-за ремня топор.

— С ума-то не сходи! — закричали на него женщины. — Дерево упадет — что будет...

Трофим с обидой отошел назад.

— Нет лестницы... кабы лестница — снять можно.

— Эк вам далась эта птица, мало их сгорело сегодня, — начал увещевать разволновавшихся женщин Софрон Игнатьевич и не закончил.

Мишка Пряслин со всех ног бросился к сосне.

— Миша, Мишка, куда? Вернись! — закричала Анна. Мишка даже не оглянулся. Подбежав к сосне, он с ходу начал карабкаться по стволу. Но ствол был гладкий, тонкий, и едва он сделал несколько перехватов, как ноги его скользнули, и он оказался на земле.

— Мишка, Мишка, не смей! — опять закричала мать. Минуту спустя Мишка, цепко оплетая дерево руками, снова карабкался по стволу. Серая птица теперь кружилась над самой Мишкиной головой. Она взмывала кверху, тяжело хлопая огромными, с белым подбоем крыльями, падала вниз и, очертив круг-два над головой парня, снова устремлялась к вершине. «Скорей! Скорей!» — казалось, умоляла она. И Мишка лез и лез. Люди, задрав головы, не сводили с него глаз. Вдруг густая пелена дыма скрыла парня.

— Ми-и-ша-а... Ми-и-шка-аа!

Анна рванулась вперед, но кто-то схватил ее сзади.

— Люди вы или нет! Птицу пожалели, а у меня...

Когда дым рассеялся, все с облегчением вздохнули. Мишка, сжавшись в комок, по-прежнему карабкался по стволу. На минуту он остановился, передохнул, махнул людям рукой, точно успокаивая их, и опять полез вверх. Теперь до вершины осталось метра три. Но какие это были метры! Тонкая сосна под тяжестью тела выгибалась, качалась... А рядом бушевала разъяренная лава огня.

— Назад! Назад! — закричали все в один голос. Кажется, только теперь дошло до каждого, какой опасности подвергался парень. Ведь достаточно одной искорке упасть на рубаху — и он вспыхнет у них на глазах, как свечка.

Опять повалил дым кверху. В багровых отсветах пламени зловеще вспыхнули белые подкрылья птицы.

— Аа-й! — завопила Анна.

Настя схватила топор, кинулась к сосне. За ней бросились, с треском ломая сучья, другие. Рубили, оттаскивали кустарник, топтали огонь ногами, сбивали слегами, срывали мох лопатами.

— Ну, теперь не страшно, — сказал Лукашин, когда огонь отогнали саженой на десять от сосны.

Затем он отыскал глазами Настю. Она стояла у дотлевающего кустарника и, размахивая елкой, все еще расправлялась с огнем.

— Молодец, Настя!

Девушка приподняла голову, застенчиво улыбнулась и снова принялась хлопать елкой, поднимая вокруг себя целые снопы искр.

Мишка уже был у вершины.

Люди, столпившись у подножия сосны, посматривали вверх, восхищенно переговаривались:

— Достал-таки... Ну и парень!

И вдруг отчаянный вопль просверлил воздух:

— Ааа-а-а...

По свежей вырубке, широко раскинув руки, бежала обезумевшая от боли Настя. На ее спине бились языки пламени.

— Ложись! Ложись! На спину! — закричал Лукашин.

Он бросился ей наперерез, но упал, зацепившись ногой за коренья. Падая, он видел, как чьи-то руки схватили девушку, пригнули к земле.

Когда Лукашин подошел к людям, склонившимся над Настей, он с ужасом почувствовал запах горелого мяса. Она лежала, накрытая грязной одежиной, лицом в землю, с неловко подогнутой оголенной выше колена ногой. Судорожные подергивания тела, стон... Она была без сознания.

Тихо всхлипывали женщины. Лукашин закрыл рукой глаза и тоже заплакал...

А в это время у подножия сосны стоял одинокий, истерзанный Мишка. Рубаха на нем была порвана в клочья, руки исцарапаны, ободраны до крови. В одной руке он держал старую кепку, которая так и подергивалась от засунутых туда птенцов. Серая птица устало взмахивала над ним, почти касаясь крыльями его слипшихся от пота волос. Но Мишка не замечал, не чувствовал ни кровавых ссадин на руках, ни протестующих толчков птенцов, пытавшихся вырваться из кепки на волю, ни тоскующей птицы-матери, которая взмахами крыльев, как ветром, оведала его потную голову. Бледный, без кровинки в лице, он стоял с широко раскрытыми от ужаса глазами и не смел двинуться с места.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Настя так и не пришла в себя. Подвели телегу, выстлали ее травой да одежкой, какую можно было скинуть с себя, подняли осторожно бедную и повезли. Сзади поплелись усталые, измученные люди. Присматривать за пожарищем остались Анфиса и Лукашин.

Подавленные, потрясенные случившимся, они сидели на свежей валежине и молчали. Быстро надвигались сумерки. В темноте, вздуваемые ветром, зло вспыхивали кучи раскаленных углей, с треском и шумом разваливались остовы обгоревших деревьев, взметая в черное небо фонтаны огненных искр.

— Ветер крепчает... надо бы обойти, — сказала Анфиса.

Встали, пошли в разные стороны.

У Лукашина разламывало от боли раненую руку. Пощупал — распухла... Загрохотал гром, полоснула молния, и сразу — кромешная темнота. Он брел наугад, на ощупь, спотыкался, хватался здоровой рукой за кусты. Потом забрызгало. Дождь, дым, чад...

— 0-э-э-э... — глухо простонало слева.

Лукашин, откликаясь, давясь от дыма, побежал на голос Анфисы.

Столкнулись мокрые, запыхавшиеся.

— Там ели густые! — закричала Анфиса, махнув рукой в сторону деревни.

Бежали прямо по ячменю, оступались, падали, ослепленные вспышками молний. Пока добрались до елей, взмокли до нитки. Задыхаясь, припали к толстому дереву. Тут было сухо, ни одна капля не просачивалась сквозь толщу хвои. Отдышавшись, Анфиса сказала:

— Кабы знать, что дождь будет, домой идти надо. — Она зябко подернула плечами. — Холодно. У вас, Иван Дмитриевич, зажигалка была, не потеряли?

Лукашин, сдерживая дрожь, с трудом достал из кармана зажигалку, протянул Анфисе. Она долго пыталась разжечь огонь, ползала на коленях, дула.

— Нет, все вымокло, не горит. Пойду поищу, нет ли где поблизости сухого сена.

Сквозь шум дождя он слышал, как зачавкали по грязи ее башмаки. Ему было стыдно за себя, за свою беспомощность, но у него не было сил пойти за нею. Его бил озноб, лязгали зубы, и он думал, что окоченеет, пока дождется ее. Наконец она вернулась с большой охапкой сена. Под елями жарко запылал огонь.

Анфиса разостлала сено, сказала:

— Подвигайтесь, Иван Дмитриевич. Сушиться будем.

Лукашин, как в забытьи, шагнул к огню, тяжело опустился на сено.

— Господи! — воскликнула Анфиса. — Да вы в одной рубашке нижней... Как я раньше-то не заметила.

Ей бросилось в глаза бледное, измученное лицо Лукашина. Она испуганно припала к его ногам, дотронулась до него руками:

— Да вы ж дрожите. Как лист осиновый. А рука-то — вся в крови, распухла... Что же мне ничего не сказали?

Она быстро привстала, вырвала из нижней юбки белый лоскут, стала перевязывать ему руку. Затем загребла вокруг сено, обложила им Лукашина:

— Теплее?

— Ничего... отогреюсь, — вздрагивая, пробормотал он.

— Погодите, я вам кофту свою дам. Она бумазейная, теплая.

— Не надо, — затряс он головой. — Сами замерзнете. Но Анфиса, не слушая его, уже снимала с себя кофту. Перед прикрытыми глазами Лукашина мелькнули голые руки, повалил пар. Через некоторое время, когда кофта была нагрета, Анфиса опустилась перед ним на корточки.

— Давайте снимем рубашку-то. Кофта теплая-теплая, — стала она уговаривать его, как малого ребенка. Она стеснялась своих голых плеч и в шутку добавила: А то мне проходу женки не дадут. Скажут, мужика заморозила.

Лукашин безропотно подчинился: его все еще лихорадило.

Переодев его в кофту, Анфиса сделала из сена изголовье, потом уложила его на спину, прикрыла сверху и с боков сеном.

— Ну, теперь лежите, не брыкайтесь, — опять шутливо сказала она.

Мало-помалу озноб стал проходить. От горячей кофты, от сухого сена стало тепло. Тяжелые мысли, все пережитое за день

отодвинулось в сторону, и он чувствовал сейчас только одну приятную теплоту, которая горячей волной разливалась по всему телу. Голова сладко кружилась. Где-то под самым ухом: чек... чек... чек... «Кузнечик... Ах, дуралей... день и ночь спутал... спутал...»

Он не знал, спал ли сколько-нибудь или дремал. Когда он открыл глаза, дождя уже не было. Огромная яркая луна стояла в небе, и вокруг, как в сказке, все было залито серебряным светом. Легкий туман поднимался над полем. Где-то внизу, в глухом ельнике, бойко выговаривал новорожденный ручей. Вкусно пахло сеном, смолью пригорелой хвои...

Потом он увидел Анфису. Она сидела у его ног и, прикрыв рукой глаза от дыма, поправляла сучком огонь. Голые плечи, от сорочки и юбки пар...

В одно мгновение ему припомнилось все: и то, как он замерзал от сырости и холода, и то, как она отогревала его...

— Анфиса... — прошептал он, резко приподнимаясь на руку.

Анфиса вздрогнула, лицо ее просияло:

— Воскрес... А я уж думала — заболели.

По щекам ее, разогревшимся от огня, текли слезы. Спohватившись, она прикрыла грудь руками и опять глядя на него мокрыми, прищуренными от дыма глазами, заговорила:

— Руке-то легче? Я вся перепугалась...

— Анфиса... родная моя...

Задыхаясь от счастья, Лукашин притянул ее к себе и начал целовать в теплые щеки, губы, глаза.

Она слабо отталкивала его, шептала:

— Не надо, не надо...

В ручьевине, за елями, что-то треснуло, потом донесся отчетливый скрип... Телега.

— Тпру, милая...

Через минуту из кустов к костру подошел Митенька Мальшня, мокрый с головы до ног.

Анфиса стояла, сгорая от стыда, не зная, куда девать глаза.

— Не замерзли? — осведомился Мальшня, с удовольствием потирая над огнем свои руки. — А я, как пошел дождь, сразу смекнул: чего, думаю, им здесь караулить? Да куда там! Доехал до первого

гумна, дождичек разыгрался такой, что лошадку с ног сбивает. Так всю ноченьку и простоял у гумна под крышей.

Ехали молча. Словоохотливый Малышня раза три заводил разговор о дожде, но ему никто не отвечал. С кустов капало.

«Передропли, милые, — слова сказать не могут», — с сочувствием подумал Малышня и остальную часть дороги тоже молчал.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Войдя в избу, Анфиса, не раздеваясь, бросилась на кровать, зарылась головой в подушки. Боже мой, боже мой!.. Иван Дмитриевич... Да не приснилось ли все это?..

Во дворе призывно мыкнула корова. Анфиса приподняла голову — в избе светало.

— Молчи ты, Пестроха, погоди... — и опять, вся трепещущая, зарылась лицом в пуховину подушек...

«Родная моя... родная моя...» — шептала она.

Она ощущала на своих губах его прерывистое дыхание, его жадные, ищущие губы, волнующую горечь табака. Перед глазами поплыли, закачались мохнатые ели, огонь. Потом она заново переживала, вспоминая, как переодевала его в свою кофту, укладывала в сено.

Она привстала, путаясь пальцами в застежках, стянула с себя кофту и, улыбаясь, с наслаждением вдыхая прогорклый дымный запах, уткнулась лицом в мягкую бумазею. На нем была...

«Ох и дура же ты, Анфиса... до чего дура, — вдруг подумала она, трезвея. Сколько тебе лет-то?..»

Напуганная этой неожиданной мыслью, она встала и неуверенно, с робостью, одергивая юбку, подошла к зеркалу.

Нет, она еще... И глаз молодой, и грудь — любой девке на зависть.

Повеселевшая, воспрянувшая духом, она стала прибирать растрепавшиеся волосы и вдруг побледнела... Неужто? Она приблизила лицо к зеркалу, приподняла на виске прядку волос, и — боже мой! — один, два, три...

Она оглянулась, словно боясь, что за нею кто-то подсматривает, и лихорадочно, закусив губу, начала выдергивать один за другим седые волосы. Потом раздумала, покачала головой.

— Нет, голубушка, — сказала она вслух, — видно, прошла твоя пора. Бабий век — сорок лет...

Она как-то сразу вся отяжелела и, чувствуя, как закипают едкие слезы, присела к столу. Но в ту же минуту все взбунтовалось в ней.

Нет, не прошла ее пора! Не было у нее поры. Каждому положено цвести в своей жизни, а разве она цвела? Чем ей вспомнить свою загубленную жизнь? Вдовой в замужних женах жила!.. Глупые бабы, — каждая идет к ней со своими печалью да радостями, совета просит. А того не подумают, что и она не каменная. Ведь и у нее сердце-то бабье, и она ласки хочет...

Жить с любимым человеком... Да что может быть желаннее? А тут еще, может, пошли бы дети... Ведь ей ни разу в жизни не привелось услышать обращенное к ней слово «мама»... Грешным делом, она завидовала сейчас даже Анке. Да ради того, чтобы иметь кучу ребятишек, она бы какую угодно муку приняла, все бы вытерпела.

И ее разгоряченному воображению начали рисоваться картины одна заманчивее другой. То она видела себя возвращающейся поздним вечером с работы... Навстречу ей бегут босоногие ребятишки. Ее дети! «Мама, мама идет!» Они с разбегу тычутся головенками ей в ноги, хватаются за подол, ловят руки. И любо ей слушать, как они наперебой, хвалясь друг перед другом, рассказывают ей про свои ребячьи дела. То ей рисовалось, как в жаркий полдень она с переполненными грудями бежит домой кормить ребенка. «Кровиночка ты моя ненаглядная, заморила мать...» И все до того было осязаемо, что она чувствовала и как ребенок жадно рвет ее грудь вначале, и как постепенно, насытившись, затихает возле ее сердца...

А вот и муж... Весь пропахший полем, потный и жаркий, он взглядом ласкает ее, по-отцовски треплет по головкам детей. Их детей... А потом... потом вечером, убравшись по хозяйству и уложив детишек, забраться к нему в нагретую постель и, ни о чем не думая, обхватить руками его сильную горячую шею...

Нет, иного счастья она не желала себе. Она хотела только такого — самого простого, самого обыкновенного бабьего счастья, каким обделила ее судьба.

И еще много и много желанных соблазнов, годами выношенных в сердце, возникало перед ее взором.

Легкий стук в раму заставил ее вздрогнуть. Она торопливо встала, провела руками по волосам и, страшно волнуясь (уж не Лукашин ли?), открыла окно.

— Не спишь, Анфисьюшка? Под окном стояла Варвара, заплаканная, в нижней юбке, в галошах на босу ногу.

— Я сама глаз не сомкнула, всю ночь проревела. Уж так-то жалко бедную... Оногдась косим, стали купаться, а она, как березонька, тончава да бела. И кому ты, говорю, Настя, только достанешься? Кто будет ласкать такую красу?..

Анфиса не помнила, как ушла Варвара.

Упав на подоконник и обхватив голову, она в отчаянии шептала:

— Настенька... Настенька, девонька ты моя...

Да как она?.. Как она могла забыть про нее? Бедняжка, может, с жизнью прощается, а она?..

Анфиса схватила платок и, выскочив на улицу, побежала к Гаврилиным.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Лукашин вышел из больницы пошатываясь. На крыльце сидела Настина мать, за одну ночь ставшая старухой.

Он сел рядом, неловко обнял ее за плечи.

— Ничего, ничего, — успокаивал он, а перед глазами его все еще стояла темная, с занавешенными окнами палата... Тяжелый запах лекарств, одинокая койка в углу, глухой стон...

Лукашин провел рукой по лицу, расстегнул душивший ворот гимнастерки.

На больничном дворе было тихо и безлюдно. Старые, узловатые сосны, зеленым забором окружавшие районную больницу, стояли немо и неподвижно, как часовые.

За соснами кипел разноголосый, прокаленный августовским солнцем трудовой день. С шумом и грохотом пронеслась грузовая машина, в полях трещали жатки, и там, далеко, кто-то охрипшим голосом кричал: «Да неси же, черт, воды!.. Пошевеливайся!..»

Лукашин, не находя слов, гладил судорожно вздрагивающие плечи старухи.

И вдруг он увидел молоденькую, ослепительно белую березку. Она стояла одна, посреди двора, далеко отбежав вперед от застарелых сосен, и, тоненькая, высокая, словно на цыпочках, тянулась навстречу ласковым лучам солнца.

Он прикрыл ладонью глаза. Нет, это невыносимо...

— Как и отцу-то написать!.. — всхлипнула мать. — С ума сойдет. Ведь она у нас самая желанная, самая расхорошая... Бывало, училась в районе... Сам придет с работы, на ногах едва держится... «Какой сегодня день? Суббота?» И пошел встречать свою Настеньку... Ох, беда, беда... Да что же вы молчите-то? — вдруг схватила она его за рукав. — Что с ней будет? Никто правды не говорит.

Что он мог ей сказать? В том, что Настя выживет, доктор не сомневался. А вот глаза?

В памяти мелькнуло далекое детство. Деревенская улица, босая старуха с холщовой сумой, батогом нащупывающая дорогу... Мать,

пытаясь утихомирить его, пугает: «Вот я тебе, позову Екимовну... в сумку-то запишет...»

«Нет! Нет!» — с ужасом содрогнулся Лукашин.

Он вскочил на ноги и, грохоча сапогами по деревянному настилу, побежал к калитке...

Секретарь райкома встретил его упреком:

— Как же вы — не уберегли такую девушку?

— А на войне всех уберегают? — зло уставился Лукашин на Новожилова.

С шумом дыша, он прошел к столу, сел в кресло.

— Вот что, секретарь, — сказал он, не глядя на него. — За расчетом пришел. С меня хватит.

— Как это хватит?

Лукашин ошетинился:

— Хватит, говорю, с бабами по тылам околачиваться. Воевать надо!

— Так... — сухо заметил Новожилов. — У тебя, видно, пожар еще в голове шумит.

Лукашину показалось это намеком. Он разом побагровел:

— Ну знаешь... У меня не пожар, а совесть шумит! Не как у некоторых. Сидят — пороху не нюхали...

— Это кто же пороху не нюхал? — тихо, сдерживая себя, спросил Новожилов. Договаривай.

Лукашин резко повернулся к нему.

— А думаешь, не договорю? — Он недобрым взглядом смерил тучную фигуру Новожилова.

Новожилов тяжело навалился на стол, задышал, как запаленная лошадь. Одутловатое лицо его посинело. Затем он резко поднялся на ноги и, не спуская с Лукашина темных разъяренных глаз, хрипло выкрикнул:

— Сукин сын! Жиру моему позавидовал? Да я с двадцатого пулю под сердцем ношу — ты об этом знаешь? Тыл... Да разве не видишь, как живем? Люди на износ работают. Насмерть! А кто? Те самые бабы да ребятишки, которых вы на фронте защищаете. Понял?

Лукашин протестующие поднял руку.

— Нет, ты погоди, послушай. Залезь хоть на минутку в мою шкуру. Приедешь в колхоз — дети голодные, бабы высохли от

недоедания да от тяжести. А ты выгребаешь дочиста. Фронт требует. У ней ни черта ни и избе, ни на себе, а ты ей про военный заем... Давай, давай!.. Один раз вот агитирую так. А какая-то баба сбоку шепчет другой. Вишь, говорит, шейку наел. Наши мужики, говорит, кровь проливают, а этот всю войну языком воевать будет. Каково? А что ты сделаешь? Арестуешь? Оправдываться станешь: не зря, мол, хлеб ем! Да я перед этой бабой, если хочешь знать, на колени готов стать. Я бы ей при жизни памятник поставил. Ну-ка! Сколько человек в Пекашине на войну взято? Человек шестьдесят. А поля засеяны? Сеноуборка к концу? Да ведь это понимаешь что? Ну как если бы бабы заново шестьдесят мужиков родили... Ты вот на фронте оборону строил, а мы тут знаешь что делали? Людей ковали! Да, да! Председателей колхозов нет, бригадиров нет. А районом управлять надо? Понимаешь — все заново! Я иной раз задумаюсь, как это наша баба из пристяжной коренником стала? Помнишь, у Ленина: каждая хозяйка должна управлять государством...

— Кухарка, — поправил Лукашин.

— Ну кухарка. Так в этом все дело. Слова-то эти я запомнил давно, а вот понял их как следует только теперь. Бывало, как под начало бабе попадешь, нос воротишь. А представляешь, что бы сейчас было, если бы мы эту самую бабу двадцать лет в коренники не готовили? Вот чего, между прочим, не взял в расчет этот полоумный Гитлер.

Наступило молчание.

Новожилов тяжело, с высвистом дыша, вытирал платком градом выступивший на лбу пот. Лукашин сидел не двигаясь, упрямо стиснув зубы. Ни тот, ни другой не мог заговорить первым.

Звонок телефона все поставил на свое место. К Новожилову тотчас вернулась обычная уверенность, и, берясь за трубку, он сказал Лукашину уже твердо и по-хозяйски:

— Ну вот что. Погорячились — и хватит. А теперь иди, занимайся своим делом. И, пожалуйста, впредь не козыряй своим патриотизмом.

...Он смутно помнил, как вышел из райкома, шагал по лесной дороге... Оглянулся — кругом толстые, незнакомые сосны. Где он, куда забрел? Нет, возвращаться не стоит. Должна же куда-то вывести эта плухая, затравеневшая тропинка. Вскоре впереди замелькали

просветы, потянуло свежестью. Он вышел на вырубку, ощетинившуюся молодым сосняком.

Возле штабеля старого леса он сел и снова задумался.

Да, пора во всем разобраться. Так больше нельзя. И эта неврастеническая выходка в райкоме, и эти постоянные укоры совести — будто ты виноват перед всеми бабами, перед детишками. И откуда это? Почему? Разве он бездельничает? Ношу не по себе несет? Да, да, в этом все дело. Слишком уж легко ему живется... — Признайся честно, сколько раз ты был голоден за последние недели? Ни разу. Тебя щадят, за тобой ухаживают. В одном колхозе — хлеб, в другом масло, в райцентр приедешь — чай, сахар. А эти бабы, которых ты агитируешь? Многие ли из них хоть раз наелись досыта за все лето? А дети? У кого из них побывал кусок сахара во рту? Нет, коммунист тот, кто может сказать: я умирал столько, сколько и вы, и даже больше; мое брюхо кричало от голода так же, как ваше; вы ходили босые, оборванные — и я. Всю чашу горя и страданий испил я с вами — во всем и до конца!

И сейчас ему с особой горечью припомнилось все то, что было накануне. Как? В те самые минуты, когда обгорелая девушка в бреду, беспомощно боролась со смертью, когда мать ее захлебывалась слезами, он... Сукин сын! Он всю ночь грезил Анфисой, своей любовью. А утром, как мальчишка, бежал на свидание. Нет, тысячу раз была права Анфиса, встретив его холодным, негодующим взглядом. Пора кончать с этим. И не прав, черт побери, Новожилов: его место на фронте!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Босые Мишкины ноги у самой воды. Сгорбившись над удилищем, он с остервенением отбивается от вечерней мошки, зло встряхивает сонный поплавок. Не клюет... А на душе у Мишки так муторно, так тоскливо — хоть топись. И надо же было лезть за этой проклятушкой птицей. Из-за него и Настя обгорела. Факт, из-за него. Не полез бы на сосну, и ничего бы не было...

С увала посыпались комки глины — кто-то спускается к реке.

— Клев на уд.

Мишка, не оборачиваясь, по голосу узнал Дунярку. Этого еще не хватало! Скрипит корзина... А черт с ней, пускай полощет — все равно не клюет.

Рядом с удилищем в парной воде закачалась и поплыла на реку длинная тень. Хлопнула корзина по дресве. Нет, это уж слишком!

— Чего встала? Места мало? Проваливай!

Молчание.

— Ну? — угрожающе повернул он голову.

Сверху на него смотрели кроткие, испуганные глаза. Завсегда вот так... Прикинется овечкой, лисой подкатит, а потом на смех поднимет. У, как он ненавидел эту притворщицу! Ну ничего, он сейчас за все рассчитается!

— И чего ты злишься? Все лето не разговариваешь...

Он всего ожидал, но только не этих плаксивых речей. Злясь на свою беспомощность, Мишка устало махнул рукой:

— Катись, тут без тебя тошно.

— Ты это все из-за пожара, да? — Дунярка дотронулась до его плеча рукой.

Мишка тяжело вздохнул.

— Не надо, Миша, слышишь? Что уж — так вышло... Ты не виноват.

Ласковый голос Дунярки теплом обволакивает исстрадавшуюся Мишкину душу.

— А кто же виноват? — спросил он, помедлив.

— Кто? Ты ведь не нарочно, ты же не хотел. На войне еще не то бывает.

— Так то на войне...

— Сейчас везде война, — убежденно сказала Дунярка.

— Ты это правду так думаешь?

— Ну да, правду.

— Нет, ты не шутейно?

— Вот чудак, — улыбнулась Дунярка. — Ну честное комсомольское.

Мишка впервые за последние три дня почувствовал облегчение.

— Понимаешь, Дунярка, — заговорил он сбивчиво и торопливо. — Я ведь вовсе не хотел... Кружит эта птица, а тут бабы: «Мишка, смотри, Мишка, смотри». Ну я и полез... Да кабы я знал... Да разве бы я... — Он был так признателен, что с языка его сами собой сорвались слова: — А я на тебя вовсе и не сержусь. Хоть тут рядом полощи. Мне-то что...

Дунярка, подавляя улыбку, разогнулась и, взяв корзинку, пошла вниз по реке. Метрах в тридцати от него она остановилась и, оглянувшись, по-бабьи подоткнула подол и забрела в воду.

Солнце уже садилось за увал. Вода у берега стала малиновой. То тут, то там замигали кружки — приближался жор рыбы.

Мишка встряхнулся, переменял червяка, но глаза его так и тянулись к Дунярке... Нет, она совсем неплохая девчонка. Зря он на нее дулся. И смелая на Партизане ездила...

Гулко плещет вода. Белье под руками Дунярки играет, как большая белая рыба. Ему чего-то стыдно и боязно, но он никак не может оторваться от Дуняркиных рук, от ее голых ног, качающихся в воде...

Дунярка быстро управилась с бельем. Он, воровато скосив глаза из-под надвинутой на лоб кепки, следил за тем, как она, выйдя на берег, отжимала подол, заправляла волосы.

— Счастливо оставаться, — замахала она рукой. — Приходи в гости, черницей накормлю. Я сегодня целое ведро принесла.

— Постой... — Мишка рванул леску, раза два крутанул ее вокруг удилица и побежал к ней.

— Дай я... оно тяжелое... намокло... — И, избегая ее глаз, он схватил корзину с бельем и без передышки втащил в крутой увал.

На горке, шумно дыша, Мишка нерешительно предложил:

— Давай посидим немного...

— Давай...

Сели прямо у тропинки на жерди.

И чего бы сказать? От клеверища сладко пахнет медом, скрипит телега на деревне, надоедливо вьется мошка над головой.

От вечернего солнца на ногах Дунярки искрятся капельки воды.

Странная, непонятная сушь перехватывает Мишкино горло. Затравленно ворочая одеревеневшей шеей, он нащупывает под рукой стебелек.

— На Слуде медведь телушку слопал, слышала?.. На ноги Дунярки медленно напозаает намокший подол...

— А я, знаешь что, Миша, — откуда-то сверху, как сквозь сон, упал голос, учиться поеду.

Мишка, все еще не оправившись от смущения, искоса взглянул на Дунярку. Поймав его взгляд, она улыбнулась, но вдруг посерьезнела и, не торопясь, словно советуясь с ним, заговорила:

— В техникум хочу. Я бы не поехала. Думала, как Настя, в колхозе работать стану. Да Лукашин очень советует. После войны, говорит, хозяйство поднимать надо. Ну мы с мамой думали-думали и решили: на агронома.

Мишка с завистью слушал Дунярку — ему-то всю зиму у пня учиться, но, спохватившись, одобрительно мотнул головой:

— Это ты правильно. Валяй!

— Только вот экзаменов боюсь... А вдруг не выдержу?

— Ну, это ты брось. За версту всех оставишь.

Круглое личико Дунярки расплылось от удовольствия:

— Ну уж, сказал.

— Ей-богу! Честное комсомольское.

После некоторого молчания Дунярка тихо сказала:

— А ты будешь мне писать, Миша?

Мишка взглянул на нее. Не на смех ли хочет поднять?

Но на него смотрели такие ласковые, такие доверчивые и упрашивающие глаза, что он совсем смутился, зачем-то взял ее за руку, но тотчас же выпустил руку и буркнул:

— Буду...

Что было делать дальше, он не знал и потому, вставая, сказал:

— Пойдем.

Он опять взял корзину на руку. По узенькой тропинке идти вдвоем было тесно, и Мишка, стараясь не глядеть на Дунярку, молча, мужественно шагал сбоку по недавно выкошенной колючей меже.

За полями, когда они вышли на домашние луга, показались две женщины. Они двигались им навстречу. У Мишки сразу отяжелели ноги, глаза затравленно забегали по сторонам. А женщины все ближе, ближе. Вот он узнал их в лицо. Варвара и Дарья — самые зубастые.

— Знаешь что... — забормотал Мишка, останавливаясь. — Ты возьми свою корзину... У меня дельце тут... Червяков копать надо... Понимаешь?

В глазах у Дунярки запрыгали насмешливые искорки.

Мишка сунул ей корзину и, припадая к земле, бросился в ложбину.

— Мишка, чего дролечку свою кинул? — Это Варвара.

Он слышит, как она, смеясь, говорит Дарье:

— Вот горе какое! Девки надо, и людей стыдно.

Когда голоса стали удаляться, Мишка, весь красный, приподнял голову. Дунярка была уже далеко. Она неторопливо шла по лугу — маленькая, тоненькая, пружинисто выгибаясь под тяжестью корзины.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Хлеба поспели сразу на всех участках, донельзя разбросанных в Пекашине. Пришлось разбить людей на звенья. Степан Андреянович с Мишкой Пряслиным, работавшим на жатке, да с вязальщицами Марфой Репишной и Варварой забрался на самый дальний участок — Копанец. Первые дни ходили домой — четыре километра туда и обратно. Потом смастерили шалаш и стали ночевать в поле.

На третий день их житья на Копанце, под вечер, приехала Анфиса:

— Худа у тебя старуха, сват; проведаль бы нынче.

...Домой он прибрел затемно.

— Пришел... — слабый голос с кровати. — А я тебя еще под окошками по шагам признала...

Степан Андреянович, не зажигая огня, подошел к кровати, наклонился над женой.

Ее опахнуло горячей хлебной пылью, солнцем, голубым небом.

— Ну как, мать?

В темноте тускло блеснули глаза:

— Нажилась я, видно, Степа...

Он тяжело опустился на край постели:

— Полно, мать, ничего-то говоришь... Может, за доктором сходить?

Тронутая вниманием, она отыскала в темноте его руку.

— Какой уж мне доктор... Где лекарство-то против материнского сердца... Она не договорила, закашлялась.

С тех пор как пришла похоронная, они по какому-то неписаному уговору избегали говорить о сыне, и каждый из них молча, про себя, нес свое горе.

— Какие вы все добрые... — виновато заговорила Макаровна. — А я лежу, лежу — всех связала. Кажинный день кто-нибудь проведает. То Анфиса сватья, то Лизонька Пряслиных. Такая уж девчушка обходительная, славная. Забежит: «Не надо ли, Макаровна, свежей воды?»... А Митрий, спасибо, за родной так не ухаживают...

Отдышавшись, она с беспокойством сказала:

— Тебя бы покормить надо. А я, вишь вот, колода колодой... Срам...

— Лежи, лежи.

У него слипались глаза, в ушах стоял шорох осыпающегося зерна. Он встал, снял с вешалки какую-то одежду, раскинул на полу, возле кровати, и не раздеваясь прилег.

— Весь ты заробился, Степа, — вздохнула она. — Я уж и то нынче Анфисе пеняла. Совесть бы, говорю, поиметь надо...

— Всем нынче не сладко, мать.

— Да я ничего. Только в твои-то годы, сам знаешь, каково крупными сутками на поле жить... Хлеба-то ноне ничего, говорит Митрий?

— Ничего...

— А Копанец, поди, совсем пересох... Хотела бы я еще на белый свет поглядеть. Глаза-то закрою да умом-то все поля, все луга за день обойду. С каждым кустиком попрощаюсь... А ноженьки не несут — как чужие...

С полу раздался тягучий храп. Тяжелое удушье навалилось на нее. Но, боясь потревожить сон мужа, она прикрыла рот рукой и долго глухо и надрывно откашливалась...

Утром он проснулся с первыми лучами солнца. Макаровна сидела на кровати, свесив худые, жилистые ноги. Руками она держалась за лямку ремня, продернутого в железное кольцо в потолке. Когда-то из этого кольца свисал певучий березовый оцеп с зыбкой, в которой качался Вася.

— А мне ведь получше сегодня. Ты как здоровье принес...

В это утро с его помощью она умылась и даже немного поела. Потом, когда обсохла роса на улице, попросила:

— Вынес бы ты меня, Степа, на волю. Уж так-то хочется поглядеть на поля да на солнышко.

Утро было жаркое, тихое. Макаровна, сидя на крыльце рядом с мужем, с волнением смотрит на огород, в котором уже отцвела картошка, на любимую рябину, склонившуюся над старой баней, на величавую густо-зеленую лиственницу. Там, внизу, за огородами, — голубые разливы лугов с чернеющими шапками зародов, за лугами серебристая Пинега, а за рекой, на том берегу, высоко-высоко на красной щелье громоздятся белые развалины монастыря. И все такое

знакомое, такое родное, тысячи раз исхоженное... Славно пахнет травой, нагретой на солнце, спелым, восковым хлебом. У самых ног ее, где-то на травке у крыльца, разобрался со своей кузенкой кузнечик, и ей приятно, закрыв глаза, вслушиваться в его веселую трескотню. Потом она опять смотрит на огород, замечает неполотую грядку с луком, буйно разросшийся лопух у хлева и виновато вздыхает:

— Все то я запустила. Еще немного — и весь двор травой зарастет... Ты не сердись, Степа, уже скоро встану — управлюсь...

Потом она опять лежала в постели, а он сидел около нее. Время от времени она открывала глаза, смотрела на его опущенные плечи, на большие, задубелые от работы руки, вяло раскинутые на коленях, и вдруг снова, как вчера вечером, почувствовала себя виноватой перед мужем, перед всеми людьми, которых вот уже сколько недель она вяжет своей болезнью...

— Ты бы шел куда, Степа. Я ведь что — лежу...

— Да мне бы надо вилы вырубить, — вздохнул Степан Андреянович. — Вчера свои треснули, и Марфа просила...

— Иди, иди... Как же безвил. Да сколько-нибудь веников бы принес. Может, еще лист держится, а то как не у людей — не с чем в баню сходить...

Березняк поблизости давно уже был вырезан, и Степану Андреяновичу пришлось немало побродить по навинам, пока за Калинкиной пустошью он наткнулся на нетронутый выводок густых, пушистых березок. Он быстро вырубил двоевил, тут же обделал их и принялся за веники. То ли веревка оказалась короткой, то ли пожадничал, но когда завязал беремья, на земле осталась еще порядочная кучка прутьев — на добрый десяток веников. Ему жалко стало бросать такое добро. А березки вокруг так и ластились, так и играли листьями на солнце.

«Дай-ко я еще порежу, — решил Степан Андреянович. — День все равно потерян, а вечером лошадь стоняю, приволоку. Да и Макаровна на поправку пошла — потихоньку переберет, свяжет в веники. И руки не тоскуют от безделья, и дух здоровый, приятный...»

И затем, когда он подрубал молоденькие березки и обрезал ножом ветки, ему все припоминалось, как в первый год женитьбы они с женой вот так же резали веники. Макаровна, высокая, с

раскрасневшимся лицом молодлица, проворно, так что треск стоит от сучьев, перебегает от куста к кусту, умело орудует ножом хочется и веников побольше нарезать да и уменье свое перед мужем выказать. Ветер задирает подол ее сарафана. Степан Андреевич видит белые, крепкие колена жены и, довольный («ладная хозяйка попалась»), без устали хлопает топором...

Когда прутья были снесены в одно место и разостланы рядами по земле (чтобы не согрелись), он, все еще под впечатлением воспоминаний, сел передохнуть. Солнце уже поворачивало на полудник. Тихо шелестели березки. Он привалился спиной к стволу деревца и вскоре, незаметно для себя, задремал. И только он задремал, из сонной зыби снова выплыла молодая Макаровна.

Вот они с женой мечут сено на домашнем лугу. Ах, какое сено! Душистое, мелкое, как чай... С запада погромыхивает, душно, и он торопится, чтобы управиться до дождя. А кругом видимо-невидимо народу, и все, почему-то прервав свою работу, смотрят на них.

«Ну и молодуха у Степоньки», — слышит он завистливые голоса сзади.

Ему лестно от похвалы, и он нет-нет да и взглянет на свою проворную жену. А она, молодая, нарядная, высоко стоит на зарode и ловко подхватывает своими белыми руками охапки сена.

«Ну, до дождя управимся», — радостно думает он, нагибаясь над остатками сена.

И вдруг оглушительный хохот раздается кругом. Он поднимает голову и видит: перед ним на месте зарода высится огромная копна цветов — и всё какие-то красные да лазоревые, а на вершине копны вся осиянная солнцем Макаровна.

Ужас охватывает его. Где же сено? Чем он будет кормить зимой скотину? А с вершины копны по-прежнему протягивает к нему белые руки улыбающаяся Макаровна, торопит: «Степа, Степа...»

В отчаянье он хватает вилы, хочет поднять сено... и не может. Оно рассыпается, как труха. Он пробует еще и еще, все напрасно. Что же это такое? Весь мокрый от стыда и горя, он оборачивается к людям, но на лугу никого нет. А от деревни, прямо по скошенному щетинистому лугу, часто-часто перебирая голыми ножонками, бежит крохотный белоголовый мальчик. Да ведь это его Вася! Вася подбегает

к отцу, выхватывает у него из рук вилы и — боже ты мой! — ребенок легко подбрасывает кверху охапку сена.

« Степа, Степа, что же ты? » — слышит он укоризненный голос жены сверху.

Почувствовав резкий укол в сердце, он очнулся. Солнце било ему прямо в глаза, по лицу тек пот. По тому, как привянули листья на ветках, он понял, что проспал не меньше часа.

Приснится же такое... Он поднялся на ноги. Мало-помалу смутная тревога и беспокойство начали овладевать им. Как она там сейчас без него? Заждалась, поди, — может, без воды лежит, а он вот заснул... И надо же было тащиться за этими вилами! Что бы посидеть сегодня дома. Ведь соскучилась она по живому-то слову. Каково это целыми днями лежать один на один со своими думами... Вечор все выпрашивала про Копанец, про хлеба, а он как не сыпал — свалился замертво...

Все больше и больше волнуясь, он торопливо приладил к вилам беремья веников, взвалил его на спину и едва не бегом направился на дорогу.

« Ничего, — успокаивал он себя, — приду, затоплю баню. Свежий-то веничек от всякой хвори хорош... »

Когда он вышел в свою бывшую навину, на глаза ему попали красные, облитые вечерним солнцем ягоды малины, которые то тут, то там мелькали в седом придорожном малиннике.

« Вот бы ей после бани чайку с малиной попить, — подумал Степан Андреевич. — Ах ты горе, посудины-то с собой нету... »

Но ему так захотелось доставить удовольствие больной жене, что он остановился, сбросил на землю ношу и, сняв с головы фуражку, побрел к малиннику.

Теплые спелые ягоды плющились под деревянными, негнушимися пальцами, кропили их алым соком. Иная перезрелая ягода срывалась с черенка, едва он дотрагивался до куста руками. И он терпеливо нагибался, ползал в колючем малиннике и все представлял себе, как обрадуется Макаровна ароматной ягоде...

На деревне уже сгущались сумерки, когда он вошел в свой заулочек. — Федосья, Феня... — тихонько побарабанил он в окошко, подавая весть о своем приходе.

Он скинул на крыльцо беремя, поставил вилы сохнуть к стене и, взяв в руку фуражку, стал открывать ворота.

— Феня, как ты тут без меня? — зашептал он с порога.

Никто не ответил ему.

— Спишь? Ну-ко, проснись. Я вот тебе малинки принес...

И он, протягивая вперед фуражку, на носках шагнул к кровати:

— Феня...

От подушек, там, где неподвижно лежала голова Макаровны с восковым лицом, роем, жужжа, поднялись мухи...

Хоронили Макаровну на третий день, перед закатом солнца. Два дня и две ночи лежала она в гробу, посреди избы, ожидая последнего прощания с дочерью и внуком, которые страдали на дальних сенах.

Провожали ее старые, да малые, да те, кто работал поблизости. Степан Андреянович сам вел в поводу лошадь. За гробом, прикрытым белым холстом, глухо рыдала дочь Марья, поддерживаемая сыном Егоршей. Они приехали за каких-нибудь полчаса до выноса гроба из избы и не успели даже привести себя в порядок, так и шли в грязных по самое колено сапогах, в рабочей одежде, пропахшей дымом.

Всех удивил своим безутешным горем Трофим Лобанов. Он брел позади и, мотая лохматой, посеревшей от хлебной пыли головой, навзрыд плакал. Кто знает, что было у него на душе. Предчувствие ли того, что и он уж недолго заживется на этом свете, или ему вспомнилась своя прошлая жизнь, из которой вот сейчас уходил еще один близкий человек... Кто знает...

Могила была вырыта на сухом, песчаном месте. Кругом рос молодой сосняк; вечерний воздух был напоен густым ароматом смолы. И скоро среди замшелых, побитых коровьими копытами холмиков вырос еще один свежий песчаный холмик, а на нем забелел столбик с вырезанной надписью:

На сем месте покоится

тело рабы божьей

ФЕДОСЬИ МАКАРОВНЫ СТАВРОВОЙ

от роду 60 лет

Люди постояли, повздыхали, поклонились последний раз земным поклоном покойнице и молча и медленно стали растекаться по тропкам кладбища, по пути навещая могилки родных.

На другой день утром, когда только что начала просыпаться деревня, многие хозяйки, затопляя печь, видели высокого, белого как лунь старика, шагающего с котомкой за спиной по безлюдной дороге. На плечах он нес новые белые вилы. Длинная тень, ломаясь, скользила по стенам изб, и в звонкой тиши росного утра долго слышались его тяжелые шаги.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

И о чем только не передумаешь за день, покачиваясь на пружинистом сиденье жатки! Перед глазами плывет и плывет до смерти надоевший ячмень, взлетают, хлопают грабли, шуршит пересохшая солома. От неподвижности занемела поясница. А думы все лезут и лезут в голову...

И чего там такое на фронте делается? Вчера Лукашин опять говорил: наши город оставили. Только и слышишь: оставили, оставили. Эх, кабы не мамка с ребятишками, задал бы стрекача на фронт — баста! Уж он бы показал, как воевать надо!

Мишка представил себе, как бы он убежал из дому. Месяц, два, три — никакой вести. В деревне переполох: где да где Мишка, а мамка-то убивается... И вдруг — бах во всех газетах: «Геройский подвиг комсомольца Пряслина». Большущими буквами по всей странице. И тут же портрет самого Мишки: в пилотке, сбоку наган, а то и два, на гимнастерке ремни, как у Харитона Лихачева, а на груди ордена и медали. «Ну, — скажут пекашинцы, — всего можно было ожидать от Мишки, потому как геройски показал себя еще в колхозе, но чтобы такой подвиг — нет, не ждали...»

— Да, — вздохнул Мишка, — а тут мамка с детишками...

Ну как их оставить? Мамка такая маленькая, плаксивая. Пропадет без него, как есть пропадет. Нынче моду завела: что получше — за обедом ему сует. Надо будет это отставить!

...А все-таки какая ерунда получается! Пропадай всю войну в деревне с бабами. И чего бы не родиться ему лет на пять раньше?

Солнце перекрыло накатившейся тучкой. Вспорхнул ветерок. Напотевшую шею лизнуло холодком. Измученные лошади пошли быстрее. В воздухе, кружась, пролетели два-три желтых листка. Мишка долго провожал их глазами, пока они не скрылись в плакучем березняке, в котором то тут, то там выделялись желтые пряди.

«Вот и осень не за горами», — подумал Мишка, и ему стало совсем грустно. Скоро все пойдут в школу, а он — нет... В лес, на лесозаготовки, — это уже решено. Разве мамке одной вытянуть? Ну да ничего! Он, Мишка, не пропадет, свое в жизни возьмет с процентами,

а учиться, что ж, — всегда можно. Вон Павка Корчагин. В школе-то учился еще меньше, чем он. Проклятый поп за махру высадил! А какой человек вышел!.. Интересно, догадывается ли мамка, как он решил про школу? Все равно — пускай что угодно говорит, а он, Мишка, решил накрепко: с учеьем пообождать. А вот Лизку с Петькой да Гришкой — учить! Хоть разорваться, а учить! И где только обутку взять?..

И Мишка, бог знает в который раз, принялся перебирать всевозможные комбинации, которые можно было предпринять с разным домашним старьем.

«Ну хорошо, — старался он рассуждать спокойно. — Петьке из старых мамкиных сапог сделаю, Гришке Лизкины перетяну, — это мы можем. А вот что Лизке? Из чего бы Лизке сапожонки смастерить, — хоть убей, не придумаю... Ну а Федюшка да Танька — о тех забота мала, на печи перезимуют. Жалко Федюшку, да что поделаешь? А мне придется папкины донашивать...»

Горячий комок подступил к горлу Мишки. Он потрянул головой и огромным напряжением воли заставил себя не думать об отце.

Вскоре мысли его целиком сосредоточились на лесозаготовках. Удастся ли ему попасть на курсы трактористов, которые открываются в этом году в леспромхозе? Неужели опять к годам придираются будут? Прямо-таки беда с этими годами. Ни на войну, ни на подходящую работу. Ну да черта с два! Раз у него талант по машинной части — не удержишь. Только бы у трактора оказаться, а уж на трактор он залезет, будьте спокойны! Да это еще не все. То ли еще сделает! Ночей спать не будет, а лес на избу заготовит. Иначе какой он хозяин! Мамка теперь уже глаз с прогнивших углов не сводит. Погоди маленько. Не сразу Москва строилась. Сперва лес, а потом уж стены.

У Мишки дух захватывало, когда он рисовал себе будущую новую избу. Обязательно в лапу, как у Феди Кротика и Варвары. И чтобы с этим чердачком наверху или как его — мизинчиком зовут... Уж он постарается! Сам плотничьему делу выучится, а сделает так, что комар носу не подточит. А прохожие-то будут дивиться, спрашивать: «Чей это такой дом?» — «Михаила Ивановича», — скажут земляки. «Это какого Михаила Ивановича?» — «Старшего сына Ивана Пряслина, что на войне погиб». — «Да... — призадумаются люди. — Ивана Пряслина сами знавали, а чтобы у него сын такой — не

слыхали». — «И не мудрено, — скажут земляки. Нашему Михаилу Ивановичу всего пятнадцать лет...»

Размечтавшийся Мишка едва не сунулся носом в землю. Лошади внезапно остановились.

— Но, черт, балуй...

Лошади рванулись и опять остановились.

Что еще там такое? Он слез с сиденья, распрямил занемевшую спину, потом, обойдя платформу, нагнулся над режущим аппаратом. Ну, конечно, в зубья земли набилось.

Он терпеливо очистил руками зубья, окинул взглядом поле. Кошеница, кошеница... Ничего себе, гектара два после обеда сдул...

В воздухе парило. Мокрая рубаха льнула к телу. Над головой вились стрижи.

— А ведь, чего доброго, дождь будет, — сказал Мишка, вглядываясь в небо.

Ох уж это бабье! Работай тут с ними. Обещали сразу после обеда, а теперь часов семь, — прикинул он время по тени. Сидят где-нибудь, чешут языками.

Он поднял с поля горсть кошеницы, помял в руке. Дождь будет — вишь, и солома отмякла. Затем, скрутив вехоть, протер им мокрые спины запарившихся лошадей, поправил шлеи, пощупал под хомутами.

— Ну что, милые, утомились? — Мишка потрепал по мягким губам тяжело дышавших лошадей. — Ничего, часика через два травку щипать будем. Травка вкусная, зеленая.

«А может, не косить больше? — подумал он, опять поглядывая на небо. Дождь зарядит — один черт пропадать».

В это время сбоку на дороге послышались голоса, затем показались и сами вязальщицы: Варвара, Марфа, Дарья, Василиса...

Плывут. И по дороге языком вертят. Ну он сейчас всыплет чертей!

— Эй, вы, уснули там! — закричал Мишка, и вдруг слова застряли у него в горле.

Из-за куста вынырнул красный сарафанчик. Дунярка... Она вприпрыжку, бойко размахивая соломенным вяслом, догоняла вязальщиц. Что это? Машет ему рукой... Сердце у него радостно забилось. Дунярка!.. Но в ту же секунду страх охватил его, и он со злостью подумал: «Размахалась. Бабы увидят — начнут кости

перемывать». Он повернулся спиной к вязальщицам и начал старательно подтягивать узду на лошади. «Дурак! — раздумал Мишка. — Кого испугался? Бабья!»

Он сунул руки в карманы штанов и, приняв решительную позу, стал ждать, когда поравняются с ним женщины. Покажи им, покажи где раки зимуют!

— Вы бы еще ночью пришли! — закричал он подходившим вязальщицам.

— А ночью-то не струсил с бабой встретиться?

— Чего плетешь? — крикнула на Варвару Марфа. — Знай, с кем шутить.

— Ты, Марфинька, не думай. Он из молодых, да ранний. На днях идем к реке с тобой, Дарка? — что за диво? Кавалера да барышню только что впереди видели, а повстречали — одна Дунярка. Куда девался кавалер? Смотрим, а кавалер наш сидит в ляге. Голову в землю уткнул, одна рубаха белеет. Верно говорю, Мишка?

Мишка стоял, сжимая кулаки в карманах, и ненавидящим взглядом провожал женщин, проходивших мимо него по меже.

Вдруг он с ужасом увидел: к нему по полю бежит Дунярка... Топ, топ, топ...

— Чего тебе? — прохрипел Мишка.

— Миша, знаешь чего, кино сегодня. Так ты приходи. А как кончится кино, подожди меня за клубом. Знаешь, у братской могилы. Ладно? Я завтра уезжаю.

Дунярка, доверчиво взглянув Мишке прямо в глаза, сунула ему что-то в руку:

— Это тебе... сама вышивала...

Зашуршала солома под убегающими ногами.

Мишка разжал руку. На ладони лежал крохотный, как цыпленок, пестренький платочек.

Заливаясь краской, он повертел головой: «Ну и ну, вот так штука...»

— Что, Дунярка, поговорила с дrolечкой? — Это опять Варвара.

«Ну, погоди у меня, — стиснул зубы Мишка, — Тресну где-нибудь из-за угла, небось язык-то сразу покороче станет».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Кончив работать, Мишка быстро выгнал лошадей на свежую отаву и, радостно крикнув им: «До завтра!» — выбежал на полевую тропинку.

Солнце уже опускалось на верхушки леса. В низинах поднимался туман.

Рысью, рысью, Мишка!

В придорожных кустах лениво вспархивают потревоженные птицы, отогнутые голенища сапог хлопают, как крылья.

...Надо будет рубаху надеть сатиновую, а то как трубочист. И как это она при всех подошла давеча?.. Платочек подарила. А чего с ним делать, с этим платочком? Увидят ребята — обсмеют. Отец-то у нее черт догадливый. Как в воду глядел. Наверно, придется жениться на Дунярке. Ну и что, все женятся...

Терпко запахло конопляниками. Вот и болото. За болотом серая крыша гумна с молотилкой, бани, первые дома, а там и их дом.

Тропинка, огибая старую насыпь камешника, сворачивала на широкий разъезженный большак. Мишка приостановился, посмотрел на петляющую стороной дорогу. Э, давай прямо, раза в два ближе.

По голенищам захлестало росяной травой, сыро... Трещат сучья под ногами. Кусты, кусты... Вязнут ноги, хлюпает вода. Бывает же такая пакость на земле! Потом клочья, клочья... Раз прыжок, два прыжок... Выбрался! Сухое болото, редкие сосенки-мутовки. Нестерпимо запахло багульником, из-под ног дробью посыпались мелкие лягушата. Вот где приманки-то для щук... И как это он раньше не догадался?

На деревне хлопнул движок. Мишка вздрогнул. Неужели началось кино? Еще хлопок, еще — и смолкло. Нет, это моторчик пробовали.

Ах, Дуняра, Дуняра! И как это — после кино за клубом? А ну как увидят? Ну и пускай... Вот возьмет да сядет в кино рядом назло всем.

Быстро надвигается стена гумна. Жми, жми. Мишка! Ух, вот и дорога, гумно... Надо хоть немножко сапоги о траву вытереть.

Что это там? Крик на гумне?

— Под суд захотела? — Да ведь это же голос Анфисы Петровны. Кого она так разделяет?

В несколько прыжков он достиг стены гумна, припал глазами к щели.

Мамка?.. Чего это она сидит у вороха зерна и лицо руками закрыла? Над матерью — Анфиса Петровна, тычет ей рукой в колени:

— Ты подумала, что сотворила? Подумала?

Страшная догадка мелькнула у Мишки: ему показалось, что на переднике у матери зерно.

— Да за такое дело знаешь что? На десять лет сажают.

Рука его скользнула по стене, и он ткнулся коленом в землю. Встал, медленно побрел прочь. Вдогонку ему голос Анфисы Петровны, всхлипывания матери.

Он вздрогнул, спотыкаясь побежал.

У колодца шум, говор, смех. Его как подбросило. Наверно, все, все знают...

Он кинулся с дороги в сторону и, нагнувшись, побежал картофельниками. Потом перелез через какие-то изгороди, жался к стенам домов, чтобы избежать встречи с людьми, опять перелез через изгороди. Темной стеной встал перед ним кустарник. Он опянул — ничего не видно; сел в траву.

— Робятища, жмите, жмите ее...

Да ведь это Лизка с ребятами овцу загоняет. Откуда Лизка? Почему Лизка? Приподняв голову, он поглядел вокруг себя и в темноте справа различил амбар. Так он в своем огороде...

Голубым чудесным виденьем вспыхнуло перед ним жаркое июньское утро... Отец... прощание с ним...

Затрещал движок у клуба. Мишка вскочил на ноги, сделал несколько шагов и опять сел. Нет, нет...

Глухое отчаяние придавило его к земле. Ему было жалко себя, жалко Дунярку. Наверно, опять подумала: надул Мишка...

В кустах что-то зашуршало, забарабанило. На лицо ему упало несколько капель. Дождь... Но он даже не пошевелился.

Потом дождь перестал, и на черном небе высыпали холодные, бесконечно далекие звезды.

Громко хлопал движок у клуба.

А он все сидел в мокрой траве — один на один с этим огромным непонятым миром — маленький, несчастный, и молча плакал...

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

Весь вечер — разговаривала ли Анфиса с людьми в правлении, доила ли дома корову — из головы у нее не выходил случай на молотилке. Анну Пряслину — за таким делом застала... Да что она, с ума сошла? Не себя, так хоть бы ребят-то пожалела...

Ей вспомнился давнишний случай. Года за три до войны вот так же захватили с колосом Марфу Яковлеву. И всего-то с килограмм было. А вскоре дом заколотили, детей забрала к себе сестра. Нет, нет... — говорила себе Анфиса. Чтобы она да своими руками... Этаких-то малышей... Мало их война осиротила...

В полном отчаянии, не зная, на что решиться, она села ужинать. Кусок не лез в горло. Гнев и обида душили ее. Разве не могла она, та же самая Анна, попросить добром? Да разве она, Анфиса, не заботилась о ней? Кажись, кому-кому, а ей не отказывала.

Хлопнули ворота, стук в дверь.

— Что там еще за стуки? Входи. Дверь отворилась, и порог переступил кто-то мокрый, сгорбившийся. Мишка!..

В сердце Анфисы вдруг что-то кольнуло.

— Ты чего не в кино? Где тебя носило? Весь мокрый — как из воды. Садись со мной ужинать.

Мишка отрицательно мотнул головой, сел к печке.

— Да что с тобой? Ты здоров, парень?

— Отправь меня в ремесленное... — глухо сказал Мишка, не поднимая головы.

— Тебя? В ремесленное?

Она взяла со стола керосинку, подошла к нему, осветила.

Он сидел с опущенной головой. С мокрых, взъерошенных волос капала вода, одежда и сапоги захлестаны грязью, травой, — как, скажи, по земле катали его.

Она сунула керосинку на печку, наклонилась над ним, взяла за подбородок:

— Где тебя так?.. — и осеклась. В лицо ей плянули измученные, истрадавшиеся глаза — и она без слов поняла: все знает...

— Дай справку, а то сам убегу.

Она медленно выпрямилась:

— А ты подумал... о ней-то?..

Мишка остервенело взмахнул кулаком:

— Раз так — к черту! Пущай как знает...

— Ты что говоришь? Что говоришь? — вскипела Анфиса. — Это о матери-то? Это мать-то родную к черту? Молокосос! Мать о них убивается, света белого не видит. Ты смотри, на кого она похожа — как щепка высохла.

— А мне, думаешь... Я сам... я сам... Папа на фронте... а она...

Мишка схватился руками за голову и затрясся в рыданиях.

Она смотрела на его костлявые вздрагивающие лопатки, обтянутые старой, выгоревшей отцовской гимнастеркой, на его худые красные руки с большими кистями...

Господи, да ведь он еще совсем, совсем ребенок. Вишь, и шея — каждый позвонок наперечет. А мы навалились, как на мужика, замучили парня. На днях на час выехал позже в поле — проспал, наверно, так она же его и разругала. А сколько ему — это в его-то годы? — пришлось пережить, перестрадать? Отца убили, семья — мал мала меньше. А тут еще с матерью...

— Ну что ты, Миша, не надо. Сейчас всем тяжело... А ты пойми мать-то, ее тоже понять надо. Разве она... от хорошей жизни? Разве она для себя? Жизнь, Мишенька... Ох, как тяжело... А куда она без тебя? Ну посуди ты сам, куда она без тебя? Нехорошо ты надумал, Михаил.

Мишка, вздрагивая всем телом, еще ниже наклонил голову.

— А мы-то как, колхоз!.. Ты ведь работник — золото! Вчера женки говорят ну кабы не Мишка, пропадать на Синельге до самого снегу. А домашние луга? Не Татьяну же Рудакову благодарить.

Мишка, ширкая носом, недоверчиво приподнял заплаканное лицо.

— А о матери ты не думай. И слова никому не говори. Приди домой и виду не показывай. Ты ведь мужик, смотри какой! — мать-то небось до плеча будет...

Раскрытый рот у Мишки опять задрожал.

Ей было жалко, ох как жалко этого славного, работающего паренька, которого так рано ушибла жизнь!

Она сняла с головы платок, протянула ему:

— На-ко, вытрись. Ты думаешь, она что?.. — снова заговорила Анфиса, собираясь с мыслями. — Помнишь, весной семян хватились — а их нету... Вот кого под суд отдавать надо. А твою мать... Да за что же? — обратилась она с вопросом не столько к Мишке, сколько к самой себе.

Потом она придвинулась к нему ближе, обняла за мокрые плечи. Он попытался отодвинуться, но рука ее, теплая, ласковая, удержала его. На печке слабо потрескивал фитилек керосинки, чуть-чуть раздвигая избяную темень. Она глядела на осунувшееся, носатое лицо Мишки и, еще крепче прижимая его к себе, шептала:

— Ничего, ничего, Миша. Все пройдет, пройдет это... А как кончится война вот заживем... Дома выстроим новые, в каждом доме коровы, овцы будут... и хлеба — сколько хошь хлеба. А на работу-то как на праздник выходить станем. И ты — большой, сильный, как отец... И Лизка вырастет, и ребята вырастут. Да как все-то вшестером на пожню выйдете... Целая бригада Пряслиных. А сейчас ты им заместо отца — понимаешь?

Мишка вышел от Анфисы Петровны, когда в клубе уже не было огня. Темень, хоть глаз выколи. Он брел посередине дороги, хлопая по лужам, по грязи. Сверху надоедливо моросило.

Дома — крохотный огонек. На дороге — тень матери. Его ждет...

Он потихоньку подошел к окошку. Мать сидела, приткнувшись к столу, прикрыв рукой лицо. Голова ее то клонилась вниз, то снова поднималась.

Сидя спит, а ждет... Сердце его дрогнуло от жалости.

Он кинулся к воротцам, с трудом нащупал крючок. Но у крыльца опять остановился. По крыше монотонно шуршал дождь, натужно пыхтела во дворе корова. И то, что еще недавно, после разговора с Анфисой Петровной, казалось таким простым и легким, снова тяжелым камнем легло ему на сердце.

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Сводки с фронта становились все тревожнее и тревожнее. Что ни день падали новые города. Черные клинья на юге все глубже врезались в тело страны.

По вечерам теперь редко кто подходил к карте. Люди торопливо справляли свои дела и, неразговорчивые, угрюмые, избегая взглядов друг друга, словно они сами во всем были виноваты, выходили из правления. От тяжелых дум спасались только в работе. Трудились молча, с ожесточением, и редко-редко вспыхивала на поле шутка. Даже дети и те притихли, воробьиными стайками жались к взрослым.

В полдень деревня казалась нежилой: лишь у какой-нибудь избы на завалинке можно было увидеть одинокую дряхлую старуху, которая непослушными старческими руками творила крестное знамение да шептала молитвенные слова о ниспослании победы над ворогом...

И вдруг в эти тяжелые дни газеты принесли потрясающую новость: наши наступают!

«От Советского Информбюро. В последний час... — по складам, с трудом веря тому, что написано, читала Анфиса. — Наши войска на Западном и Калининском фронтах перешли в наступление и прорвали оборону противника. Немецкие войска отброшены на 40–50 километров. Нашими войсками захвачены следующие трофеи...»

Через час эта новость облетела всю деревню. А к вечеру, несмотря на то что дождило, у правления колхоза собралась толпа женщин и ребят. Всем не терпелось своими ушами услышать радостные вести из Москвы. Надежду Михайловну, заменявшую теперь Настю в роли комсорга, засадили за радиоприемник: не пропусти, улови известия.

У крыльца, под новым навесом, шутили, смеялись. Ребята, чтобы не прозевать начала известий, мокли под раскрытым окном, на подоконнике которого был выставлен радиоприемник.

Толпа еще больше оживилась, когда на дороге показался Трофим Лобанов. Он топал прямо посередине дороги, не разбирая ни луж, ни грязи, и время от времени что-то выкрикивал своим утробным голосом.

По сторонам за ним, не смея приблизиться вплотную, бежали босоногие ребяташки, донельзя довольные этим зрелищем.

— Ну как в старое времечко, — усмехнулась Варвара. — А я уж думала, война и Троху доконала. После смерти Макаровны темнее тучи ходил, а он, вишь, вот снова воскрес.

Меж тем Трофим, не доходя саженой десяти до женщин, вдруг остановился, тяжело повертел сивой, лохматой, как помело, головой и уставился на них своими круглыми немигающими глазами.

— Люди! — громогласно возвестил он, тыча себя пальцем в грудь. — Троха сегодня пьян!

— Видим — не слепые, — с нарочитой серьезностью ответили колхозницы.

— А почто Троха пьян?

— Кому не вестимо, Трофимушко, — сдерживая улыбку, сказала Варвара. Сегодня бы всяк выпил, да не у всякого есть.

— Нет, ты скажи, почто Троха пьян? — допытывался Трофим.

— Да ведь радость, говорю, сегодня — грех не выпить.

Но Трофим и этим ответом не удовлетворился.

— А ты скажи, где мой Макс?

— Как где? На фронте.

Трофим сердито сплюнул:

— Фронты, они разные... А мой Макс на том самом, где немца турнули.

— На Калининском?

— Во-во! На ем самом.

— Да когда же он это перелетел? — Варвара лукаво подмигнула женщинам: послушайте, что сейчас наворачивать будет. — Ты недавно сам сказывал, что твой Максим под Ленинградом.

Трофим растерянно заворочал глазами, но нашелся:

— Был и под Ленинградом. А что? Разве моего Макса будут держать на одном месте? Где затор — туда и Макса! — решительно рубанул он. — С неделю назад получаю письмо. Отец, говорит, меня переводят в другой фронт... Ну, думаю, неспроста. Раз моего Макса переводят — жди делов, всыпят немцу.

— Признайся, Трофимушко, загнул немножко, — добродушно сказала Дарья.

Трофим ударил себя кулаком в грудь:

— Вот те бог, забожусь — чистая правда! Мой Макс — сила! Быка наповал убивал, а уж эту немчуру...

Никто не помнил, чтобы Трофимов Максим убивал быка, но кто же сегодня станет придирается к каждому слову. И Трофим, никем не остановленный, забирал все выше и выше.

— У меня четыре парня на войне! — потрясал он кулаком. — И хоть бы царапнуло какого! Моих ребят никакая пуля не берет! Нет еще такой пули на свете, чтобы Трохиных ребят...

Но тут женщины разом обрушились на него:

— Чего эдакое мелешь?

— С ума спятил!

— Разве этим хвастают? Беду накликаешь хошь?

Трофим, видимо, и сам понял, что хватил через край. Он топнул ногой, одичало помотал головой, что должно было означать крайнюю степень опьянения, и тотчас же оседлал своего любимого конька.

— У Трохи вина — Двина! — вдруг заорал он без всякой связи с предыдущим. Столько лошадей воды не выпила, сколько Троха вина... Приходи... Сейчас не то что до войны, а трезвой из моей избы не уйдешь!

— Вот так-то лучше, — добродушно заулыбались колхозницы, которым хорошо была известна цена Трохиного хлебосольтва.

Случилось это еще до колхозов. Жил тогда Трофим бедно, еле концы с концами сводил — и все, как говорил он сам, из-за чертовой бабы, которая таскала ребятишек, как щенят. Из-за этого Трофим сделался страшно скуп, пытался экономить на всем, и прежде всего на еде. В великий пост, рассказывают, ребятишки у него макали молоко шилом через тряпицу. По словам же Трофима, они это делали из-за своего примерного благочестия. И, однако, не проходило ни одного праздника, чтобы Трофим не напивался «в стельку», «в дымину», как он любил выражаться, и чтобы не орал на всю деревню: «У Трохи вина — Двина!»

Мужики с завистью поглядывали на Трофима и одного понять не могли: откуда же у него такие деньжищи?

Но скоро разгадка явилась сама собой.

Однажды о богородице Трофим по своему обыкновению шел пошатываясь по деревне и во всю плотку кричал излюбленные слова: «У Трохи вина — Двина!» Около магазина ему повстречался

пекашинский зубоскал и пьяница Пека Векшин, который тут же бесцеремонно стал навязываться в гости.

Трофим было на попятный: есть, мол, квас, да не про вас, но кругом были люди, и он, быстро передумав, хлопнул Пеку по плечу:

«Пойдем, Пека, запою! До белой горячки запою...»

Дома Трофим усадил дорогого гостя за стол и после долгой отлучки из избы вернулся с четвертинкой.

«Начнем с маленькой, а к окяюну приплывем», — успокоил Трофим Пеку.

Ну, с маленькой, так с маленькой — лишь бы к окяюну приплыть.

Выпили по рюмашечке.

«Что, парень? — крикнул от удовольствия Трофим. — Небось как Христос по сердцу прошел? У Трохи не вино — причастье!»

Выпили еще по одной. Вдруг Трофим спрашивает:

«Ты, Пека, того... не запьянел?»

«Да с чего? Уж не с этого ли наперстка?»

«Трохин наперсток иного ведра стоит», — отрезал Трофим.

После третьей он снова спросил:

«Налить еще, Пека? Устоишь? Дойдешь до дому?..»

Пека только руками развел.

«Да ты смеешься, Трофим?»

«Какой тут смех, когда ты руками машешь?»

Пека вспыхнул, начал вставать из-за стола. Трофим Пеку успокаивать, а тот свое — хочет встать. За этой возней кто-то из них нечаянно смахнул со стола рюмку.

«Ты во как! Посуду бить! — взбеленился Трофим. — Это за мое-то угощение?»

Пека оторвал от себя хозяина, кинулся к дверям. Тогда Трофим заорал на всю избу:

«Макса, хватай его! Он с пьяных глаз весь дом разнесет».

В ту же секунду с полатей соскочил старший сын Максимко и по-медвежьи облапил сзади Пеку.

А через несколько минут Трофим шел по деревне и всем встречным говорил:

«Пеку Векшина запоил сегодня. Всю посуду у меня перебил. Лежит на сеннике без задних ног... Весь дом винищем провонял. Скотина от тошноты стоном стонет — хоть из двора выводил».

Постепенно около Трофима собралась толпа любопытных, которая выразила желание посмотреть на распянного Пеку. И ведь понимал Трофим, что нельзя вести к себе мужиков, но такой уж он был: начнет хвастать — остановиться не может.

«Пойдемте, все пойдемте! Всех запою! Дальше порога моей избы никто не уйдет».

А когда мужики, предводительствуемые хозяином, подошли к его дому, то увидели: во дворе, вызволенный парнями, стоит трезвехонький Пека Векшин и на все лады поносит Трофима Лобана.

Вот почему сейчас, много лет спустя после этой истории, когда Трофим стал похвастаться вином, никто не придавал значения его словам.

А Трофим не унимался.

— Сейчас — не до войны, — кричал он, — не скажу, что запою, а все равно трезвой из моей избы не уйдешь!..

Под конец, когда пришла старуха и стала упрашивать его идти домой, Трофим еще пуще начал куражиться и дошел до того, что растянулся на мостках.

— Ты, Трофимушко, пьян, да умен, — съязвила Варвара. — Небось в лужу не упал — на сухое норовишь.

— А ты что? — рывком приподнялся Трофим. — Покупала мне рубаху, чтобы в лужу?

Но одумавшись, он так топнул по луже, что брызгами окатило женщин и ребятишек.

— Очумел, старый дурак! Будешь ерепениться — свяжем да бросим на задворки.

— Ха-ха-ха!

— Что вы с пьяного хотите, — примирительно сказала Дарья.

Ободренный ее сочувствием, Трофим заорал, размахивая руками:

— Все сокрушу!.. В гитлерину мать!.. Я бы этого Гитлера!..

— А что бы ты, Трофимушко, сделал? Ну-ко?

— Я бы этого Гитлера... я бы... — и тут такое завернул Трофим, что все схватились за животы.

— Тише, тише! — высунулась из окна Наденька. — Сейчас будут передавать известия.

Женщины, позабыв о Трофиме, кинулись к окну.

Несколько минут приемник визжал, задыхался от хрипа, затем сквозь хаос режущих звуков прорвался твердый басовитый голос:

— Над нашим Отечеством нависла смертельная опасность... Враг ломится к Волге, в глубь Кавказа, угрожает самым важным жизненным центрам страны... Ни шагу назад, красноармеец! Твоя сестра, твоя мать призывает тебя к защите и к мести. Помни: перед тобой враг, который убил старика — такого же, как твой отец, изнасиловал девушку — такую же, как твоя сестра, твоя невеста, погнал в рабство женщину — такую же, как твоя жена, твоя мать...

Наденька, не в силах больше слушать, резким движением выключила приемник Потом, когда, собравшись с духом, она посмотрела на улицу, под окном не было ни ребят, ни женщин.

Только посредине двора немо и неподвижно стоял под дождем грузный, приземистый старик.

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

Анфиса старалась подбодрить, встряхнуть приунывших колхозников. За день она успевала побывать на всех полях и всюду с жаром принималась жать, вязать снопы. И ее присутствие — она это видела — как-то успокаивало, приподнимало людей. Уж на что, кажется, тверда и невозмутима духом Марфа Репишная, а и та однажды сказала: «С тобой веселее, девка, — чаще бывай у нас».

Но потом в колхозе стала отставать просушка снопов (немногим женщинам была под силу эта работа), и Анфисе пришлось самой взяться за это дело. Она рубила в лесу новые жерди и подпоры, ставила новые перетыки вместо прогнивших, подвозила снопы с поля, вешала их на жерди, — и все сама, все одна. На людях как-то забывались на время, рассасывались в общей тревоге безрадостные мысли, а теперь, когда она пряснула одна, горькие раздумья не покидали ее.

В этот день ей было особенно тяжело. Утром конюх Ефим, помогая ей запрягать коня, хмуро сказал:

— Слыхала, немцы на Волгу вышли...

Она не задумалась тогда над этими словами: может быть, оттого, что конь бился и она торопилась, а может быть, потому, что в то лето так много было плохих вестей с фронта, что, кажется, трудно было чем-нибудь удивить.

Страшный смысл Ефимовых слов дошел до нее тогда, когда она, переехав болото, стала поить коня в ручье.

«Да ведь это же Волга! Волга...» — изумилась она.

Ни разу в жизни не довелось ей бывать дальше районного центра, и она не знала даже, как выглядит город. Но Волга, Волга-матушка... Да не проходило праздника в деревне, чтобы о ней не пели! И каждый раз, когда она слышала песенные разливы или подпевала сама, в душе ее поднималось что-то большое, широкое и светлое. И вот уже лиходеи на Волге...

Стоя на скамейке у прясла, она машинально наклонилась к снопам, лежавшим у ее ног, и так же машинально вешала их на жердины. Страшное известие не выходило у нее из головы.

«Да что же это такое? Как же так?..» — спрашивала она себя.

У нее то и дело навертывались слезы, и, прислонившись к пряслу, она подолгу смотрела на безлюдную дорогу, на выжатые поля, поблескивавшие золотой щетиной жнивья. Потом спохватывалась, начинала лихорадочно работать, но проходило немного времени, и снова опускались руки, и она опять стояла, прислонившись к пряслу, и смотрела на дорогу, на поля.

Ох, какая тоска... Хоть бы одна живая душа показалась, хотя бы птица пролетела мимо... В голубом воздухе было по-летнему тепло и безветренно, но тихая осень уже распускала паутинки, пятнила золотом кустарник, выводила свои неживые узоры в не скошенной на промежке траве. Откуда-то издалека, — должно быть с Сухого болота, — раз пять донесся тревожный вскрик журавлей, и от этого становилось еще тоскливее.

И вдруг ласковый голос у ног:

— Здравствуй, Анфиса.

Она схватилась за сердце, присела. Несколько секунд она глядела на Лукашина растерянными, изумленными глазами, затем лицо ее, мокрое от невысохших слез, озарилось радостной улыбкой.

Белый платок у Анфисы сбился на затылок, на черных волосах, на изогнутых бровях мягкими узорами хлебная пыль...

Какая-то мальчишеская восторженность охватила Лукашина. Он протянул к ней руки, и не успела она охнуть, как уже стояла на земле, а он возвышался на скамейке и, озорновато подмигивая ей, говорил:

— Рабонем, председатель!

Все это было так неожиданно, так необычно, что она все еще не могла прийти в себя и, закинув кверху голову, смотрела на него мокрыми, счастливыми глазами.

— Ну же! Ну! — торопя, протягивал к ней руки Лукашин.

Тогда она, по-детски зажмурившись, тряхнула головой и, словно пробуждаясь от сна, вдруг проворно нагнулась и подхватила большую охапку снопов.

Она не спрашивала, откуда он появился, не спрашивала, почему долго не было его в Пекашине, и, странное дело, не искала даже утешения в том, что так тревожило и угнетало ее весь день. С приходом Лукашина как-то сразу исчезли все сомнения и тревоги, ей стало легко и радостно.

Быстрыми, ловкими движениями она захватывала снопы, вскидывала их кверху и, глядя на Лукашина сияющими глазами, совала их ему в протянутые руки.

Лукашин оказался бывалым работником. Она это сразу оценила и по тому, как он уверенно, по-хозяйски, расставив ноги, стоял на скамейке, и по тому, как умело и расчетливо подхватывал снопы и с каким-то особенным мужским шиком вешал их на жерди.

— А ведь ты настоящий мужик! — рассмеялась вдруг Анфиса, неожиданно для себя называя его на ты.

Он ничего не ответил, только лицо его, блестевшее от пота, расплылось в довольной улыбке да еще шибче заходили руки.

Скоро ячменная пыль да ость покрыли его волосы, лоб, гимнастерку, и от этого он стал еще ближе, еще роднее.

Они не слышали, как к ним сзади подошел Федор Капитонович:

— Вот как ладно. А я иду да думаю: чья бы это пара? Молодых сейчас нету, а тут, пляжу, не работают, а играют.

Темное облачко нашло на лицо Анфисы. После того как Федора Капитоновича сняли с бригадиров, он присмирел и даже исправно работал в колхозе. И все-таки у Анфисы не лежала к нему душа. И ей показалось, что не к добру эта встреча. Но Лукашин, разгоряченный, потный, уже протягивал к ней руки, и она снова нагнулась к снопам.

Федор Капитонович постоял еще немного, покачал головой и тихонько зашагал по дороге домой.

...Час спустя Лукашин спрыгнул со скамейки на землю.

— Ух, запарила! — сказал он, возбужденно блестя глазами и вытирая рукой потную шею.

— Это еще кто кого, — улыбнулась Анфиса, отряхивая платье.

— Горло пересохло. Нечем промочить?

Анфиса достала из кустов маленькое жестяное ведерко с водой.

— Кушайте на здоровье, дорогой работничек, — жеманно поклонилась она ему.

Веселые, довольные, они сели на межу к кустам. У Анфисы был захвачен с собой кое-какой полдник. Она расстелила белую скатерку, налила в миску творога с молоком. Лукашин с жадностью накинулся на еду. Сама она отломилла краюшку шаньги и, нехотя пощипывая ее, поглядывала на Лукашина. Легкое, бездумное счастье переполняло ее. В ушах ее звонко вызванивал родничок, спрятавшийся внизу за полем

в кустарнике, тихо и убаюкивающе поскрипывала невидимая вдали телега.

— Ты что не ешь?.. — тихо спросил Лукашин.

— Так, не хочу...

Лукашин вытер губы и долго и нежно смотрел на ее лицо.

— А знаешь что? — зашептал он, обдавая ее горячим дыханием.

— Что?

— У тебя сейчас такие веснушки у переносья... как у девочки...

Анфиса вся вспыхнула, смущенно замахала рукой:

— Ну уж, скажешь...

— Ей-богу.

Он поймал ее руку, взял в свою. Темная, заскорузлая от работы рука. Анфисе вдруг неловко и стыдно стало за себя, за свою руку, и она потянула ее назад. Глаза их встретились.

«Глупая — говорил ей взгляд Лукашина, — неужели ты не понимаешь, что я тебя люблю?» Он бережно поднял ее руку и вдруг горячими губами припал к ней...

Чувствуя, что она теряет последнюю власть над собой, Анфиса встала и быстро пошла к пряслу.

ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

На другой день Анфису со сводкой вызвали в сельсовет. После полудня пошел дождь, и ей часа три без всякого дела пришлось переждать в сельсовете. Когда на обратном пути она подъезжала к своей деревне, над Пекашином из конца в конец курились дымки: люди, воспользовавшись погодой, топили бани.

Дома в кольце ворот она нашла письмо. От Григория... Она обрадовалась несказанно: жив, значит. Как-никак, а полжизни вместе прожито...

Григорий писал, что все время был на фронте, заслужил две медали и орден Красной Звезды, а сейчас после ранения лежит в госпитале.

«И вот лежу, лежу, и такая тоска найдет — жизни не рад. Товарищи все про жен да про детишек вспоминают. Давеча сосед сует карточку, погляди, говорит, какая у меня жена. А женка у него как женка, да еще с косиной на один глаз. Эх, думаю, поглядел бы ты, дорогой товарищ, на мою Анфису... Фисонька, успокой ты меня, дурака, пропиши все как есть, Фиса, и при каком ты чувстве... Сестры здешние рассказывают, что с питанием у них для гражданских худо, так ты вот что, Фиса, не мори себя голодом — возьми из сундука мои обои костюмы, а кто при хлебе, их выменяет. А я, все ладно, после поправки приеду в отпуск, а может, и подчистую спишут, и мы тогда с тобой заживем...»

Анфиса долго сидела неподвижно, облокотившись на стол. Слезы текли по ее щекам. Она думала о своей неудавшейся жизни, о своей молодости, которую так нелепо загубил Григорий. И вот снова он вяжет ей руки.

«Нет, нет, — покачала она головой, — поздно, Гришенька, поздно за ум взялся...»

У нее сейчас не было ни гнева, ни обиды на мужа. Но, сказав себе это, она почувствовала вдруг странное облегчение. Словно тяжесть, годами давившая ей на плечи, спала с нее.

Она поднялась, открыла окно. Над Пекашином вставала радуга. По чистому, промытому небу легкие, как лебеди, проплывали

последние облачка. Мокрые крыши дымились паром. На току глухо выстукивала молотилка, и оттуда наплывал пахучий запах обмолоченного хлеба. А под ее окном, приятно обдавая свежестью, весело журчала с крыши вода. Она падала в переполненный ушат, и журчание ее отдавалось в душе Анфисы чьим-то знакомым-знакомым шепотом...

Забыв про все на свете, она с волнением вслушивалась в этот ласковый голос, то затихавший, то нараставший в ее душе, и вдруг тихо рассмеялась:

— Чудак... веснушки высмотрел...

И ей нестерпимо, сейчас же, сию минуту захотелось увидеть Лукашина...

Через полчаса, нарядная, с гладко зачесанными волосами, она вышла на улицу. Весть о получении ею письма уже облетела деревню. Навстречу ей попадались женщины, босые, с подоткнутыми подолами, то с ведрами в руках, то с кузовами мокрой травы за спиной. Они останавливались, подолгу глядели ей вслед, завистливо вздыхали:

— Вишь вот, письмо получила — ног под собой не чувствует.

— Вся как маков цвет расцвела.

— И то долго ждала, бабоньки.

— А у меня Егорушко не напишет... лежит во сырой земле...

Она шла, наклонив вперед голову, улыбаясь и не смея поднять глаз. Ей стыдно было перед этими женщинами, которые измучились, ожидая весточек от своих мужей, и в то же время ей казалось, что они догадываются, знают, куда она сейчас идет, кого ищет.

На крыльце Марины она вынуждена была прислониться к косяку ворот, — до того билось у нее сердце.

В избе была одна Марина. Старуха сидела на полу с корзиной на коленях и перебирала ягоды.

— А где же квартирант?

Марина недовольно метнула в Анфису зрячим глазом:

— Где? Известно где — Варуха в баню утащила... Вертит перед ним хвостом, себя не помнит. А мой — простота... Уже я скважине прыги-то поубавлю!

«Глупая ты, стрелеха, — улыбнулась про себя Анфиса, — не в ту сторону смотришь». Но ревниво-любственное отношение старухи к

своему жильцу, с особым чувством произнесенное ею слово «мой» наполнили Анфису новой радостью.

Что делать? Сидеть и ждать? Нет, нет!..

Домик Варвары, чистенький, аккуратный, с белыми наличниками, сиял, как игрушка, в лучах заходящего солнца.

Она еще издали увидела в распахнутом окне знакомую гимнастерку Лукашина. Он сидел к ней спиной, подперев рукой голову.

Когда она, покрасневшая, запыхавшаяся, вбежала в заулочек, в глаза ей бросились мокрые, блестящие волосы Лукашина, темные, влажные пятна на его плечах. Она подняла с земли маленький камешек и, стыдливо оглянувшись по сторонам, легонько бросила его в спину Лукашина. Но тот даже не пошевелился. Из глубины комнаты донесся веселый, рассыпчатый смех Варвары. Анфиса, на ходу поправляя волосы, вбежала в сени, открыла двери и остолбенела...

ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ

Муж Варвары, уезжая на войну, сказал:

— Ежели узнаю, что ты тут без меня хвостом вертела — шею сверну!

— И что ты, Терешенька, — говорила Варвара, захлебываясь слезами и прижимаясь к нему, — как язык-то у тебя повернулся?.. Уж я ли у тебя не верная?..

Как и подобает жене, Варвара волновалась за своего Терешеньку, ждала писем, плакала, когда их долго не было, и вся сияла от радости, когда получала. Но стоило ей увидеть приглядного парня или мужчину, и глаза ее вспыхивали шаловливым огоньком.

Бабы до войны шипели на нее, грозили:

— Погоди уже, мы тебе укорот сделаем. Будешь знать, как на шею мужикам вешаться.

— У меня уж природность такая, бабоньки, — притворно вздыхала Варвара. Не пообнимаюсь, как больная хожу.

— Мало тебе своего-то, сука поблудная.

— Своего-то, бабоньки, для кузни берегу. Я ведь разыграюсь — всю ночь не спать, а плуги кто наваривать будет? Так-то раз опробовала — он, сердешный, Тереша-то, весь день у наковальни носом клевал. Председатель Лапушкин дознался — меня же и ругать. Ты, говорит, весь колхоз разоришь, лучше уж, говорит, с каждого бери, что тебе требуется, все не так заметно.

И Варвара, смиренно опуская глаза, заключала:

— Ну а ежели я за колхозное страдаю, пострадайте малость и вы.

Плюнут бабы в сердцах и отойдут. Да и как было долго сердиться на нее? Выйдет ли в поле пахать, снопы вязать, возьмет ли в руки косу — все так и горит у нее в руках, а уж во время роздыха — мертвого развеселит.

Покойница свекровь, встречая ее вечерами с гулянки, сердито ворчала:

— Разве дожждаться мне внуков? Ты на своих плясах хоть чего вытрясешь... Ты бы хоть поубавил ей пылу-то, — обращалась она к сыну.

Терентий, без памяти обожавший свою жену, вскочит с кровати да еще, как назло матери, начнет расстегивать шубу у женушки, отогревать ей руки.

Но иногда, возвращаясь из гостей во хмелю, он с треском распахивал двери, кричал на всю избу:

— Убью тварь поганую! Мужики проходу не дают...

Варвара изумленно вскинет свои простодушные глаза, подойдет, прижмется к нему, заглянет снизу в его глаза.

— Глупенький ты у меня, тпрусенька... Это они со злости, завидуют тебе, а ты и уши развесил. У них-то, видал, коровы неповоротливые, а я у тебя как тростиночка. — И Варвара, приподняв кончиками пальцев шуршащую юбку, поворачивалась перед ошарашенным мужем.

— Да я сам видел, — упрямылся еще Терентий.

— А ты не все верь своим глазам, верь и жениным...

Лукашина Варвара облюбовала сразу же, как только увидела. Мужчина интересный, интеллигентный, а к интеллигентам Варвара всю жизнь была равнодушна, — не было в Пекашине учителя, которому бы она не строила куры.

Одно смущало Варвару: больно уж растяпистым да несообразительным миленочек оказался. В лесу повстречались — даже губы не обогрел. К колодцу вызвала кажись, все растолковала, что и как... Слепой бы дорогу нашел. А этого всю ноченьку прождала — не дождалась.

Раздумье взяло Варвару. Может, к культурности привык, поделикатнее с ним надо? Целый месяц деликатничала, — так, несолоно хлебавши, и уехала в Росохи. И вдруг на Синельге глаза ее открылись. Кажется, гром небесный бы разразился над головой, и то она так не изумилась бы, как изумилась, перехватив тревожный, полный ласки и обожания взгляд Лукашина, которым он сопровождал каждое движение Анфисы.

«Ну нет, — сказала себе Варвара, — чтобы я да отступилась, чтобы из-под носа у меня выхватили — в жизни не будет! Уж коли эта святоша обхаживает его, так мне сам бог велел». И Варвара, призвав на помощь весь свой опыт, пошла в решительное наступление.

Вечером, поджидая Лукашина из бани, она встречала его не простым чаем. На столе красовалась неполная бутылка разведенного

спирта, который ей с великим трудом удалось раздобыть в райцентре.

— Вот как у нас, и вино... — сказал приятно удивленный Лукашин, подсаживаясь к столу.

Варвара игриво прищурила карий глаз:

— А для милого дружка и сережка из ушка.

Лукашин смутился, не нашелся, что ответить, и, чокнувшись, выпил.

— Каково винцо? Не горько?

Он поднял глаза и встретился с таким откровенным, ласкающим взглядом, что опять смутился.

— Жарко чего-то... Зря топила сегодня.

Варвара расстегнула ворот кофточки. Хмель кинулся в голову Лукашину.

— Что это ты сегодня вынарядилась? Праздник какой? — вдруг с раздражением и даже озлоблением сказал он.

— А что нам не наряжаться? — Варвара опять игриво посмотрела на него. — Мы партийностью не взяли — может, чем другим... Аль уж это как? Не ценится?

Она легко выпрямилась и, не спуская с Лукашина горячего прищуренного глаза, медленно, так, чтобы можно было разглядеть все ее достоинства, раза два повернулась перед ним.

— Ну как? — спросила Варвара, заглядывая ему в глаза.

В глазах ошеломленного Лукашина все еще мелькали ее красивые смуглые ноги, путавшиеся в белой нижней юбке. И прежде чем он понял, что делает, руки его жадно обхватили гибкое, податливое тело Варвары.

Варвара первая услышала скрип двери. Какое-то мгновение, не дыша, она смотрела на Анфису, потом притворно вскрикнула и кинулась в соседнюю комнату.

Лукашин сидел, ничего не понимая, и, растерянно мигая глазами, улыбался. Но когда он увидел бледное, вздрагивающее лицо Анфисы, он с ужасом начал понимать, что случилось.

— Анфиса, Анфиса!..

Но Анфиса, не слушая, хлопнула дверью и выбежала на улицу. Раскаленное вечернее солнце слепило, било в глаза, словно нарочно для того, чтобы все видели ее позор. А народу... Кажется, за всю войну она не встречала столько людей на улицах Пекашина. И каждый

окликал, о чем-то спрашивал... Мишка Пряслин, сват Степан, учительница, какие-то старухи, дети... Да что они, сговорились меж собой?

У дома ее ждало новое испытание — Трофим Лобанов.

— Что Гришка пишет? Скоро немца погонит?

Анфиса закрыла лицо руками, кинулась в заулок.

Трофим ошалело поглядел ей вслед, плюнул:

— Разъяснила! Нет, брат, баба завсегда баба. Хоть на небеса вознеси — ей все мало!

ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ

Фитилек коптилки чадит, потрескивает. На полу посапывают дети, в темные окошки глухо скребется осенний дождь-плакун.

Мишка и мать, только что вернувшись с поля, ужинают — молча едят холодную картошку. У Анны слипаются от усталости глаза, голову клонит к столу, но каждый раз, почувствовав на себе тяжелый, изучающий взгляд сына, она вздрагивает, поспешно выпрямляется.

С того дня как на Мишку неожиданно свалилась новая беда, резкая перемена произошла с ним. Делал он по дому еще больше, чем раньше, утром вставал вместе с матерью. И пока мать возилась с печкой и коровой, он успевал смолоть зерно, насушенное за ночь на печи (за месяц он перепробовал все жернова в деревне), принести воды, накопать картошки. Но все это делал молча, зверовато сдвинув брови.

Анна, смутно догадываясь о причинах перемены, не решалась заговорить первой. Да и что сказать? Разве понять ему, что привело мать на колхозное гумно? Она и сама толком не знала, как это случилось. Вечером, после работы, привернула на свой участок нажать сноп ячменя, взглянула на поле и обмерла: весь край от болота опалило утренником. А дальше только и помнила: раскрытое гумно, ворох зерна... Целую неделю жила она в ожидании неминуемой беды. По ночам просыпалась, прислушивалась. Дрогнет стекло в раме, а ей уж чудятся шаги. С детишками не раз в уме прощалась... Только на днях немного отпустило, когда на дороге столкнулась с Анфисой. Та поздоровалась, виду не подала да еще сказала: «Зайди к кладовщице, ржи вам выписано».

Но сын — как воды в рот набрал.

Под первое сентября Анна, разобравшись со стиркой, несмело напонила:

— В школу скоро...

— Не выдумывай — у пня мое ученье, — буркнул Мишка и так посмотрел на мать, что та, совсем растерявшись, закивала головой:

— Ну, ну, ладно...

Лизка теперь все чаще пугала непослушных братьев Мишкой, и те, заслышав на крыльце тяжелые шаги возвращающегося с работы брата, разом стихали.

За спиной настойчиво забарабанили в окошко. Кого еще леший несет? Пожрать не дают... Мишка, злясь, начал разматывать веревочку, затем, придерживая рукой, приоткрыл старую, перекосившуюся раму. В избу ворвался шум дождя, ветра, пахнуло осенней сыростью.

Из темноты вынырнула мокрая голова запыхавшегося Малышни:

— Анна Гавриловна! Михайло Иванович! Новости-то какие!

— Новости? — вскочила с табуретки Анна. Мишка почувствовал, как гулко и отчаянно колотится сердце у матери, привалившейся к его плечу.

— Из военкомата звонили... Пушай, говорят, Анна Пряслина придет...

— Зачем? — глухо, весь напрягаясь, спросил Мишка.

Митенька схватился руками за голову:

— А я и не дослушал... как учуял, тебя вызывают, Гавриловна, — думаю, вести какие об Иване Кирилловиче...

— Ох, кабы так! — горячо взмолилась Анна.

Мишка, не помня себя, схватил руку матери, крепко сжал. — На войне чего не бывает, Гавриловна, — ободряюще говорил Малышня. — Вон в Лушакове тоже похоронная пришла. Слыхали Петра Порохина? А ровно через полгода телеграмма: домой еду...

Анна, не слушая дальше, кинулась к порогу, застучала сапогами, Мишка захлопнул раму, подбежал к матери.

— Ты что... в район? — спросил он шепотом.

Мать, нагнувшись, торопливо наворачивала портянки.

— С ума сошла... дождь... темень... Подожди до утра, а то давай я схожу...

— Ох, Миша, Миша... Да кабы жив отец... Да я бы не знаю... На коленях до Москвы доползла...

На улице, едва они переступили порог ворот, в лицо им хлестнул ветер, дождь. Темень, хоть глаз выколи. Анна не успела и шагу шагнуть от крыльца, как попала в лужу.

— Подожди до утра, — снова стал упрашивать Мишка.

— Нет, нет, что ты!.. А ты иди — спи ложись. Утром для ребят картошки чугуна свари, а корову Семеновну попроси подоить. Травы на утро хватит, а на вечер отавы принесешь.

Мишка выслушал наставления матери, постоял, пока она выходила с заулка, потом вдруг бросился на крыльцо, воткнул кол в кольцо ворот и побежал следом.

— Я тебя хоть до большой дороги провожу, — сказал он, догоняя ее.

— Что ты, Миша! Зачем тебе мокнуть? Воротись...

— Ладно, сам знаю, — грубо отрезал Мишка. По задворкам и по мосту почти бежали, нагнув головы, прикрыв лицо от мокрого ветра. В лесу стало идти легче, но тропинка была узкая, и стоило дотронуться до дерева — с веток окатывало ливнем.

Мишка взял мать за рукав:

— Иди за мной, а то я тебе все ноги оттопчу, — и молча решительно двинулся вперед, принимая на себя весь ливень.

Когда добрались до большой дороги, Анна остановилась:

— Ну, теперь я одна. Беги скорей домой.

— Ты вот что... — сказал Мишка. — Ты завтра пешком не ходи. Лошадь попутную или машину леспромхозовскую лови — все так делают.

— Ладно, там как придется, — растроганно сказала Анна, ощупывая пиджак сына. — А ты весь, Мишенька, мокрый...

Ему показалось, что мать хочет обнять его. Он отчужденно отстранился:

— Ну, иди...

Один шаг, и мать пропала в темноте. Чавкнула грязь под ногами, булькнула вода, потом треснула какая-то ветка — и все.

В эту ночь Мишка долго не мог заснуть: прислушивался к шуму дождя на крыше, к вздрагивающим от ветра околенкам. Непроглядная темень, грязь, невидимые лужи на каждом шагу — и где-то вот сейчас, среди ночи, одна-одинешенька бредет вся перемокшая, вся переязбшая мать. И зачем, зачем он отпустил ее? Почему не пошел сам? Потом он припомнил все обиды, которые причинил матери за последнее время, и горькое раскаяние, тоска и упреки сдавили его сердце.

За ночь он раза три выходил на улицу, а дождь все лил и лил...

Утром Мишка проснулся, едва рассвело. Дождя не было, сквозь густой туман робко и неуверенно проглядывало солнышко. И пока он затоплял печь, бегал за водой, копал картошку, новые надежды стали подниматься в его душе. То он уверял себя, что отец вовсе не погиб, а в партизанах, непременно в партизанах, то ему приходило в голову, что отец выполняет какое-то важное задание в тылу врага — и вот сейчас пришло сообщение...

Ребятишки, проснувшись, были довольнехоньки. Таким веселым и возбужденным они уже давно не видали старшего брата. За столом, обжигаясь картошкой, смеялись, по-ребячьи шутили.

Весь день Мишка носился как угорелый: то примется дрова колоть, то чинить крыльцо, то разберется с починкой обуви, — и, ничего не докончив, постоянно выбегал на задворки, смотрел на дорогу: не идет ли мать.

Под вечер, когда опять стало затягивать небо, он не выдержал:

— Собирайтесь, пошли мамку встречать.

За мостом, прислонившись к изгороди, долго стояли, глядели на перелесок.

Начало темнеть. Опять заморосило. Малыши, пугливо озираясь по сторонам, стали жаться к старшему брату. Федюшка, переступая босыми ножонками, захныкал.

— Танька теперь проснулась, — вспомнила Лизка и тоже хлюпнула носом.

Мишка с упреком посмотрел на худенькие личики, с мольбой обращенные к нему, еще раз взглянул на помутневший перелесок и медленно, тяжелым, старческим шагом побрел назад.

Дома, войдя в избу, он сел на порог, опустил голову. Братья тормозили его, что-то просили, требовали, но он сидел не двигаясь, не замечая их, — только шум дождя тоскливым шепотом отдавался в его ушах.

Вдруг ему почудился какой-то шорох на крыльце. Легонько заскрипели доски... Только один человек на свете ходит так! Он вскочил, заорал на всю избу:

— Мамка пришла! — и распахнул двери.

Лизка и малыши с криком: «Мамонька пришла! А мы тебя встречали!» бросились к порогу и, посторонившись, пропустили мать.

Мимо в потемках проплыло бледное, мокрое лицо матери. Ему без слов все стало ясно.

Упираясь спиной в косяк, сдерживая подступившие к горлу рыдания, он видел, как мать прошла к столу, опустилась на переднюю лапку. Притихшие ребята несмело, сбоку подошли к ней. Мать тупо посмотрела на них, поискала глазами старшего сына и, встретившись с ним взглядом, безнадежно качнула головой. Потом она достала из-за пазухи маленький сверток в белом платке, развязала его и, опять подняв на него глаза, упавшим голосом сказала:

— Пенсия...

— Ноги у Мишки стали подгибаться. Он не мигая смотрел на эти грязные, захватанные чужими руками бумажки, тоненькой стопкой лежавшие на белом платке, и вдруг, не выдержав, упал плашмя на кровать и громко-громко зарыдал...

Одна и та же смерть второй раз переступила порог Пряслиных.

ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ

— Ну вот, отпускаем, — говорил Новожилов, хмуря нездоровое, отечное лицо. — А ты грозил, кричал, помнишь? «Сам уеду...» Партия, она, брат, знает, что и как... Сейчас упираться станешь — пошлем. Смотри, что делается, — он указал на карту, густо испещренную красными и черными флажками. — Сибирь дальше...

Новожилов устало провел большой полной рукой по густым черным с проседью волосам, своевольно выгнутым на висках.

— Кстати, знаешь, кто с тобой едет? Твой старый дружок Лихачев. Да, брат, всех подчищают. Беспальный в ход пошел. Как думаешь!? От хорошей это жизни? Или уж так, чтобы кулак собрать да ударить как следует?

Лукашину понятна была тревога, прозвучавшая в голосе секретаря. Но при одном упоминании имени Лихачева в нем поднялось глухое раздражение.

— Ну, это добро — что здесь, что там. Одна цена...

Новожилов не мог скрыть своего разочарования:

— Не прав ты. В лошадах Лихачев разбирается. И завобозом был неплохой. Во всяком случае, место не пустовало...

— Место-то не пустовало! Может, ты по тому же самому и Федулова в маслопром посадил? Тепленькое местечко подыскал...

— Старая песня. Что ты мне все Федуловым тычешь? Что он мне, родня? А где люди? — Новожилов сжал кулак. — Ну-ка подсчитай... чего нам стоит отправка новой партии? За год пятого председателя райпотребсоюза меняем. Дыры-то чем-то надо заткнуть. Тут, брат, и белобилетнику Федулову рад. И вот так: одной рукой партбилет отнимаешь, а другой в контору сажаешь. А что ты думал? Если хочешь знать, я на таких, как Федулов, вроде как на спецов смотрю. Помнишь, такие в гражданскую войну были?

— Хорошенькое дело! — с издевкой усмехнулся Лукашин. — На двадцать пятом году Советской власти спецов заводить!

— Ну не придирайся. Может, я и загнул. Да один черт, я бы этого Федулова в другое время и дня не держал.

— А я бы и сейчас не держал, — сказал Лукашин.

— Войну, брат, без маневров не выиграть. А здесь у нас фронт — видал какой?

Новожилов примиряюще заглянул в глаза Лукашину, но, поняв, что того не переубедишь, махнул рукой.

— Ладно. Кончим об этом, а то еще поругаемся на прощанье. — Глаза секретаря вдруг потеплели. — Пиши, не забывай. Да, может, после войны к нам надумаешь? Северяне народ хороший.

Лукашин задумчиво покачал головой:

— Ну об этом рано загадывать. Мне еще войну сперва переехать надо, а эта река — сам знаешь...

— Эх жаль, — подмигнул Новожилов, — женить тебя не успели. А то бы не так разговаривал. А может, какую зазнобу оставляешь? В таком малиннике жил, да чтобы постником...

Лукашин густо покраснел.

— Уж не председательница ли? А что, женщина она красивая, видная. Только туда, брат, не заглядывай — муж есть.

— Давай, знаешь, — вспыхнул Лукашин, — оставим упражнения в остроумии до следующего раза...

— Экой ты ершистый сегодня... Насчет Мининой я, конечно, пошутил, а в общем понимаю тебя: сейчас не до этого. Я, брат, про себя скажу. Иной раз даже неловко как-то становится. Вот, мол, у тебя семья, жена, прочее. Как будто ты в чем виноват...

Новожилов помолчал, потом вплотную придвинулся к Лукашину:

— Вот, говорят, война инстинкты разные пробуждает в человеке. Приходилось, наверно, и тебе читать. А я смотрю — у нас совсем наоборот. Люди из последнего помогают друг другу. И такая совесть в народе пробудилась — душа у каждого насквозь просвечивает. И заметь: ссоры, дразги там — ведь почти нет. Ну как бы тебе сказать? Понимаешь, братья и сестры... Ну, понимаешь, о чем я думаю?

Путаные, несколько наивные рассуждения Новожилова взволновали Лукашина. Ему показалось, что секретарь выразил примерно те самые мысли, которые не раз приходили в голову и ему. И он готов был сейчас простить Новожилову многое из того, с чем решительно не соглашался в его практике.

— Понимаю, понимаю, — живо откликнулся Лукашин. Но, подумав, добавил: Только тут не так просто. Как бы за этим братством нам кое-что не проглядеть.

Новожилов насторожился.

— Вот, например, Клевакин в Пекашине. Ох, сложная фигура. Я таких видывал в других местах. Посмотришь — активист, с первого дня в колхозе. А у кого за последние десять лет дом новый? У Федора Капитоновича. У кого дом полная чаша? У Федора Капитоновича.

— В семье не без урода. Кто же говорит, что у нас все ангелы и собственническая психология изжита? Не в этом суть сейчас...

— Нет, ты погоди, погоди, — остановил Лукашин Новожилова. — Тут не так просто. Собственническая психология, она тоже разная бывает. Степана Андреяновича в Пекашине знаешь? Ставрова? Ну, у которого сына на войне убили... Сани, телегу сдал?

— Как же, как же! Первая опора Мининой...

— Теперь смотри, что сделал этот Степан Андреянович. Сани, сбрую, телегу все приготовил. Тоже собственник. Только он все это делал втихаря, в своей норе, тайком от людей. Да своими руками — вот что главное. А Федор Капитонович? Этот совсем по-другому. Этот — колхоз хочет в свои сани запрячь. Приспособился — из тех же колхозных пор сок выжимает. Да еще в почете, в мичуринцах ходит. Так?

Новожилов сделал протестующий жест.

— Ну как же! Он тут в райцентре кое-кому глаза табаком засыпал — оборону выстроил. Он и мне огурчиков свежих приносил. Наши, говорит, не понимают — не оценят. Культурного человека, говорит, приятно и угостить. Видал? И знаешь, что меня удивляет? Терпимость колхозников. Ну сняли с бригадиров. А дальше? Да я бы из него душу вытряхнул, счет предъявил. Вот тот же Степан Андреянович. Был у меня с ним разговор о Федоре Капитоновиче. Только рукой отмахнулся. Положим, этот считает, что морального права не имеет: сам в грехе жил. Ну а остальные? Вроде как брезгуют им, боятся испачкаться об него...

— Не то сейчас на уме у людей, — задумчиво произнес Новожилов. — Понимают, в какую мишень бить надо.

— Да, но с этим Федором Капитоновичем — помяни мое слово — придется еще иметь дело. Нет, так просто от него не отмахнешься.

— Ладно. — Новожилов встал, расправил плечи. — Ты еще загляни перед отъездом. С тобой интересно поговорить... Что-то у меня к тебе еще было... Да, вот что. Помнишь, ты говорил мне насчет

профиля колхозов? Ну, что в одном колхозе надо упор на животноводство делать, а в другом на овощи. Помнишь?

Лукашин утвердительно кивнул головой.

— Ну так я об этом думал... Это очень важно. Не ленись, напиши подробную записку. Это все надо обмозговать. А то у нас действительно ерунда. Есть ли, нет ли у колхоза пастбища, сенокосы, выгодно ли им овощи разводить, а план один, все чохом...

На улице Лукашин подумал: надо бы в больницу сходить — Настю проведать. Но он представил, какая это будет тягостная встреча, и решил отложить свидание ближе к отъезду.

После полудня, справив дела в военкомате, Лукашин на попутной подводе выехал в Пекашино. Возница, крупная глухая баба, в ушанке поверх шали, как села в передок телеги, так и сидела истуканом, не пошевелившись ни разу за всю дорогу. Лошаденка тащилась, еле передвигая ноги. Телега, давно не мазанная, скрипела.

Лежа в задке телеги, Лукашин покусывал травяную былку и думал все об одном и том же: об Анфисе, об их разрыве, о том, как глупо все получилось у Варвары. «Ах, чертова баба, — горячился он, — вот бы кого вздул сейчас с удовольствием!»

«Виноват... виноват...» — со скрипом выговаривали колеса.

Он ворочался с боку на бок, закрывал руками уши, но стоило ему забыться, и в уши опять лез скрипучий перестук колес: «Виноват... виноват...»

«Ну, конечно же, виноват, — признавался Лукашин. — И надо было таскаться к этой вертихвостке... Баню выдумала...»

И чем больше он бичевал себя, тем прекраснее и желаннее становилась для него Анфиса. Закрыв глаза, он припоминал свои встречи и разговоры с нею, мысленно нашептывал ей самые нежные и ласковые слова, снова и снова вспоминал свою недавнюю встречу у прясла. Растерянно-счастливые глаза Анфисы, какая-то хмельная, головокружительная работа... Полдник под кустом. В тени куста холодок, но от разгоряченного тела Анфисы — жар. Как от солнца... Вечером они шли по теплой, пыльной дороге, из-под ног у них с треском сыпались кузнечики, пахло конопляниками, и в мягких сумерках, совсем-совсем рядом, ее лицо... Ах, как хорошо!..

Резкий толчок телеги встряхнул его. Он открыл глаза. Телега сворачивала с большака в перелесок. Значит, скоро сельсовет.

Подумав, он спрыгнул наземь. Недоставало еще встретиться сейчас с председателем. Начнет опять изводить вопросами, что да как на фронте. Будто он Комитет обороны... Сзади него последний раз проскрипели колеса.

За поворотом большака Лукашин спустился к реке — лугами до Пекашина ближе. Сквозь приречные кусты ивняка лениво поблескивала Пинега. Нога мягко ступала по роскошной отаве. Тихо похрустывали опавшие листья. Наступала осень...

У ручья Лукашин нагнулся, чтобы напиться. И в это время услышал над собой какие-то тоскливые, за душу хватающие звуки, падающие прямо с неба. Он поднял голову. Высоко-высоко в холодном поднебесье, вытянувшись неровным, изгибающимся клином, летели журавли.

«Рано они что-то в этом году», — подумал Лукашин.

Закинув голову, он долго следил за ними. Вот уж они рябят черными точками, вот уж и точки растаяли в голубой дали, а в воздухе все еще стоит тоскливое прощальное «курлы»...

Тревожное, щемящее чувство все сильнее и сильнее охватывало его. Он попытался представить себе путь журавлей: через фронты, через пожарища, через завесы черного дыма, поднимающегося до самого неба...

И постепенно в его воображении встала Россия — израненная, окровавленная, в неимоверном напряжении ведущая гигантский бой на своих просторах. Сейчас он как бы заново перечитывал суровые призывы газет, вникал в их простой и страшный смысл: «Социалистическое отечество в опасности!», «Ни шагу назад!», «Выстоять!». И постыдными и ничтожными показались ему те личные переживания и муки, которыми он жил и страдал последнее время. Одно огромное желание: «Выстоять!», которым сейчас жила вся страна, захватило его целиком и вытеснило все другие желания.

Твердым, размашистым шагом Лукашин зашагал к деревне. Теперь все ясно. Скорей, скорей на фронт!

Но едва он поднялся на пригорок и далеко впереди себя увидел белый платок, как прежние сумятица и неразбериха поднялись в его душе. У прясла на возу стояла Анфиса и укладывала снопы.

И тут Лукашин впервые по-настоящему понял, что через неделю он уже не увидит ее...

В сумерках Лукашин зашел в правление. Огня не было, но он еще с порога разглядел белый платок Анфисы. Она сидела с кем-то в потемках, разговаривала.

Лукашин осторожно присел к печке, прислушался.

— Дите ведь скоро... — всхлипывал мужской голос, — а она и видеть меня не хочет, в дом не пускает.

Лукашин мысленно посочувствовал Николаше, который сейчас, видимо, был в таком отчаянном горе, что растерял свое красноречие.

— Дите ведь... Кабы я сильничал, а то «видеть не хочу»...

— Что уж она так-то... — задумчиво сказала Анфиса. — Сама кашу заварила, а теперь нос воротит. Ты ведь тоже чего-нибудь стоишь. Так-то и пробросаться можно.

— Вот, вот... — заширкал носом Николаша, — так мне и мать говорит. Брось, говорит, Колька, сама прибежит, вешаться еще будет. А я не могу... Любовь... Тебя бы она послушала, Петровна, а?..

— Ладно, поговорю. А ты тоже хорош. Раскис! Хуже бабы. Гордость иметь надо.

Когда Николаша вышел, Лукашин, волнуясь, подошел к Анфисе:

— Нам поговорить надо...

— Мы свое отговорили... — Голос Анфисы показался ему усталым, безразличным.

— Анфиса, пойми, я через три дня уезжаю...

Он слышит глубокое дыхание.

— Через три дня... — Голос Анфисы дрогнул.

Но вслед за тем она спокойно сказала:

— Ну, счастливого пути, Иван Дмитриевич.

— Фиса, дорогая... — Лукашин схватил ее за руку.

Анфиса резко вырвала руку, гневным шепотом опалила его:

— Постыдился бы!

Скрипнула дверь. Кто-то вошел в контору.

— О нас не беспокойтесь, Иван Дмитриевич, — сказала громко Анфиса. — А в дорогу вас соберем. Кладовщик масла, мяса даст. За добро добром платят...

Лукашин, едва не сбив какую-то женщину, кинулся к двери и выбежал из правления.

Поздно вечером он долго ходил около дома Анфисы. В полуоткрытом окне горел свет. От белой занавески на всю улицу

отбрасывалась тень Анфисы. Она сидела сбоку стола. «Сейчас постучу в окно», — решил наконец Лукашин и осторожно, боясь наступить на тень, стал обходить ее. В том месте, где начиналась линия лица Анфисы, он остановился, нагнулся к земле и, улыбаясь, провел рукой по прядке волос, съехавшей на лоб. В тот же момент за спиной вырос какой-то человек:

— Кто тут пьяный — на ногах не стоит?

В отблесках света Лукашин узнал Федора Капитоновича.

— Тут... искал... ножик потерял...

— А ножик-то какой?

— Ну какой, какой... Ножик с ручкой...

— А может, с двумя? — лукаво усмехнулся Федор Капитонович. — Я еще тогда у прясла заметил... Ну, ищите, ищите... Помним — были и мы рысаками.

«Пронюхал, старая лиса! Наверно, вся деревня знает. И Новожилов намекал...»

Он постоял немного в раздумье и, зло махнув рукой, зашагал прочь, но, отойдя метров сто, снова остановился и, прислонившись к изгороди, долго глядел на окно Анфисы...

ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ

В день отъезда Лукашина Анфиса с утра уехала на сенопункт. Она боялась, что не выдержит, по-бабьи разревется на людях.

Днем, подхлестываемая работой и людьми, она лихорадочно хлопотала: отправляла подводы с зерном, бегала из бригады в бригаду, работала на молотилке, проверяла силосные ямы. Но когда наступал вечер, она со страхом думала, что будет еще ночь, когда ничем нельзя заглушить своих страданий, некуда убежать от самой себя.

Она осунулась, почернела. Марфа Репишная допытывалась:

— Говори, что с тобой. На тебе лица нету. Но разве пожалуешься, расскажешь кому, что тебя на другую променяли, в душу тебе плюнули? Ей хотелось верить настойчивым и горячим заверениям Лукашина, потому что, как ни чернила она его в своих мыслях, она по-прежнему и даже еще больше любила его, но стоило ей вспомнить тот вечер в избе Варвары — и снова гнев и отвращение закипали в ее душе.

Сенопункт — место сдачи сена государственным организациям — у «Нового пути» был общим с «Красным партизаном». На днях предстояло сдавать последнюю партию сена, и Анфиса хотела заранее подготовить место.

Завсенопунктом, хромым старик из «Красного партизана», поздоровавшись, вздохнул:

— А мы, Петровна, осиротели. Прокопья Николаевича на войну провожаем...

— Фролова?

— Его самого. Начали было немножко оживать при нем, а теперь опять все по-старому. Так, видно, всю жизнь и будем... Надо бы проститься — на войну человек уходит, — да как уйдешь? К вечеру сено должны привезти. Ох и война... У нас по деревне девятнадцать мужиков убито, а ей и конца не видно. Останется ли кто на развод?..

Разговор со стариком совсем пришиб Анфису. Что она делает? Ведь Иван Дмитриевич... Ваня... Ехать, ехать, сейчас же ехать! Наглядеться хоть в последний раз. Пуцай все знают, пуцай все видят!

Но в ту минуту, когда она уже готова была бежать к коню, в воображении ее вдруг выплывало насмешливое, самодовольное лицо Варвары. Она видела ее прищуренные, с затаенным ехидством глаза, она знала даже, о чем та думает: «Ну, ну, простись, Анфисьюшка. Не сумела иначе — простись хоть так. Мы не жадные...» И тогда оскорбленная гордость опять мутила ее рассудок, заглушала все чувства.

После полудня погода начала меняться. С запада нагоняло тяжелые водяные облака. На потемневшей земле торопливо хозяйничала осень: с шумом обрывала высохшие листья с деревьев, раскидывала их по зеленой отаве, осыпанной серебряными капельками растаявшей изморози. Анфиса, отметывая вилами сено, с тоской посматривала по сторонам. Вот и лето прошло. Не за горами зима холодная, с вьюгами да морозами. А потом опять придет весна — веселая, с цветами, с птичьим гомоном. Только у нее не будет весны. Нет, не будет... Один-единственный раз улыбнулось ей бабье счастье, и того не сумела взять...

Близкий топот копыт заставил ее взять себя в руки. К сенопункту верхом подъезжала женщина. Варвара!.. Нет, нет, кто угодно, только не она. Все ей простила, Григория простила, а этого... Нет, нет!..

Не зная, куда деваться, она побежала к кустам. Топот лошадиных ног сзади...

— Анфиса! Анфиса!.. Пстой, куда ты?

Анфиса бежит не разбирая дороги. Прутья цепляются за подол, секут лицо. А шаги Варвары все ближе, ближе. Трещат сучья под ногами.

— Да подожди ты бога ради... — Варвара хватает ее за руку. — Чего уж там... Я первая высмотрела, а ты на этот раз перехитрила... И то ладно, смеется Варвара, — старые долги плачу...

Анфиса, задыхаясь от ярости, обернулась:

— Уйди, Варвара, добром, прошу...

— Да ты с ума сошла, Анфиса. Кабы я знала, что у вас всерьез...

— Чего тебе надо?

— Да ведь он уезжает. Взбеленилась! У меня с ним ничего и не было...

Анфиса невольно замедляет шаг.

— Вот те бог, Анфиса. Чем хошь поклянусь... Живым Тереше не вернуться...

Анфиса идет все медленнее и медленнее, жадно вслушиваясь в слова.

А Варвара, охваченная неожиданным порывом раскаяния, начала еще больше чернить себя:

— Все это я, бесстыжая, подстроила... Он на меня и глядеть-то не хотел...

Через час конь Анфисы, тяжело поводя боками, остановился у дома Марины-стрелехи.

Старуха сидела на крыльце и жалобно всхлипывала.

— Уехал? — упавшим голосом спросила Анфиса.

— Уехал, уехал, родимый... — Но, разглядев, кто перед ней стоит, Марина вдруг ожесточилась: — Нет, тебя дожидается! Срамница! Человек на войну уезжает, а она... Председатель!.. Бога не боишься, хоть людей бы постыдилась... Ох, пусто у меня в домике стало... — запричитала снова Марина.

Резким порывом ветра сдуло с коленей старухи какую-то бумажку. Анфиса на лету подхватила ее. Она сердцем угадала, что это была за бумажка.

«Анфиса, родная моя! Я не хочу говорить на прощанье о том, что произошло между нами. Вся эта чепуха с Варварой у тебя скоро пройдет, и ты, пожалуйста, не мучай себя, не расстраивайся... А если со мной что-нибудь случится, прошу тебя — позаботься о моем сыне. Ведь у меня дороже его да тебя нет никого на свете...»

Анфиса как подкошенная опустилась на ступеньку крыльца и, прижимая письмо к лицу, зарыдала.

— Что! Пробрало, видно? Совесть заговорила? Анфиса подняла на старуху мокрое, заплаканное лицо:

— Ох, Марина, Марина, ничего-то ты не понимаешь. Ведь я его... Ох, люблю... больше жизни люблю...

— Во те страсти какие... — с изумлением прошептала старуха. — То-то он, родимой, сегодня ровно не в себе: Анфиса да Анфиса... Дак чего ревешь, дуреха? — вдруг закричала Марина. — Скачи скорей! Может, на перевозе перехватишь. Он к Фролову собирался зайти...

Марина сама помогла ей сесть на коня.

Быстро набегали сумерки. Крепчал ветер. Анфиса, прижавшись к гриве, изо всех сил нахлестывала коня.

Поля... луг... перевоз...

Разлетевшегося коня с трудом осадил у самой воды. Спрыгнула на мокрый песок. Холодная волна окатила ее с ног до головы.

На том берегу от лодки в угор поднимались два человека. Лукашин и перевозчик.

— А-э-э-э! — закричала Анфиса.

Ветер отбрасывал голос назад.

Лукашин подал руку перевозчику и зашагал к лесу.

— Родьку... Родьку присылай!.. — в отчаянии закричала Анфиса, приподнимаясь на носки.

«Что же это я? Какой же Родька на войне?» — подумала она, но из груди ее опять вырвался тот же самый крик:

— Родьку, Родьку присылай...

Лукашин остановился. У нее замерло сердце. Мелькнул огонек, полетели искры по ветру... Еще мгновение, и он растаял в лесу...

Она стояла на берегу, вся мокрая, с растрепанными волосами, и неотрывно глядела на то место, где скрылся Лукашин. Конь, вздрагивая всем телом, осторожно перебирал своими теплыми губами по ее плечам, шее...

А по реке с тяжелым грохотом и стоном перекатывались черные с белью волны...

1958

notes

Примечания

1

Задоски — часть избы спереди печи, отгороженная дощатой заборкой.

2

На севере житом называют ячмень.